

НОВОЛЕТНИЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 6 (1106)

Июнь, 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

АНДРЕЙ ГРИШАЕВ — Цветы и другие растения, стихи	3
ВЛАДИМИР КОЗЛОВ — Рассекающий поле, главы из романа	9
ЛЮБОВЬ КОЛЕСНИК — Смотреть и не ржать, стихи	92
ОЛЕГ ХАФИЗОВ — Колонна Брюллова, рассказ	95
ИЛЬЯ ФАЛИКОВ — Разумеется, оплачено, стихи	107
АЛЕКСАНДР СНЕГИРЕВ — Фото в черном бушлате, рассказ	111
ВИКТОР КОВАЛЬ — Наставки и умудрения, стихи	116
ЕГОР ФЕТИСОВ — Веселые казни, рассказ	122
АМАРСАНА УЛЗЫТУЕВ — Как мне это спеть, стихи	127

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ШЕКСПИР И ДРУГИЕ — Влюбленный пилигрим. Перевод с английского, предисловие и комментарии Сухбата Афлатуни	131
--	-----

ИЗ НАСЛЕДИЯ

КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ — Письма из Франции. Публикация и предисловие Александра Романова	140
--	-----

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — Как сделать мир правильным. О консерваторах США	158
--	-----

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ОЛЕГ ЛЕКМАНОВ, МИХАИЛ СВЕРДЛОВ — Для кого умерла Валентина? О стихотворении Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки»	174
---	-----

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Анна Михеева. Страдающий Левиафан. Постсоветский производственный роман (Шамиль Идиатуллин. Город Брежнев)	187
Евгения Риц. Косая черта (Ханья Янагихара. Маленькая жизнь)	191
Анаит Григорян. The Life (Дмитрий Григорьев. Птичья псалтырь)	194
Александр Мурашов. Поиск утраченного времени (Александр Гаррос. Непереводимая игра слов)	197

КНИЖНАЯ ПОЛКА ВЛАДИМИРА КОРКУНОВА	201
МАРИЯ ГАЛИНА: HYPERFICTION	209
СЕРИАЛЫ С ИРИНОЙ СВЕТЛОВОЙ	215

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	221
Периодика (составитель Андрей Василевский)	225
SUMMARY	238

В 2017 году на журнал можно подписаться в редакции с любого месяца по цене 350 руб. за 1 экз; стоимость подписки на полугодие 2100 руб. (для РФ).

Подписка оформляется напрямую в редакции, где вы можете воспользоваться льготными предложениями и выбрать любые номера, включая те, на которые подписка на почте не оформляется.

Для оформления подписки через редакцию нужно сделать заказ по электронной почте или по факсу. В заявке следует указать:

- полное название организации (для юридического лица) или Ф.И.О. (для физического лица)
- точный почтовый адрес (с обязательным указанием почтового индекса)
- контактные телефоны, факс или адрес электронной почты (для отправки счета)
- для юридических лиц — реквизиты для оформления бухгалтерских документов (ИНН, КПП, юридический адрес)

При получении заказа вам будет направлен счет. После его оплаты вы будете получать журналы почтовой бандеролью по мере их выхода из печати (с приложением необходимых бухгалтерских документов). По желанию подписчика возможно получение журналов в редакции.

Тел./факс: 7 (495) 650-62-13 / 7 (495) 694-08-29
Эл. почта: zakazinovimir@mail.ru / Сайт: nm1925.ru

Купить подписку на журнал «Новый мир» 2017 года также можно на сайте Объединенного каталога «Пресса России»:
http://www.ppressa-rf.ru/cat/1/edition/y_e70636/

В 2017 году «Новый мир» выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

АНДРЕЙ ГРИШАЕВ



ЦВЕТЫ И ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ

* *
*

Отдохну ли я после
Бесплатного и дорогого
Тела моего-твоего

То ли облако реет
Со стуком трамвая железным
То ли солнце за спинкой кровати
Устало встает

Разлучиться не надо
Разлучиться и быть разлученным
Что еще посоветуешь?
Лечь и немного поспать

Звук далекий расслышать
Например самолета
Обратиться «весь в слух»
(Как это принято в книгах)
И его в тишину проводить.

* *
*

И горы, и воды, и земля сошли с лица твоего,
Остался голос над поверхностью: он поет и плачет, радуется и ликует.
Утлый корабль моего сна: покачивается на волнах ничего,
Окруженный ничем, держит на ничто курс.
Кажется, все вместил в себя, теперь оттолкнуться и лететь,
Благо тикает время, и впереди больше чем было.

Гришаев Андрей Робертович родился в 1978 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт. Автор двух поэтических книг: «Шмель» (М., 2006) и «Канонерский остров» (М., 2014). Лауреат журнальных премий «Нового мира» (2007) и «Знамени» (2009), а также первой независимой премии «Парабола», учрежденной Благотворительным фондом имени Андрея Вознесенского (2013). Живет в Москве.

В подборке сохранена авторская пунктуация.

Сын прибегает из темной комнаты,
 Топоча пятками,
 Забирается, натужась, под одеяло,
 Примыкает к шее или плечу,
 Светлеет маленькой головой,
 Засыпает.

Протянуть руку и погладить
 И снова, уже сквозь сон, прикоснуться.
 А корабль плывет, поскольку впереди всегда больше,
 Всегда было больше.

Открываю глаза — никого рядом.
 Приснилось.
 Ветер задувает в закрытое окно,
 Холодит одеяло.
 Хочется вдохнуть и выдохнуть, пока ты
 Летишь на далеком ночном самолете,
 Таком хрупком и бесплотном,
 И не выдохнуть, пока не долетишь.

В темной маленькой комнате,
 Где огонек маленького дыхания,
 А все остальное — такое неясное и большое,
 Происходит движение.
 Мой сын, топоча пятками,
 Мой сын, является из ниоткуда,
 Забирается под одеяло,
 Примыкает к плечу,
 Благо тикает время, самолет летит, корабль плывет.

* *
 *

Цветы подарил, а они уже некрасивы
 Два дня тому, а они уже отвернулись
 Прячут лица, только худые спины —
 И те согнулись

Два дня прошло — вот и жена некрасива
 И характер уже не вынь-да-положь, а кроткий
 Причесала старательно подошедшего сына
 Разговор обо всем короткий

Был бы длинный, была бы — жила беседа
 Только дни прошли, а будущее — смерклось
 Как грустны цветы, а разве цветы — не все мы
 Все мы смертны

Выйду в поле, где белый гуляет ветер
 А земля полна цветов, оттого бессмертна
 По траве мой старинный друг идет, и красив и весел
 В чистом поле света

* *
*

Тело жены истаяло
Зовет в себя как в туман
А остальной океан
Рядом лежит устало

Кошка устала ловить
Свет одинокий и дальний
Пододеяльных мышей
Светит в окно спальни

О чем говорить мой брат
Светел устал но встанешь
Чаю попьешь и растаешь
И не придешь назад

Мысль такова: туман
Зовет в себя, там сохранилась
Тела близкая милость
Живущий во мгле океан

* *
*

Будь у меня место, за которое я расплатился жизнью
Уютное, спокойное, с книгой и облачком когда надо
Я бы дважды подумал, хочу ли я подселить кого-то
Сына, растерявшего память о детстве
Друга с амбициями даже после смерти
Грезу юных лет, не раз побывавшую в женах?

Я люблю вас всех и мне никого не надо

Я при жизни мало смотрел на птиц обычных
На их перья, оперенные светом
Я при жизни мало смотрел на хороших поэтов
На их перья, оперенные светом
Я при жизни в зеркало мало смотрелся
Хорошо, что сейчас во всем отражаюсь

Мне при жизни явили деревья свои души
Спасибо им за это
В новом тихом месте, оплаченном жизнью
Я узнал вас, дорогие деревья мои

Мне при жизни трава показала
Лишь неподобную часть
Был я слепцом, ощупавшим хобот слона
Так вот ты какая, трава
Трудно к тебе привыкать

Но и на новой тебе спать научусь

Мы заснем:
 Я и память моя о сыне
 Неустрасимом, упрямом, хохочущем
 Я и память моя о друзьях
 Ищущих и пропадающих в поиске бесследно
 Я и память моя о жене и прочих женах
 Существующих вечно в эротических снах

Облако набухает дождем
 Скоро будет дождь
 Облако наполняется звуком
 Скоро будет дождь
 Облако наполняется.

* *
 *

Выйдешь на улицу. Тихий вечер
 Скучно и хочется спать
 Вдруг оклик тревожащий: Ветер! Ветер!
 И ничего не узнать

Там, где скамья испокон стояла —
 Барбариса кусты
 И здесь, где ты никогда не бывала
 Вдруг появилась ты

Мне казалось, что жизнь конечна
 С тобой или без тебя
 И вот ты мне отвечаешь: «Конечно
 Но мне не хватило тебя»

Вечер ветренный — жив и вечен
 Вызванный куст — с него можно есть
 А человек — он человечен
 Весь только сейчас, весь только здесь

* *
 *

(из старого)

По ходу дела, Машка похудела,
 И Коля оценил свою потерю,
 Не в смысле: «Ах какое, братцы, тело»,
 А в смысле: «Ну а вам какое дело?»

В том смысле, что Колян почти что запил:
 Два оборота, тишина за дверью.
 Налил чего-то темного и замер,
 Но на хрена он комнату-то запер?

Быть может, что и мы бы разделили,
 В том смысле, что и мы переживаем —
 За все, которое мы где-то разлюбили,
 Худеем, пиджаки перешиваем,

На фото смотрим неказистых, полных,
 Робеющих, неженственно одетых,
 Похорошевших, тоненьких, свободных,
 В чаду оплаканных, в плохих стихах воспетых.

* *
 *

Зоопарк встречает дорогих гостей:
 Голубей, воробьев, дождевых червей

С Садовой стороны есть возможный вход
 С неприметной будочкой у ворот

В паузе возможной между днем и днем
 В чине дорогих, но вторых гостей
 Постоим у входа того вдвоем
 Хорошо вторыми, еще второй

Где не надо в клетку на общий вид
 Только ребенок на нас кивнет
 Слон волнует публику — в трубу трубит
 А мы — воробы да голуби у ворот

* *
 *

Марсианин к зеркалу подходит
 Вынимает бритвенный станок
 По щеке всухую им проводит

(Я смотрю, как он им водит, водит,
 И земля уходит из-под ног)

Мне приснился мой отец, он песню
 Пел, стаканчиком звенел
 Говорил: тринадцатую пенсию
 У них выбить и спустить сумел

Песня дребезжит и прерывается
 Чтобы солнечный глоток впустить
 Марсианин с бритвой как-то мается
 Отраженье брить или не брить?

В сон опять войдешь, а там молчание
 Увели притихшего отца
 Солнце преломляется в стакане
 Спой мне песню до конца

* *
*

А потом приснится луг заливной
И проблеск в дальнем углу
Я пытаюсь опять говорить с тобой
Только внятно сказать не могу

Вот страдает подвыпивший пенсионер
Он пример того, как нельзя
Вот к нему, словно сон, милиционер
На коньках через лед скользя

Вот досюда выпьем — и все вокруг
Ну не все, ну хотя бы часть
Расцветет, и откроет глаза мой друг
Словно сна своего устыдись

Что нам вьюга и тысячи ос вокруг
Когда мы да в Москве ночной
Шевельнется, и вздрогнет, и вскрикнет вдруг
Что вы делаете бл—дь со мной?

Сон — не сон, а какой-то туман и сквер
Все в иголочках золотых
Смысл жизни или любви, например
В облаках никогда не пустых



ВЛАДИМИР КОЗЛОВ



РАССЕКАЮЩИЙ ПОЛЕ

Главы из романа

И чтоб невежей не казаться,
Он неуместным счел вопрос
И ни словца не произнес.

*Кретьен де Труа «Персеваль, или Повесть о Граале»
(пер. Н. В. Забабуровой, А. Триандафилиди)*

I. ДОРОГА НА СЕВЕРО-ЗАПАД

1

Сева сложно устроен. Где-то в нижнем углу большой залы внутри его головы невидимый граммофон урчит песню:

АНИ-гаварЯт-им-нельЗЯ-ри-ска-вАть,
ПотомУ-что-у-нИх-есть-дОм,
В дОме-го-рИт све-е-ет.

А возле окна этой залы неподвижно стоит юноша, глядящий в окно. Прямо перед его глазами широко течет Дон. Молодой человек обдумывает важный вопрос: что случается с тем, кто однажды начинает петь и более не останавливается? Он думает о том, что это за почва, в которой созревает песня. К блаженству и покою ли путь песни — или она уводит от них навсегда? Как она находит того, кого можно выхватить из рядов? Куда она отправляет своего героя? Вернет ли своим или — неузнаваемым чужим, пропащим?

И-Я-не-зна-ю-точно-кто-из-нас-прАв.
МенЯ-ждет-на-У-ли-це-дОждь,
Их-ждет-дОма-А-бед.

В этой песне Сева любил только первый куплет — его спокойный драматизм. В нужном месте Сева явственно слышит гитарный проигрыш. На

Козлов Владимир Иванович родился в 1980 году в г. Дятьково Брянской области. Поэт, критик, литературовед. Окончил филологический факультет Ростовского государственного университета, доктор филологических наук. Автор трех книг стихов, последняя из которых «Опыты на себе» (М., 2015), а также трех литературоведческих монографий, одна из работ — «Русская элегия неканонического периода» (М., 2013). Главный редактор журналов «Эксперт Юг» и «Prosōdia». Живет в Ростове-на-Дону. Прозу публикует впервые.

Журнальный вариант первых четырех глав романа. Полностью выйдет в 2017 году в издательстве «Время».

самом деле он сейчас вышел из общежития на улице Зорге в Ростове-на-Дону и напевал, оставляя за спиной эту монструозную типовую образину.

Закрой за мной двЕ-ерь — я-У-хо-жу. Па-пА-ра-пам.
Закрой за мной двЕ-ерь — я-У-хо-жу.

Во втором куплете появится какое-то странное, непонятное «мы». Цой, наверное, знал, о чем речь.

До Цоя вообще не было никаких песен. Просто потому, что кто-то всегда приходит первым в мир немоты. Остальная мировая культура была потом.

Сева не сосредотачивался, не пытался спеть похожим голосом — пел, не придавая действию значения. Однако не мычал про себя, а именно что пел — прямо посреди города. В городе можно идти по тротуару и петь чуть не во весь голос, не опасаясь, что кто-либо тебя услышит. Никто не услышит. Как выражаются строители, воздушная подушка в стене лучше всего сохраняет тепло и оберегает от звуков извне. Сева шел, со всех сторон окруженный толстой и почти непроницаемой воздушной подушкой.

Заканчивался июнь 1999 года, начинался трудный понедельник, было восемь утра — не для песен время. И Сева Калабухов старался не забывать: пел — будто жвачку жевал. А когда вошел в автобус на привычной остановке около студенческого городка и взялся за влажный поручень, так и вовсе — исчез.

Ощущение невидимки приходило, стоило остановиться, замолчать. Оно накапливалось в организме, как гормон, который в какой-то момент запускает неконтролируемые процессы внутренних перемен. Всеволод последние два года в некотором смысле тренировал ощущение полного растворения в массе большого города. Оно ему было любопытно. Людям все надо разжевывать, а лучше потом еще и объяснить. Красив ты или нет — это второстепенно. Даже в красивом лице лень читать, вот в чем беда. Глаза, способные отражать душу, тупеют от собственной невостребованности. А генератор внутреннего мира работает. И опыт исчезновения из внешнего оказывается неожиданно глубоким и разнообразным.

Слава богу, нет давки. Сева разместился на центральной площадке по ходу движения, уложив спину в изгиб поручня, — так он мог одинаково естественно смотреть в окно и блуждать взглядом по салону. Ни одного ребенка. Рабочий класс едет из Западного спального района Ростова-на-Дону начинать жаркий день. Сева потянулся и отодвинул стекло — ветерок полетел в лицо. Повернул голову и увидел здорового мужика с заячьей губой — он держался за поручень и обливался потом, ему было тяжело существовать. Остальные выглядели как каталог удобных для отключки поз. А этот — стоит и работает. Вот еще нестарая суховатая женщина, по-старушечьи закусившая нижнюю губу. Она как будто уже зажала губами свое бремя — и едет, не поднимая глаз. Мужчина рядом с нею щурится и чуть улыбается — так, как будто ему в лицо дует ветер и он слушает собеседника, — но ни собеседника, ни ветра нет, а лицо — застыло. Как будто он забыл это выражение на своем лице — и некому напомнить. Люди выглядят брошенными, застигнутыми неожиданным взглядом кто в чем, кто с чем на лице. Их выражениям не на кого опереться. Во всяком случае, сейчас, пока они только едут туда, где будут сегодня жить.

Автобус медленно катился по почти пустому проспекту Стачки. На площади Тружеников вошла девушка. Сева подумал, что небо послало в центр его утренней картины мира главную героиню. Она встала у окна так, что он видел ее профиль. Она тут же повернулась на его взгляд и отвернулась к окну вновь. Ей будто некуда было девать большие темно-синие глаза. Они отовсюду видны, на что их ни наведи. А то, на что они смотрят, тут же начинает тянуться к их свету. Сева уже глядит на нее не один. Что тут подела-

ешь. Ее не достающие до плеч волосы с одной стороны заправлены за ухо. За одну только форму уха она достойна титула герцогини, которую полагаются беззаветно и безнадежно любить. Есть ли кому любить тебя, девочка? На ее коже не видно ни одной родинки, на ней совсем нет загара. Крылья тонкого носа чуть подрагивают, как у немного испуганного животного. Да, подумал Сева, это было и в ее быстром взгляде: убегающая, ускользающая от прямых лучей красота. Даже в профиль видно, что ее зрачки ни секунды не останавливаются на одной точке. Она чувствует, что он смотрит — ее взгляд постоянно будто отскакивает в его сторону, но — не долетает, и она уже как будто сердится, ощущая давление.

Сева тоже посмотрел в окно. Автобус ехал по мосту над железнодорожными путями. Отпустил ее — этого совсем чужого, но вдруг совершенно понятного человека. Она понятна, потому что красива, или красива, потому что понятна? Хороший вопрос, надо запомнить. Дверь открылась, и Всеволод вышел. Все опасно, куда ни глянь. Все заставляет присматриваться. А присмотришься — и не можешь оторваться. Присмотришься — и уже в ответе.

До университета нужно было ехать с пересадкой, дорога занимала до сорока доведенных до автоматизма минут. Одни маршруты доставляли жителей спальных районов в центр, другие — развозили по нему. Сева проделывал этот путь каждый будний день вот уже два года. Сейчас он сошел на Братском и вместе с вереницей попутчиков быстро пошел к Большой Садовой — главной городской артерии.

За той девушкой, наверное, и теперь, когда я вышел, кто-то наблюдает, подумалось ему. Она просто не может быть невидимкой — и поэтому как будто мечется на свету. От собственной красоты ей не скрыться, не слиться с роем, ее всегда обнаружат, в нее вглядятся, побеспокоят, тронут, попытаются присвоить. Хотел бы я вот сейчас вдруг выйти из мрака и предстать перед всеми в сиянии красоты? Нет, красота — это, конечно, не для мужчин. Мы чудовища, которым приносят жертвы.

Нет, тут что-то недоумано. Это не все, что нужно сказать о красоте. Может быть, эта девушка была, скажем так, не особенно красивой? Пускай на нее пялились — мужики на всех пялятся, особенно летом, когда — платьвица. Может быть, красив на деле только замысел судьбы, прочтенный в ее лице? Разве не так? Или нет и дело только в природе? Или все-таки в том, что ты можешь в ней прочесть? Да, вот так — нужна ли красоте культура? Каким быть должен я, чтобы не угробить ее при касании?

Сева снова зашел в автобус, этот был набит гораздо плотнее, зато — длинной «гармошкой». На пути к подвижной центральной части раздался тихий грохот — мужчина зацепил гитару в чехле, которую Сева нес в руке.

2

Гитара, без сомнения, — яркая деталь, да еще в таком чехле. Он шит из серого дерматина с помощью ручной швейной машинки. Таких чехлов не бывает.

Именно заметив гитару, внимательный наблюдатель получает повод задать вопрос: куда же едет герой? Ведь молодой человек, который садится на остановке у студгородка, почти наверняка студент. А студент всегда едет в университет. Но не с гитарой же. Да и сессия в это время года подходит к концу. Действительно, Севе с позавчерашнего дня ровным счетом нечего делать в университете — он сдал все предметы, будет получать стипендию. То есть он точно ехал не в университет. Наблюдатель бы это сразу понял — если бы он был.

Немаловажно и то, что Сева не просто студент, а — из приезжих. Ни по его вполне раздолбанным, но еще приличным кроссовкам, ни по рубашке

с петухами, ни по джинсам, ни тем более по спокойным зеленым глазам этого факта не установить. Он приехал из маленького городка — а люди любого малого городка почти не отличаются от основной массы людей самого большого. В огородах они не работают и коров не доят, а значит, отличительных меток, выдающих чужака, если не совсем идиоты, не имеют. Вот и Сева не колхозник видом — и взгляд на нем не остановится.

Сева окончил второй курс, ему девятнадцать лет. Но где-то была черта, после пересечения которой уже не важно, девятнадцать или двадцать девять. В нем росту метр восемьдесят пять, вес боксера-тяжеловеса, его грудь над второй пуговицей рубашки волосата. Лицо — широкое, загорелое, с большими губами, мощными бровями и желваками. Было время — в зрелые застойные эпохи — когда мальчишки в девятнадцать впервые сбривали с лица редкие волосенки и наконец замечали, что вся одежда на них куплена мамой. А Сева — ребенок другого времени, в котором детей в этом возрасте уже не бывает. Нет такого наблюдателя, который бы угадал его возраст. А значит, не существует того, кто мог бы понять, что именно Сева сейчас делает.

Предметы — возвращают, особенно не воспаришь. Поручень под ладонью уже мокрый. И это восемь двадцать утра. Жара может не пощадить. Об этом невозможно не думать. Автобус скрипнул дверью — и духоту прибавил порыв снаружи. Совсем не прохладный. Сева понимал, что он неторопливо подъезжает к жаре. Свернули с Советской на Карла Маркса — на улицу, где ему в обычной жизни бывать уже совсем незачем. Он уже вышел за пределы привычного мира — достаточно было проехать на несколько остановок больше. Отчего же, впрочем, на несколько? Сева собирался ехать до конца. Он как будто только вспомнил это — и внутри похолодело, он крепче сжал поручень.

Руки тоже примечательны. Это руки не пианиста, не воина, а — работяги. Мясистые широкие ладони, темноватые — будто недомыты после земли, а земли они не касались уже давно. Просто Сева — плебей.

Куда это ты собрался, плебей?

Сева собрался путешествовать. Он — уже путешествует. Смотрит на второй поселок Орджоникидзе, аэропорт, от которого пятнадцать минут до центра города, — смотрит на все это, как на сопки Манчжурии. Он уже никогда не видел этих мест. И сердце пронзает ледяной страх. Потому что Сева не знает, сможет ли он вернуться. Потому что вокруг уже тот первозданный чужой мир, в котором человеку предстоит все сначала — и невозможно знать, что сил на это хватит.

Он почувствовал, что его пальцы мокры и холодны, несмотря на жару. Дверь открылась на остановке. Пожалуйста, сходи — и на твое возвращение почти никто не обратит внимания. Легко отделаешься шуткой, мало ли их было.

Может, и отделался бы — если бы заставлял кто. Двери захлопнулись, осталось три остановки. Стало легче. Страшно — на пороге.

Как это просто — отправиться в путешествие. Проехать остановку и тем самым вывалиться из обыденности. Сева не умел бояться абстрактных вещей. Он не боялся будущего путешествия, хотя таким, каким он его задумал, его стоило бояться. Больше, чем абстрактное будущее, пугало конкретное настоящее.

С ним — уже давние счеты. Отзывчивый, впечатлительный, простодушный, Сева умел говорить «нет» гораздо лучше, чем «да». Спроси его: «Чего ты хочешь, Сева?» — и он растеряется, попытавшись заглянуть за край девичьей любви, туда, в абстрактный мир будущего. Зато очень хорошо знал, чего не хочет. «Я не полезу в эту черную дыру подвала — оттуда воняет». Вот оно — прямо перед глазами, не абстрактное, не на картинке. «Не надо этого» — он отсекал своим внутренним жестом все новые пространства до тех пор, пока перестал уместаться на оставшемся пятачке. И пятачок этот был настолько мал и жалок, что оставалось родиться последнему отказу,

чтобы логическая цепь вытолкнула его из его мира, распространявшегося на полтора метра вокруг его койки в углу общажной комнаты. Он сейчас был на грани полного исчезновения.

Этот последний отказ ковался с зимы, ковался тайком как нечто, что нельзя разделить. Сева как будто прикрыл ладошками кусочек пустоты, чтобы там наконец накопилось отчетливое чувство — но попробуй покажи его — и ты останешься ни с чем, и все увидят, что у тебя ничего не было, что ты — пустомеля. А это ведь — неверно: слово — неточное. Точнее было бы сказать, что он хотел творить из ничего. Сомкнуть два ковшика ладоней, подождать, пока внутри них согреется воздух и зародится жизнь, — и выпустить ее на волю. Он никогда не доводил этого эксперимента до конца, но сейчас чувствовал себя обязанным это сделать — внутри ладоней должен был зародиться он сам.

Но зачем для этого путешествовать?

Всеволод Калабухов знал про это немного. Он знал только, что едет в Санкт-Петербург. И тем самым как бы задавался в его голове невинный и беспроегрешный сценарий травелога. Он как бы ехал за достопримечательностями и баночкой воздуха с Невского.

Но человек, отбывающий в культурную столицу страны, садится на поезд или проходит рамку в аэропорту. А Сева — Сева сел на городской автобус.

Это был особенно удачный маршрут, который появился совсем недавно, — через весь центр города в прилегающий Аксай с выездом на федеральную трассу М-4 «Дон». Дальше шли только междугородние автобусы. Сева сошел на остановке около поворота в сторону Аксая. Взглянул на часы: без четверти девять. Посмотрел через дорогу: за жидкой лесополосой поле — такое большое, что Сева отвернулся. Несколько секунд помедлил — и пошел вдоль обочины прочь от города.

3

Он было призадумался: а не дожидаться ли автобуса на Новочеркасск. Или даже до Шахт, которые в шестидесяти километрах. Но нет, решил, — это тупик, это — только отложит начало. Пусть путешествие начнется прямо сейчас. И оно началось — таким, каким было задумано: почти без денег через всю европейскую часть страны к городу, от которого веяло другой, пока только придумываемой жизнью.

Конечно, он не собирался идти к Балтике пешком, но и ловить машину на остановке посчитал неестественным. И вот Сева впервые обернулся к машинам, наезжающим из-за спины, прищурился от ударившего в глаза солнца и поднял руку.

Чуда не произошло. Синяя «семерка» прошла мимо, метрах в ста подъезжало что-то немецкое. Такое и останавливать страшно. Сева опустил руку и пошел дальше. Нечего стоять и ждать, раз назад дороги нет. Он обернулся: на его глазах увеличивалась серая «девятка». На расстоянии, когда еще не видно лиц, Севе показалось, что он взглянул водителю прямо в глаза. Он поднял руку, обращаясь лично к нему, он помогал ему мимикой, а губы беззвучно прошептали: «Ну, давай» — но тот явно проезжал мимо. Сева усмехнулся, ему стало веселее.

Красиво звучит слово «автостоп» — в нем есть легкость. Сева слышал его от старших соседей с нижних, более престижных этажей общаги. Это слово опытных людей, знающих, какой должна быть униформа: яркие цвета, рюкзак, пришитые к одежде катафоты. У них было свое сообщество, они регулярно собирались на занятия: как собрать рюкзак, что нужно знать, если ты едешь в Грузию, как рассчитать необходимое для поездки количество денег, как вести себя с водителем, если ты девушка... Сева так и не узнал никаких правил. Его не интересовал образ жизни, ему было наплевать на культ дороги и правило большого пальца — он хотел в Питер.

Зачем рассчитывать, сколько нужно денег, если больше, чем есть, все равно негде взять? Зачем методика сбора рюкзака, если у него нет рюкзака? Зачем считать водителей идиотами — неужто они без большого пальца не разбирают, почему человек на обочине поднял руку?

А во что одеться, можно и самому сообразить. Он выбрал темно-горчичную сорочку с экзотическими фруктами и пальмами. Выбрал, потому что эта вещь не мнется, а грязи на ней не видно. Хоть помидор на ней раздави, дикого вида не выйдет — это то, что надо. И он в этой рубашке похож то ли на туриста, то ли на художника.

Гитара в чехле одно название — дрова дровами. Но она довершала образ — она должна была сообщить каждому встречному, что человек, несущий музыкальный инструмент через всю страну, не опасен.

Сева сразу отбраковывал машины с двумя и более головами в просвете окон. Но первой остановилась «копейка» с супругами бальзаковского возраста. Он открыл заднюю дверь:

— Вы в сторону Новочека?

— Да.

— Можете подвезти до поворота с трассы?

— Садись.

Ну не Питер же сразу называть. Сева назвал ближайший город, чтобы не пугать. Но сразу уточнил.

— Вы в город заворачиваете?

— Ага.

И не к чему продолжать — все равно дальше искать другого извозчика. Скользнул взглядом по затылкам, которые выглядели как портреты старых знакомых. Супруги из работяг строили планы на день, тут же забыв о пассажире. Сева привычно ощутил себя в большой семье, и даже стало как-то уютно от их народного равнодушия. На заднем сидении места хватало только на него одного — все остальное было заставлено крупными базарными сумками и каким-то хламом.

За окном тянулись поля, на которые он мог бы и не смотреть — так хорошо знал их вид. Их бессобытийностью пропитано подсознание. Если прямо посреди этого бесконечного поля построить несколько многоэтажек, дорогу между ними да школу, получится Волгодонск — город, всего лишь пятьдесят лет назад нарисованный на карте среди голой степи. В эту степь уходили проспекты, на нее смотрели окна пятого этажа. Сева был заперт в той природе — и потому как будто не видел ее, отмечал только, что тут растет, какая культура. Поля стояли тяжелые, через неделю должны начать убирать пшеницу.

Воспитанный матерью, он здесь вырос. Разве не хороша колыбель? — подумалось ему, — разве ты не вышел из нее хорошим человеком? Разве не здесь вложены в тебя простота труда и самоотречения? Так чего ж тебе еще надо? Почему же ты теперь едешь прочь и странна сейчас для тебя даже мысль о слезе прощания? Что это — жестокая несправедливость, история о том, как человек не способен ценить именно то, что имеет, и заходит в этом чувстве слишком далеко? Или он действительно перерос колыбель?

Севе вспомнилась история про то, как он лет в пять собрал кубик Рубика. Родители вернулись со двора — снимали тогда в частном секторе домик с огородным участком, — а сын им показывает то, чего никто из них никогда не мог сделать. Охи, ахи — а потом мама пригляделась: цветные нашлапки отстают. Им все стало ясно: сын собрал одну сторону, а потом старательно переклеил все цветные квадратики, вплоть до полной гармонии. Ну, так каждый может, сказали они. «Не каждый, — позднее думал Сева. — В конце концов, я же его собрал! Я восстановил миропорядок. В мире моих родителей никто и никогда не собирал этого кубика. А я сделал это. Как мог. В пять лет!»

О Господи! Сева вдруг понял, что на переднем сидении пассажира сидит его мама. Да, он не видел ее полгода, но это вполне мог быть ее затылок.

Ее выкрашенные хной волосы с годами все более коротки. Сева не видел ее лица, да и не смотрел почти, но время от времени мелькал профиль. В нем он узнавал закрепленное с годами в морщинах выражение постоянного изумления перед миром, который всегда оказывается не таким, как она думала. Сева так уже привык к нему — и вот только сейчас вдруг пришло осознание, что когда-то — во времена кубика Рубика — этого изумления не было.

Он ничего не сказал ей о поездке. Ну как это скажешь — она же волноваться будет. Еще подумает, что может что-то запретить сыну. Зачем искать? Он оповестил о том, куда отбывает, только двух соседей по комнате в общежитии. Сделал это в последний момент, когда уже не посмеешься с подспудным убеждением, что наутро рассосется. Наутро Сева уехал.

За рулем сидел русоволосый мужчина с обвисшими усами, которому она без остановки что-то говорила:

— ...и она на меня, главное, смотрит, и сыпет мелкие! О, наглешь!

Водитель усмехнулся так, будто хорошо понимал эту хитрую гадину и даже в глубине души поддерживал ее в желании надуть его жену.

— Я ей говорю: сыпь обратно, сыпь, а не то я тебе шас это ведро на голову одену!..

Она считала, что не должна уступать никому ни пяди, потому что это было бы нечестно, — и не замечала, что на эту возню вокруг того, чтобы правильно дали сдачи, уходит вся жизнь. А он вон усмехается: мол, грех такую дуру не дурить. И она понимает то, что он не говорит сейчас — и готова уже в лепешку разбиться, чтобы доказать, что ее на мякине не проведешь. «Эх, мамуля, а как жить, если не надо никому ничего доказывать?»

«Копейка» завернула, и Сева крикнул: «Мой поворот!» — и правильно, потому что о нем успели позабыть. Он быстро выскользнул, чтобы мама, которой здесь не могло быть, его не заметила.

4

Придорожная зелень никогда не бывает зеленой — она сера, и этот серый кажется ближе к белизне солнца, чем к цвету чернозема. Защитный цвет, которым пользуются даже выгоревшие растения.

На трассе белый зной.

Пить хочется. Рано пить — оборвал себя Сева и поднял руку. Он поднимает ее минут сорок, за это время прошел по кромке километра три.

Машины все двигали и двигали мимо. Красные, зеленые, синие, черные, побитые, новые, иномарки, свои, мотоциклы с коляской — все проезжали мимо, потому что у них были дела, в которых нет места чужим людям. «А ты думал, тебе сразу красавицы на выбор останавливать начнут? — подзуживал себя Сева. — Раскатал губу. Ты ж хочешь, чтобы они тебя везли бесплатно, куда тебе надо. Нашел лохов... Ну, давай, дорогой, ты же едешь один, тебе скучно, ты везешь мешок картошки с ростовского рынка, неужто после этого у тебя не выросли потребности? Неужели ты больше никогда ничего не хотел? Неужто я не напоминаю тебе своей одинокой фигурой то, о чем ты только робко подумывал? Посмотри на меня две секунды, давай, Василий, давай — отдавай себе отчет быстрее, пока не проехал! Прислушайся к себе. Вспомни веселую пролетарскую злобу оттого, что ты, здоровенный детина, оказался по жизни вполне себе запряжен. Но ничего, ты, обсос, себя покажешь даже запряженным, правда? И ты смотришь на мир — и глаза твои смеются. А?.. Проехал! Вот же тварь. Ты, может, не понял, что я с гитарой? Что я человек искусства, мать твою. Я ж специально для таких идиотов инструмент через всю Россию пру...»

Севой владел кураж случайно нащупанного тона. Новая роль человека на обочине как будто подсказывала ему слова, которых раньше не было. Таких речей он не произносил никогда, потому что для них ему не хватало

ло чувства исключительности, заостряемого теперь с каждой проезжающей мимо машиной. И так удобно в сторону от основного пути вводила глубокая колея для исполнителей роли отверженного гения.

Он вдруг осекся. Все эти чужие, но готовые слова, как будто поставленный уже кем-то давно тон — все смолкло. И он как будто даже остановился. А потом поправил сумку и пошел, молча, не глядя на дорогу, будто даже забыв о ней совсем. Забыв поднимать руку. Он упорно шагал по щебню, набираясь уверенности от самой бессмысленности своего действия. Он шел так около четверти часа, пока немного не прояснилось.

В принципе, уже можно и попить. Он расстегнул молнию черной сумки, висящей на плече, и вынул литровую пластиковую бутылку с теплой водой из-под крана. Желания пить она не вызывала. Именно такую воду и нужно брать. Еще меньше хочется пить чай без сахара, но Сева обошелся простой хлорированной водой из-под крана.

Содержимое сумки он тщательно продумал перед отбытием. Единственным, что он купил перед отъездом, был атлас автомобильных дорог. В сумке также лежал прозрачный пакет с чистыми трусами и носками, складной нож, две банки кильки в томатном соусе, в кармашке катушка ниток с воткнутой иглой, спички, бутерброды с сыром и салом, записная книжка со всеми адресами и телефонами, небольшой сверток туалетной бумаги, маленькое полотенце, мыло в мыльнице и зубная щетка. В сумке оставалось еще довольно много места. Долго думал, брать ли с собой кофту. Ее точно не придется надевать часто, возможно, не придется вообще. На себе не повезешь — жара, места в сумке займет много, да и подходящей кофты не было — только джинсовый пиджак. А вдруг придется быть ночью в лесу. Сева нашел выход — взял с собой покрывало и сунул его плашмя в так подходяще великоватый чехол для гитары. Ее, возможно, тоже не придется доставать. Долго размышлял над зонтом. И пошел на риск — не взял.

Вспомнил, повернулся, поднял руку — и первая же машина притормозила. «В сторону Шахт подбросите?» — «Давай». Даже не успел рассмотреть, что за машина.

Какая-то поношенная иномарка. Сел рядом с водителем и почувствовал себя огромным. За рулем сидел маленький старый мужчинка с большими усами, в которых торчала сигарета. Изящными руками он держал грубое колесо руля.

— А ты откуда добираться? — просто, как пацан из соседнего двора, спросил этот почти уже дедок, не поворачиваясь и не выпуская сигареты.

— Из Ростова.

— Нет, вот что это стучит?

— Где?

— В двигателе. Слушай... Слышишь?.. Вот, сейчас.

— Да.

— Что?

— Стучит.

— Это я слышу. А какого хера там стучит?

— Это — вопрос.

— А потому что умник влез! Эта старушка два года бегаёт, я один раз резину сменил. Тьфу-тьфу. У нас просто роман был, жили душа в душу. Нет, прохожу три дня назад техосмотр, отвернулся, так этот мудозвон полез к ней под капот. Я увидел, говорю: дядя, не лапай! Но все — ядовитый сперматозоид был уже в пути, и старушка закашляла, как только я вышел на трассу. Ну не падла ли?

— Падла, — весело удостоверил Сева, ничего не понимавший во внутренних делах автомобиля.

— Эти умники только сидят и ищут, как им, мудакам, нарушить гармонию природы. Если ты в поиске — возьми ведро говна и взбей сметану, это я понимаю. Но если ты суешь свои грязные убудочные руки в святая святых, то ты просто мудака.

— Они не знают, где это — святая святых.

Кто это — «они»? Сева подыгрывал, не соображая. «Гармония природы» под капотом? Говно и сметана? Что за дичь у него в башке? Но — весело и неопасно.

— Ото ж... Говорю же... — И он выдал порцию отборных ругательств. — А тебе прямо в Шахты?

— Честно говоря, как можно дальше по трассе.

— Я буду в Красный Сулин поворачивать.

— На повороте тогда меня...

— У меня там друг живет, капитан морских судов. Объездил весь мир. Попросил отвезти его в аэропорт. Летит сейчас в Вену, там пересадка — куда-то на Средиземное.

— В ростовский аэропорт из Красного Сулина?

— Да.

— А вы из Ростова?

— Сейчас в Батайске живу.

— То есть вы сначала за ним в Красный Сулин, а потом его в аэропорт?

— Да.

— А чего он — автобусом и электричкой брезгует?

— Да мне несложно. Добился все-таки чего-то человек.

Сева помолчал. Почему-то подмывало. Первый раз видел человека, а было обидно за него так, как будто уже знал про него все. До раздражения уже знал.

— Конечно, добился, — проворчал Сева, глядя в поля. — Не у каждого есть такой товарищ. Может себе позволить попросить старого друга метнуться в другой город, чтобы с комфортом доехать в аэропорт. Видно, что высокого полета человек.

Сейчас теоретически можно было бы и на трассу внепланово сойти, а практически — ни в коем случае. Мужчинка Севу тоже как будто распознал. Дистанция у них сложилась, как у деревенских, за пять минут — как будто уже родня, и судить уже друг друга можно. Он уже и Севе как будто был должен — пообещал же довести, несложно же. А Сева еще и не понял, что уже давит, еще казалось, что сейчас откроет ему глаза — и тому станет проще.

— Мне не сложно, — устало повторил человек старым голосом, и после паузы: — У него все-таки жизнь, а я сидел бы сейчас, пиво тянул возле телевизора.

— А семья?

— Нету. Вся жизнь, брат, одни любовницы. Да и те... Лучше всего мне сейчас в дороге. Никто мозги не трахает.

«Брат», блин, — да тебе же за полтос, дядька, подумал Сева.

— Да, действительно постукивает.

— Слышишь, да? — оживился он, а у Севы сжалось сердце.

5

Сева шел по пыльной обочине мимо щита со стрелкой налево. Там — забытый Богом Красный Сулин — островок большой, но плохо заселенной шахтерской территории. Город — ровесник Ростова, а живет в нем тысяч сорок. Годах в двадцатых Сулин — фамилия казачьего полковника — стал Красным. Люди стали там жить из-за запасов антрацита, железной руды и живописных мест. Атаманы не брезговали здесь строить себе имения. Да, Сева вспомнил об этих местах все, что рассказывал о них человек, уже два года спавший с ним в комнате на соседней кровати. Антон был отсюда, из семьи бывшего шахтера. Шахту-кормилицу закрыли, потом затопили. Державшийся на идее собственного бытового героизма мужчина сорвался в рыбалку и водку. Героям не место на гражданке. Шкурные, торгашеские де-

вянстые сделали с шахтерами когда-то большого Восточного Донбасса то же самое, что советская власть с казаками. Шахтер всегда, спускаясь в подземелье, знал, что есть шанс остаться там навеки — и хорошо, если сразу завалит или убьет взрывом метана, а то можно же много дней, медленно, от удушья и жажды... Такой никогда не встанет торговать галантереей — как не встанет и казак. Место их обоих — поближе к смерти. А ближе к смерти на гражданке — водка. Шахтеры еще ждут своего летописца.

В здешних местах города получались из слипающихся станиц, между которыми был вставлен какой-нибудь комбинат; из соединенных в узел асфальтовым пунктиром поселков, которые строились вокруг шахт. Между районами одного города здесь лежат незасеянные поля. У каждого района — свои название, климат, диалект, менталитет. На органичную дореволюционную карту поселений была наброшена стальная, а ныне проржавевшая сеть производственной необходимости. Органика берет свое, но еще не взяла. Пока что она только опутывает травой забвения брошенные остовы цехов — и картину эту трудно принять за картину возрождения старого мира. Неумолимая логика грузоперевозок и трудовых отношений связала старый мир бечевками советских дорог, но теперь их почти не видно, выступили наружу неизбывные красоты мест.

Для замыленного взгляда степь скучна. Близ Ростова и южнее к Краснодару земля лежит плоско, и взгляду до горизонта не на чем задержаться, кроме лесополос, которые в итоге горизонт и заменяют. Но сотня километров на северо-запад — и степь натывается на широкий хвост Донецкого кряжа, начинает волноваться холмами, трескаться оврагами, ломаться балками. Здесь впервые появилось ощущение путешествия, хотя всего-то сто километров, но заложенная в пейзаже сюжетика мира уже изменилась.

Часть заднего сидения в вылизанной старой четверке отрезали мощные вертикальные планки для каких-то садовых нужд. Сева сидел где-то под этими планками, остальное пространство занимали дети — девочки примерно двенадцати и семи лет. Дети не двигались. Машину вел крупный, обстоятельный, в очках отец семейства. Бледная проглотившая аршин мать смотрела строго перед собой. Никто не произносил ни звука, радио не работало.

Сева обычно издалека видел, набит ли салон, — и даже не пытался, если полон. А дети оставляли большой просвет — и он поднял руку. Когда селся в машину, у него никто ничего не спросил, Сева просто назвал следующий пункт — Каменск. А потом некоторое время ерзал — молчание казалось неестественным. Как нарочно, вспомнилось, что, по канонам автостопа, молчать неприлично — тебя как бы и взяли, чтобы водителю не скучно было одному, чтобы не дремать за рулем. Но через несколько минут он расслабился. Произнести здесь слово — все равно что громко засмеяться в вековом лесу.

Возникло ощущение, будто он уже давно едет, смотрит в окно и под ним время от времени меняют машины. И остается только иногда отвлекаться от пейзажа и не без интереса разглядывать новых попутчиков, чьи отличительные черты, благодаря неизменности кадра и запертому пространству салона, сразу отливались в атмосферу с какими-то особыми, действующими только здесь правилами.

Вдруг появилось ощущение мальчишеской гордости. Вот, он едет в машине по совершенно незнакомому миру. Поездка дает ощущение, что жизненный опыт прирастает. Это осталось из психологии семьи, в которой никогда не было автомобиля. Как хорошо — сидеть здесь, смотреть в бездну незнакомо мира и делать вид, что все как обычно, что ты уже даже не замечаешь этих утомляющих обстоятельств и перемен.

Кто это сидит со мною в машине — дословесный народ, которому для счастья не надо ни слова, ни жеста, или прагматики, скряги, которым лишнего движенья без повода жаль? Да, скорее всего, зажиточные мешчане. Одеты прилично — сорочки, блузки, но так, будто они отдыхали на параде.

— Думаешь, хватит этой справки? — вдруг произнесла жена, не поворачивая головы.

Ответа не последовало, но казалось, он должен быть. Сева переводил взгляд с затылка на затылок — и ничего не происходило. Какой тут толстокожий мир.

Не такой уж толстокожий, раз тебя подобрали, правда? Но почему они его подбирают? Может, водила думает, что за деньги везет? А может, из обстоятельности. Вон он едет семьдесят километров в час, такое ощущение — чтобы ничего не пропустить. Почему именно эти люди подвозят? Не кажется ли тебе, Сева, что жизнь складывается из людей, которые тебя случайно подбирают — и тем самым оказываются неслучайными? Вы не выбираете друг друга, вы просто оказываетесь за одной партой, в одной комнате общепития, в одной машине. У вас нет относительно друг друга никаких планов. Вы проводите друг с другом минуты, часы, месяцы, годы — и характер связи между вами почти не меняется. Только в какой-то момент оказывается, что других людей в твоей жизни, в общем, и нет. Но и эти люди — разве они в твоей жизни... Они просто в какой-то момент проживали, крутили баранку рядом. А сейчас и вовсе забавно: они все меня везут — а что делаю я? А я бегу от них, шагаю через них. Они помогают мне оказаться там, куда никто из них даже не думает двигаться. Справедливо ли это?

— Да, — ответил отец семейства.

Сева успел забыть, на какой вопрос тот сейчас ответил, и некоторое время вспоминал. «Эстонцы, что ли?» — подумал он.

Автомобиль уже въезжал в низину Каменска. Трасса шла через весь город в качестве центральной улицы. С дороги повернули к воротам закрытого гаража, и мотор замолчал.

— Большое спасибо! — бодро сказал Сева, вылез из машины и зашагал назад к обочине.

— А ты куда едешь? — спросил его в спину мужчина в роговых, как теперь видно, очках и свежей, но примятой сорочке.

Сева коротко обернулся:

— В Петербург, — и не стал дожидаться реакции, двинулся вдоль трассы к выезду из города.

Некоторое время он чувствовал взгляд на своей спине. Позади как будто что-то происходило — тяжелые механизмы чужой психики зачем-то пытались заново сформировать мнение о случайном попутчике.

6

Семьсот метров по прямой — и нет больше Каменска.

Пока шел, жара придавила. Прошибло потом. Куда-то делся ветер, вокруг ни тени, солнце добросовестно пропекало поверхность. Из степи шел густой травяной настой. Сева утерся рукавом. Он помнил это ощущение. Бабушка брала его лет в шесть-семь собирать землянику. Вместо жужжания машин там жужжали насекомые.

Поле начинается за перекрестком. На той стороне АЗС с какой-то сапопальной вывеской. Сева увидел будку туалета и направился туда. К дыре подойти невозможно — загажено, и жара чуть ли не вскипятила все это дело. Даром, что зашел за стену, Сева отливал на природе, копошась взглядом в пожухших, усохших от ветра и солнца сорняках. Запылены, пропитаны парами тяжелых металлов, пропахли бензином и высококонцентрированным забродившим говном, вытоптаны ногами и шинами. Но попробуй, домашний мальчик, выкрутить этот жгутистый стебель — большее, что ты сможешь, — оторвать листья. Это невеликая потеря. Можно спалить, но горит будылка плохо. Зато она хорошо хочет жить — жить свою вонючую, ни на что не претендующую жизнь. И при этом утром на нее, как и на самые благородные растения, ложится божья роса.

А метров через сто начиналась пшеница. Набежали облака, приглушив накал света, дунул ветер — и Сева пошел до поля без оглядки на машины. Золотистая нива медленно вытекала из-за лесополосы. Уборка вот-вот начнется, колосья уже тяжелые, согбенные. Сева не стал сходить с обочины, а так и смотрел с небольшой насыпи на береговую полосу метрах в пятнадцати, на которую лениво набегали шелестящие волны. Смотрел и думал, что вот такой была красота еще до того, как ее догадались отделить от вещей, сделать чем-то самостоятельным. Красота — это вспаханное и засеянное человеком поле, на котором сам по себе вырастает небывалый урожай. Теперь, когда цивилизация была так легко оставлена, эта красота проступила. В городе и близ него слишком много бессилия человеческого мира, застывшего в состоянии разложения. Растрескавшийся асфальт и вывороченные бордюры, плитка, покрывающая не более пяточка перед новым фирменным магазином, а дальше — ничья земля. Много ничьей земли. Она начинается прямо перед порогом и заканчивается у другого порога. Любая низость там может сосуществовать рядом с красотой, и это сосуществование — торжество бессилия. А здесь — засеянное поле. И от него прилив радости, как будто наша футбольная команда выиграла — справилась, присвоила эту ничью землю, сумев ответить своим даром на дар природы.

И ничто никуда не движется. Потому и дорога — одна на весь обозримый мир. Оглянись вокруг, посмотри, сколькими путями пройти нельзя, чтобы не сгинуть, и только по ней, единственной, — можно. Ведь, если дорога, значит кто-то по ней проходил. Но она для нас, оседлых донельзя, — на самый крайний случай. Только для тех, кому жить надоело. Кто вытряхнут из корзинки. Никого на дороге не встретить. Машины не в счет — их скорость выражает только желание быстрее вернуться.

Сева смотрел вокруг — и ему казалось, что он никуда не уезжал. Этот мир был знаком ему с детства. Эта звенящая тишина, в которой слышен лишь процесс твоего старения. Эти пыльные тополи, кренящиеся от ветра на один бок. Редкие люди, глядящие друг на друга мельком за отсутствием интереса. Эти случайные, дающиеся через силу слова, которые, если бы не были просьбой, не произносились бы вовсе. Можно выпросить подвезти, если человеку ничего не стоит, но попробуй выпросить интерес к тому, кто ты и зачем живешь. Нет, мы ничего друг другу не должны. И эти тополя ничего тебе не должны — поэтому такие пыльные. Ты тоже можешь сесть вот прямо здесь, прямо на землю — и отдохнуть, расслабиться так, чтобы все внутренние токи замерли и только глазные яблоки иногда поворачивались. Никто тебя ни в чем не обвинит. Погонят работать? Ну, поработаешь, покидаешь инертные материалы. Но только отложишь труд, вернешься на исходную: звенящая тишина, в которой надо найти причину, чтобы шевельнуться, найти силы, чтобы приподнять ее.

Это был знакомый мир обреченного одиночества внутри природы. В стертой покрышке даже больше человеческого, чем в человеке, — потому что она стерта, она выполнила свое предназначение. А о человеке трудно говорить так уверенно. Его слова его не выражают. Его дела ему навязаны. Его существование — от бессилия. Его отношения — примитивны. Его надежде не за что зацепиться.

Ни у кого ни с кем ничего общего. Ты так легко водишь сейчас глазами по миру, но взгляд — слишком слабая скрепа. Никто никому ничего не должен. И органы чувств перестают фиксировать вкус безумия. Потому что развалившийся на части мир безумен. Позы, выдающие заброшенность людей и предметов. Они либо действительно считают, что их никто не видит, либо им плевать на все, что способно видеть. В распавшемся мире каждая его часть безумна. Безумны поучения людей, чьи ежедневные разговоры начинаются с оставленной не там кружки, а заканчиваются аргументированным унижением. Ты можешь запирается в туалете с книжкой — и это так же безумно, как убивать кошек, раскручивая их в воздухе за хвост. Ты можешь держать ладонь над пламенем, пока мясо не выгорит до кости, —

и это не менее безумно, чем подстраиваться четвертым в подвале к запуганной залетной шмаре. Безумие обособленности уравнивает праведников и грешников. И нет такого поступка, который мог бы вырваться за пределы этого безумия. Ни крайняя жестокость, ни крайняя нежность не покидают пределов одиночной камеры. Этот тихий пейзаж — такое же впитывающее всю твою энергию вязкое пространство.

Вот только два пасущихся у обочины козлика все портят. Божьи создания с изумленными энергичными глазами. Один черный, другой тоже черный. Один щиплет траву, другой посакивает, цепляет первого. Вот они — совершенно нормальные существа, только — козлы, конечно, и спроса с них нет. Потому и любишь ими, как рыбками в аквариуме, — хороши, да не про тебя. Но глаз все равно радуется, и жить — легче.

Потому что когда Сева додумывался до конца о том, что он видел даже в пейзаже, то оказывалось, что это что-то вроде насилия. Природу устраивает все самое страшное, что с ним происходит. Это мешало ему наслаждаться.

Искажено восприятие природы. Смотрит сейчас Сева на поле незрелой кукурузы, потом — на поле подсолнечника, на котором только начинают появляться цветы, — и думает о том, сколько он наворовал этого добра.

Сгорбившись под палящим солнцем, цапаясь о высохшие стебли, с льяными мешками пробраться в середину поля, расчистить поляну и набивать семечку палкой из огромных шляп, на срезах выдающих липкую растительную кровь. И приседать от шума проехавшего автомобиля. Казалось, что это не закончится никогда. Сыпешь в мешок и сыпешь — а он все пустой. Этот голод неутолим подсолнечными семечками.

Старший сын в многолетней женской семье, оставшейся без отца беззащитной и на грани нищеты. Каждое лето с тринадцати лет — наемный труд в колхозах. Сева перепробовал все виды культур. В окрестностях дома два места, где можно было наниматься на суточные работы, за которые расплачивались плодами полей. На одном перекрестке брали корейцы — они выращивали лук и овощи. Весь день на карачках, зато ездить можно было уже с мая. Радость у корейцев только в конце июля — арбузы, но на них работать невыгодно: арбузов много не привезешь. В другом месте возил убитый «пазик» на совхозные фруктовые поля: яблоки, слива, абрикосы, вишня. Было редкой удачей попасть на черешню. Впрочем, часто удачей было сесть в этот «пазик» — в голодные годы претендентов всегда было втрое больше, чем мест в автобусе. И если будешь пропускать вперед, никогда внутри не бывать. Сева расставлял локти, шел плечом, напирал, оттискивал напористых бабушек. И залезал, зависал на большой пальце одной ноги внутри человеческой массы — и не понимал, как эти люди на этом транспорте поедут назад — когда у каждого будет по три набитых сумки. Но все и всегда возвращались. А иногда дверь закрывалась прямо перед носом, и в шесть утра — вставать надо было в пять — он был уже абсолютно свободен и несчастен. Он шел домой, придумывая оправдания.

А если попадал, доезжал до поля и работал, то эти яблоки стояли потом перед глазами, на что бы ни смотрел. С сознанием что-то происходило. Мгновенье не кончалось — в каждый момент оно было одним и тем же. Но день — пролетал: мгновенья не суммировались, вспомнить было нечего. Нужно было просто терпеть. Да, просто терпеть. До сих пор, встречая плодовые деревья, он их так про себя и называл — «плодовые деревья». Ему казалось, что он не видит их красоты — так рыбаки не очень охочи до рыбы.

А может быть, подумалось Севе, красота не открывается без труда? Разве красота доступна только тем, кто не может с первого взгляда отличить, с гнильцой яблоко или нет? Может быть, я и сейчас люблю, но еще мало знаю о своей любви. Как можно не любить то, что знакомо до самых волокон? Труд ведь не убил меня, правда? Да и не запредельным он был. Тут идешь в жару — и тело свое нести трудно. Если вот это научиться

терпеть, то дальше — легче. А то послушаешь себя — можно подумать, что каторгу мальчик прошел. А я просто маме помогал.

Нет, все-таки не просто.

Это была еще и жертва, приносимая одному поселившемуся в их жизни чудовищу — чтобы оно молчало. Нужно было много работать, чтобы иметь право жить спокойно.

Чудовища такого рода заводятся, как паразиты, в нищете и унижении. И после того, как оно появляется, преодолеть эти состояния уже практически невозможно. И скоро уже невозможно будет узнать тех, кто его впустил. Оно хочет быть сытым, живя в твоём доме. Оно хочет, чтобы ты работал, чтобы оно было сытым. Оно хочет, чтобы тебя не было после того, как ты хорошо поработаешь, — чтобы насладиться моментом сытости. В этот момент жизнь сделана — ничего нового в ней уже не будет. Оно поначалу просто называлось отчимом.

Запомни главное: если не ты, значит — тебя. Если — ты, значит ты — говно, которое надо смешать с говном, а если — тебя, значит завали свой рот и иди делать, что тебе сказали. У нас тут не обсуждение точек зрения. У нас тут насилие, детка, отдыхать от которого можно только в запое. Недельки две, не различая ночи и дня, обсыкаясь и заблеываясь, но в любом состоянии умоляя, прося и требуя то, что якобы от него спрятали. Мы все спрятали от него самое главное. Мы все виноваты в том, что оно обоссано. И оно нас за это будет топтать. Если мы не найдем ничего, что сильнее.

Нет, не в труде насилие, а в том, что ты видишь камень, которым завален выход на свет, — и до поры тебе его не отодвинуть. Насилие в том, что труд — лишь ради того, чтобы не было хуже. А лучше и быть не может. Если кто-то кого-то и предал, то мы сами — надежду. Мы ее оставили. Нам для этого хватило одного алкоголика-тирана в квартире. Невеликие испытания, если вдуматься.

Сева шел через знакомый ему пыльный пустой мир, в котором редкие случайные люди говорят слова, которые ничего о них не говорят. Рубашка прилипла к спине, в ушах звенело. Он не думал о будущем ничего. Будущее — невообразимо. Мысль о нем — роскошь, на которую не хватает великодушия.

И вдруг в тишине зазвучала мелодия.

7

Сначала песня была чуланом, в который можно незаметно спрятаться. Но как только глаза привыкали к темноте...

Песня очерчивала пространство, в котором можно было жить. Она давала готовую эмоцию, до которой еще нужно дорасти. Хорошую незнакомую песню вертишь, как огромную перчатку — и видишь, какого размера у людей бывают души. А таких, как твоя, сюда бы можно было бы насыпать десятка два.

ДОбрые лЮ-у-у-ди, —

пел Сева посреди дороги. —

НЕ-па-ни-МА-ют.
 ПРА-авды не лЮ-у-у-бят,
 ЖЫзни-не-зНАют...

Голос в поле звучал непривычно естественно. Сева привык, что в городе песня билась, будто в комнате, обитой подушками, — как сумасшедшая. А тут, в открытом пространстве, она вдруг полетела во все стороны. Сева пел и чувствовал, как его случайную песню впитывает весь мир.

Песня приходила сама. Сейчас он вытягивал манерные гласные и чувствовал, что струя песни наполняет его, как полого холщового человека на ярмарке — того, что нетвердо стоит и машет руками до тех пор, пока через него проходит струя воздуха. Он легко входил в состояние, в котором он уже не знал в себе ничего, кроме песни. Оттенки голоса, звучащего в вязкой тишине степи, переходы с ноты на ноту, длинноты, интонация, которая, кажется, передает даже выражение лица — это все, что сейчас собой представлял. И этого было с избытком.

Музыкального образования Сева не имел — как и абсолютного слуха. Он в музыке понимал, пожалуй, только одно — мелодию, которая достается голосу. Когда начиналась знакомая песня, он не мог ее узнать — до тех пор, пока певец не начинал свою партию. Вся остальная музыка была для него лишь аккомпанементом, который может быть любим. А вот мелодия любой быть не может — потому что она и есть песня. Мелодия — обнаруженная гармония, окольцованный ее гением мир. Справится ли голос с этой гармонией? Что он о ней думает? Принимает ли он ее? Прибавит ли что от себя или будет, как школяр, твердить на зубок?

Жители У-у-улиц
 ПрЯ-чу-т-ся в щели-и,
 Стра-шные двЕ-е-ери
 Зна-ют ку-да.
 Кто-те-бя-слЫ-ы-ышит?
 Кто тебе верИ-и-ит?
 И несут тебя-а
 Злые поездА...

И снова штопором вверх на последней гласной — потому что от всего можно оттолкнуться и лететь дальше, затягивая в свои петли столько, сколько можешь унести. Голос должен быть способен показать бездну человека — чтобы было непонятно, как из одного края человека добраться до другого, — только голос знает такие вещи.

Вот смотришь вокруг: слева брошенный коровник, под ногами пыльный щебень, под дорогой стертая покрывка, чуть впереди надгробный камень на месте аварии, прямо над ним облако, клубящееся из-за посадки, а через него летят вороны. Возьми из этого хаоса три глядящих друг на друга предмета — и они зазвучат как органнй аккорд в соборе, возьми другие — зазвучит пастушеская свирель, третьи — обнажится красота гниенья. Глянешь на случайную картину — и увидишь в ней то рыцарский роман, то поэму, то мелодраму, то путешествие, или вовсе — сюжет воспитания. Мелодия — всеильна, она может вывернуть куда угодно, всему найдет место, разрешит в гармонию даже консервную банку. Она найдет, с чем ее закольцевать. Мелодия отрицает одиночество и случайность вещей. Мелодия не знает абсурда. Во всяком случае — поешь и чувствуешь: есть надежда, что не существует обделенных гармонией. Поешь не-знаю что — и будто находишь способ то ли себя добавить в мир, то ли мир — в себя, будто нашел к нему путь, через него дорогу — и теперь, даже закрывая глаза, не можешь его не видеть, он уже записан в подкорку каждым камнем, на который наступил. Поешь не-знаю что — а миру не хватало маленькой смертной части моего проникающего во все поры голоса, чтобы превратиться из свалки, где рядом раздавленная собака с вывернутым мясом на трассе и сияние из-за облака, — в создание Божие. Поешь — и мир более не кажется незнакомым. А ты его не видел, конечно, еще, но как будто прошупал своей мелодией наперед. Или даже как будто вдел в него мелодию, как руку в перчатку. И теперь можно смелее двигаться наощупь.

Около Севы затормозил автомобиль, как только он поднял руку.

Серый «опель» смотрел на него, как серый волк, — кажется, сейчас заговорит. А что — посмотрите на морды автомобилей, у них у всех есть выражения, которые можно представить даже на людях, не говоря о животных.

Сева нагнулся и поглядел в окошко. На него черными веселыми глазами смотрела неровно седая голова с костистым лицом. Приподнятые брови придавали лицу выражение нечаянной радости от встречи с кем-то, кто мог быть старым знакомым.

— Вы знаете, — сказал Сева в эти открытые глаза, — вы так вовремя остановились! Можно с вами?

— Залезай — кидай гитару на заднее. — Голос мужчины был скрипуч не по годам. Он выглядел озорным мальчишкой, с этими бровями. Седина на нем смотрелась слишком ранней старческой меткой.

Открыв заднюю дверь, чтобы положить инструмент, Сева увидел еще одного человека. Его коленки торчали высоко над сидением; было видно, что мужчина сидит очень неудобно, но при этом — абсолютно неподвижно и стараясь не видеть ничего живого. Бледный, замученный, нечесаный, он смотрел на пейзаж за окном так, будто автомобиль двигался.

— Здравсьте, — сказал Сева, быстро захлопнул дверь и сел вперед.

«Опель» тронулся.

— Обычно на трассе приходится долго стоять с протянутой рукой, а тут такой подарок.

Сева глубоко вздохнул, как будто набирая поглубже воздух мира, в который только что попал. Глянул на прокопченные мослы, сжимающие руль. Примерно так выглядели стебли сорняка возле придорожного сортира. Глупо пытаться представить, что кто-то может выкрутить эту руку. Но и восхищаться ею тоже в голову не придет.

— Играешь? — Его голова затылком кивнула в сторону того места на заднем сидении, где встал чехол.

— Не столько играю, — вздохнул Сева, — сколько пою.

— И хорошо получается?

— Если у меня в жизни чего и получается, то это петь, — медленно и весомо проговорил Сева.

— А чего поешь?

— В основном бывший рок: «Кино», «Наутилус», «Аукцион». И сам кое-что придумываю.

— Ага. Знаю я эти имена, — и как будто секунду подумав, стоит ли об этом, спросил: — Знаешь, что такое «Сайгон»?

— Это ж в Питере? — задохнулся Сева.

— Да, это было такое злчное местечко на углу Невского и Владимирского — я там прожил года три.

— Вы играли?

— Не — крутился.

— Семидесятые?

— Самое начало восьмидесятых — БГ, Майк. Цоя я помню плохо.

Сева застыл и не отрывал от него глаз.

— У меня волосы такие были. — Он махнул ладонью ниже плеч. — Там простым работягой было выглядеть не очень прилично.

— Тогда я, наверное, похож на работягу, — усмехнулся Сева.

— Да, на работягу, у которого выходной. И он решил на выходных мир посмотреть — гитару вот взял.

— Но вы почему-то меня взяли... Как вы оказались там?

— От земли мы тогда отрывались. Не было такого колхозника, чтобы не мечтал стать горожанином. Все, кто был на что-то способен, рвали со своими корнями. Поэтому там — в колхозах и на заводах — оставались только те, кто не рыпался. Вот такой у нас складывался образ народа, из которого

мы сами вышли. — Он снова специально повернулся, чтобы Сева посмотрел на его усмешку. — В общем, я там после армии попытался поучиться в Горном институте, жил в общежитии на Васильевском острове.

— А почему Горный?

— Так шахты у нас тут вокруг. Папа подумал, что для сына это будет перспективно. Ты знаешь, сколько тут шахтеры получали в советское время? Рублей пятьсот. Нигде в стране таких зарплат не было. Тем более, Донбасс всегда тянули, поддерживали — вроде тут условия для добычи тяжелее: пласты узкие. Вот папа и задумался о моем будущем. Он тогда в Каменске работал на оборонном заводе, который делал — да до сих пор делает — эти... как их? — полиамидные волокна для бронежилетов. То есть я и пролетарий, и колхозник в одном лице — потому что мама из станицы неподалеку. Но хотелось же в общество! А первое, о чем ты там узнаешь, — что с народом тебе, так сказать, как-то стремно. К тому же дети рабочих сразу видели «пипла» — и начинали его сразу люто ненавидеть. А комсомольцы, между тем, становились злыми. Мне вообще кажется, что тогда в музыку многие попали случайно. Их вытеснили в музыку. Представь, что вот, например, у тебя длинные ноги и ты сутулишься. Или просто немного похож на идиота: прическа неаккуратная, гримасничаешь. Я уже не говорю про какого-нибудь гея. У тебя и без того, скорее всего, будут неприятности. Каждый день будут проверять документы, задерживать, читать морали, чуть дернешься — вылетишь отовсюду. И куда пойдешь? Конечно, в музыку, в тусовку, где тебя научат рвать все связи. И очень скоро тебе захочется побыстрее умереть.

Теперь он не поворачивался — он глядел на дорогу так, как будто закончил.

— У меня музыка не очень ассоциируется с желанием умереть, — осторожно сказал Сева.

— Да, я писал. Меня хвалили. А как держаться за это? Ну вот вынырнул я из тумана, написал пару остроумных фраз — и снова в туман. Я даже архива своего не имел, все бумаги по приятелям рассыпались... Мы выросли в культуре, где все герои — бунтари. Это ж бомба! Совок старательно выращивал людей, которые были обречены похоронить совок. А потом ты трезвеешь и начинаешь изгаляться. Ведь если свободный человек крадет у раба, он делает мир лучше! Я со знанием дела, между прочим, говорю — имею судимость за кражу. А вот за то, что тремя девочками торговал в общежитии, — не имею. А еще я помню, как мы на радостях с корешком, которого я знал буквально пару дней, с разбегу врезались головами в железный забор. А наутро я проснулся в своей квартире, а когда посмотрел в зеркало, увидел, что у меня проломлен череп, лицо залито кровью, один глаз вышел из орбиты. А один большой поэт написал на мою смерть стихи. Друзья думали, что я зимой замерз в подъезде. А я выжил. И тихонько решил соскочить — уехал в Каменск, где в это время совсем поехала крыша у моего бедного братика. Да, братик? — добродушно спросил он, глянув в зеркало заднего вида. — Братик у меня ученый. Да только как может быть ученый в Каменске? Тут пока нет ни домов для ученых, ни магазинов, ни женщин для них тут специальных нет. Совершенно непригодный для науки город, я тебе скажу. И стал как-то мой братик на людей бросаться. Вот этот-то вот дыхла. И мне мама тогда написала — приезжай: мол, либо его убьют в результате его непредсказуемой агрессии, либо закроют в психушке. А у меня такой был период тогда в жизни, что оставалось только замерзнуть в подъезде. И я понял, что русский рок, он здесь — в Каменске.

— Как вас зовут? — спросил Сева после паузы.

— Гера, Жора, Геродот, Георгий — выбирай.

— Меня зовут Всеволод. — Слова произносились медленно и обстоятельно.

— Ну и что, Всеволод?

— А откуда же тогда такие хорошие песни взялись?

Геродот подумал и резко рассмеялся.

— Если бы я точно не знал, что их писали такие же, как мы, я бы в это не поверил! Они, сильные, иногда, видишь ли, незаметные. Это мы тарахтим...

— Ему надо здесь выходить, — вдруг послышалось с заднего места.

Сева не успел ничего подумать.

— Не обращай внимания, — быстро ответил Жора.

— Ему надо здесь выходить, — повторил сзади глухой слабый голос.

— Кстати, это он сказал тебя подвезти, — сказал Георгий. — Если бы не он, я бы, может, и внимания на тебя не обратил. — Он повернул лицо и показал просветы между зубами.

Помолчали.

— А вы все-таки остановите, — вдруг произнес Сева.

— Чего ты?

— Да все в порядке. Давайте я здесь сойду?

— А дальше чего?

— Мир не без добрых людей. Спасибо вам. — И Сева протянул на прощанье руку этому симпатичному человеку с веселыми глазами и старым лицом, выхватил с заднего сидения инструмент.

Человек сзади изучал пейзаж за окном остановившегося автомобиля.

9

Небо заволочло облаками — нелишнее облегчение. Краски проступили более ярко, зелень теперь шевелилась не обморочно, а осознанно и хмуро, как полевой работник.

Сева с минуту постоял на обочине, вынул из сумки атлас и присмотрелся. Примерно граница с Воронежской областью. Ну что ж, триста километров позади, впереди еще тысяча четырехсот. На часах четырнадцать десять.

Сева обернулся и поднял руку. Синяя «девятка» прошла мимо. Странно было осознавать, что он больше никогда не увидит этих людей. Вдруг Всеволод заметил, что метрах в ста впереди от него стоит у обочины автобус. Ускорил шаг и стал вглядываться. Фигуры рядом с автобусом. Отлить, что ли, вышли? Нет, тогда бы я его не догнал. У них, кажется, с колесом что-то.

Сева немного сбавил шаг, чтобы не выглядеть излишне торопливым.

Автобус — это вариант. Даже не привычный междугородний «икарус», что-то более крупное — такое ездит на большие расстояния. Ох, как бы хорошо... Только бы не на Украину, не в Волгоград... Нет, это все другие трассы, а эта — эта на Москву.

Двое мужчин с видимыми усилиями снимали заднее колесо. Скат упал им под ноги, и один из них, низенький, ладный, с волосами ежиком, склонился над ним. Другой, с пузом, с развевающимися на ветру редкими русыми волосами на облетающей голове, с висячими усами, — смотрел сверху вниз, широко расставив руки, и задумчиво говорил отборным матом.

— Да, — кряхтя, отвечал снизу напарник, — это надо было умудриться.

Сева стоял уже рядом, но на него никто и не глянул:

— А вы куда едете? — тихо спросил он.

Дядя снизу поднял голову:

— В Москву.

— Не подвезете?

На этот вопрос, было ясно, должен быть ответить большой человек.

— Иди, — ответил он, запнувшись и глядя на скат, будто вспоминая забытый язык. Качнул рукой к открытой двери в салон и неожиданно у него сложилось: — Там есть свободные места.

— Спасибо! — сказал Сева и сдержанно вошел в салон почти нового автобуса «мерседес». Внутри все клокотало от радости.

Изнутри веяло прохладой кондиционера, места здесь были лежачие. Спинка каждого из сидений опускалась до горизонтального положения.

У лежащих вокруг людей даже было что-то вроде постельного белья. Сева прошел в самый конец салона — пустыми оказались шесть или семь мест. По пути узнал, что прибытие в Москву по расписанию в шесть утра. Разместился по-царски, со стоном в костях. Выдохнул.

Можно подумать, годы в пути. Люди, выходявшие одновременно с ним утром на работу, между прочим, еще не вернулись домой. А путешественник уже устал, потому что он идет тем путем, который его меняет.

Автобус тронулся минут через десять.

На верхней панели заработал небольшой телевизор. Появилась картинка — какой-то фильм, видимо, прерванный, поскольку начался не сначала. Сева давно не видел кино. В общежитии телевизора не было. Нет, можно было найти комнату с телевизором, этаже на втором или третьем, где жили уже совсем не общажной жизнью домовитые взрослые люди. А у них на девятом телевизоров не было. Самое ценное, что тут бывало, это еда. А замок в двери можно было открыть вилкой.

В фильме играла знакомая музыка. Да, это «Наутилус» — только композиция из позднего странного альбома. Парень, из приехавших, идет по большому городу — подворотни похожи на питерские — встречает людей, ищет брата. Звук доносился плоховато. Но в какой-то просвет, когда двигатель на минуту притих, пока автобус шел на набранных оборотах, второстепенный персонаж сказал герою: «Город — это страшная сила. Он засасывает. Только сильный может выкарабкаться... Да и то...»

Отвернулся, посмотрел за окно. Дорога все-таки — спокойное состояние. Ты уже ушел и еще никуда не прибыл, и, куда ни глянь, на кого ни глянь, во всех узнаешь себя, каждого примеряешь. Привычка все примерять выдает деревенщину — это Сева и сам успел о себе понять. Мегаполис знает, что такое чужой. Сталкиваясь с чужим, ты не пытаешься проникнуть в его мир, не пытаешься примерить его на себя, ты говоришь себе: смотри-ка какой интересный вид — затем, если есть настроение, разглядываешь его и уходишь. Либо же наступаешь на него, как на таракана. Ни секунды не думая о том, каков он, что он хотел сказать в жизни — то же ли самое, что и я? Это деревенщина считает, что весь мир примерно такой же, как он, что, если постараться, его можно понять и вместить. Горожанин не надеется быть понятым и понять первое встречное странное существо. А бабушка-провинциалка смотрит на индусов, содрогающихся прямо на улице в тантрических ритмах, и волнуется, как бы внучки не встретили хулиганов.

А почему бы и не деревенщина?

Сева вдруг осознал, что голоден. Полез в сумку, достал прозрачный пакет, стал медленно жевать бутерброд с теплой от впитанного солнца колбасой. Смахнул крошки, и через минуту пришла дремота. Откуда-то вышла одна отложенная мысль.

Его ухода никто не заметил. Его никто не проводил, никто вослед не плакал, не просил присесть на дорожку. Никто не перекрестил ему спину, как — он знал это — часто делала его мать. Не было никаких напутствий. Не случилось такого события, как уход Всеволода из мира, в котором он прожил два года. Не заработал он на это событие. Его исчезновение, на которое он обрек этот мир, ничем не выделялось из бесконечной череды его отсутствий по самым невинным поводам — а значит, и разговаривать пока было не о чем.

Уходишь? — Ну, пока.

Вспомнилось, что несколько раз так прощался, четко осознавая, что не увидит больше человека, — и как будто упивался фантастически несправедливым несоответствием боли и этого бледного «пока».

Я смотрю в темноту-у.

Я вижу огни-и.

Это где-то в степи-и.

Полыхает пожар.

Ох, правильную песню приберег режиссер на финал.

Он, я знаю, не спит:
Слишком сильная боль.
Все горит, все кипит,
Пылает огонь.
Я даже знаю, как болит
У зверя в груди.
Он ревет, он хрипит.
Мне знаком этот крик.

А ученый, конечно, удивил — откуда он знал, где я должен выйти?..

II. ЖЕНСКАЯ ГЛАВА

1

А во сне Сева стоял за спиной действующего героя кинофильма Данилы и ему на ухо комментировал действия.

Данила, какой ты крутой. Совсем не напрягаешься, когда валишь людей. Раскрываешься прямо в эти моменты. Я бы так не смог, конечно. Но что же это женщина за тобой не пошла, Данила? У тебя же долларов полные карманы, а на нищую несчастную женщину не хватило. Как так? Есть о чем подумать, — как считаешь? Но нет, Данила, ты же не из тех, кто думает, — Данила действует. Вот ловит он в конце попутную машину — и бежит. Ну тогда давай я за тебя подумаю. Ты, Данила, — убогое в своей силе, нехитрое образование. Пекаль, диск Бутусова и верный член. Наверное, ты думаешь, что именно так и должен выглядеть мужчина. Ты не одинок в своем образе мыслей, не одинок. Однако, выдам я тебе свою заветную мыслишку — вот эта некрасивая женщина, которая с тобой не пошла, по-моему, гораздо в большей степени женщина, чем ты — мужчина. Да, ты не боишься ствола, но у тебя коленки трясутся от сложности, ты вон бежишь от нее, отстреливаясь из обреза, роняя пачки купюр, — а она живет с этой сложностью каждый день. У тебя бы мозг лопнул, если бы ты попытался представить, как она живет.

Куда бежишь, Данила? В Москву? Весь Питер уже прохавал, да? Посмотрел бы я, как бы ты пеленки гладил для своей дочки.

От вида мужчин, от звука их голосов Севе делалось смертельно скучно. В их лицах и в издаваемых этими существами звуках, даже в манере чихать он различал тупорылую самоуверенность. Вот я, мол, как чихаю — чтобы, падла, стены содрогнулись! Это потому, что я настоящий, сука, мужик. А сейчас я еще сяду жрать, и ты увидишь, как я буду жрать! А потом я еще перну, чтобы все слышали, как я необуздан! И заржу. А кому не понравится — завалю. Я слово свое держу!

Слово он держит... Если ты — мудака, кому какая разница, держишь ты его или нет.

Режиссер-затейник заставил своего героя слушать «Наутилус», а не Ивана Кучина. Это он придумал, что такие герои бывают. А вот герой не врубается. Не доходит до него пока дух этой музыки, а он делает вид, что ему нравится. Врешь, Данила, — чего там тебе может нравиться? Что ты можешь знать о князе тишины? Вперся ты в культуру со своими зубуренным уставом, потоптался там как бы ради ссучившегося брата и теперь улепетьеваешь в Москву. Монстр режиссера-франкенштейна развалился под действием внутренних центробежных законов в доказательство, что таких существ не бывает. Такие, как ты, на деле гораздо хуже. Они беспричинно злобны и жестоки. Не мы такие — жизнь такая.

Главным средством познания мира для Севы оказалась женщина.

2

Классные руководители отобрали учеников двух девярых классов для подготовки «Литературной гостиной», посвященной русской поэзии Золотого века. Всеволода выбрали ведущим от 9 «Б», от 9 «А» была прислана уверенная девушка Валентина. Сева знал о ее существовании, но внимания на нее не обращал.

Всеволод в это время был влюблен в одну из своих фантазий. Облегчало дело отсутствие контакта с объектом. Развитое приключенческими книгами воображение легко пленял зрительный образ, после чего Сева уже мог упиваться случайными улыбками и убиваться от рассеянного холода. Это была простая и самодостаточная внутренняя жизнь, которая не пробивалась на поверхность.

Сосредоточившись на внутреннем камертоне, задавшем тональность любовного томления, он сидел в актовом зале на одном из обтянутых серым дерматином и сбитых в линию по пять кресел. На маленькой сцене шла репетиция, которая сейчас не требовала участия ведущего. В этот момент ему в ухо кто-то дунул. Он повернул голову и увидел недавнюю знакомую Валу. Она сидела рядом, широко и нагло улыбалась. Он продолжал смотреть.

— Потрясающая реакция! — довольно громко констатировала она.

— В смысле? — уточнил Сева.

— Просто, Всеволод, я еще не встречала столь спокойной реакции на вот это действие. Некоторые, должна я заметить, в ужасе вскакивали с кресел. — Она говорила деловито и уверенно.

После трех-четырёх легких реплик это уже был один из самых значительных разговоров с женщиной в его жизни. В каждой ее фразе он чувствовал пищу для обдумывания и переживания. И нельзя было не отметить ее элементарной заинтересованности: она явно давала понять, что она его не просто видит, но и как-то читает выражение лица и манеры. Она делала с ним то, что он сам привык делать с людьми молча. Все здесь было ново.

Они поболтали о мероприятии, которое готовилось на их глазах. Сева подумал, что дальше этой темы, в общем-то, двигаться некуда. Но, предвидя тупик, Валентина спросила, какая книга его в последнее время потрясла. Так и выразилась: «потрясла». Сева как-то даже сел прямее. Какой неожиданный и простой вопрос. Как так могло получиться, что ему никто никогда его не задавал? Разве он не читает книг? Много читает. Но он не мог себе представить человека в своем невеликом окружении, который мог бы задать ему этот вопрос. Разве не очевидно, что рано или поздно такой человек в его жизни должен был зародиться. Сева подумал и назвал: «Поллярный конвой» Алистера Маклина. Главным героем книги был крейсер, от экипажа которого остался в живых лишь парень на костылях — и его рассказу о гибели всех, кто был на корабле, не верило очерстившее начальство. Он остался один на один со всем, что там произошло. Валя попросила принести ей эту книгу. Сева взглянул на нее с недоверием: это уже был перебор, неужели она будет ее читать? Через два дня они столкнулись в фойе школы, и она вновь попросила книгу. Тогда он принес. Затем она поделилась впечатлением. Потом они пересеклись где-то на улице, и Валя пригласила как-нибудь зайти в гости. Черкнула ему свой адрес. Он зашел к ней месяца через полтора. От предыдущей влюбленности простыл и след. Из мира фантазий он осторожно выходил в мир реальных женщин, не ощущая пока, впрочем, никаких внятных ощущений.

У Валентины было любопытно: большая квартира, много книг, интеллигентные родители-госслужащие, чай с печеньем, разговоры — причем если об общих знакомых, то не об их поступках, но о том, как они предпочитают жить, о том, что они думают по разным поводам. Это был простейший анализ человечности, интереса к которой в мужском мире он до сих пор не встречал. Сева впитывал, как губка. Все, о чем они говорили,

настолько не имело отношения к его жизни, что он вскоре почувствовал себя человеком, который стал накапливать мысли впрок. Она рассказывала ему о романах своих подруг, и они, ставя себя на место героев из этих романов, впервые выговаривали свои личности. Валя стала для Севы первым собеседником, но между ними всегда было пространство комнаты: он сидел в кресле, а она валялась на диване, в домашних шортах и свободной футболке. Он видел ее длинные ноги, развитую грудь, но не мог к ним ничего испытывать. Это были неоткрытые земли, и они что-то делали здесь, между людьми, которые уже стали думать, что понимают друг друга как никто.

А однажды она очень просто взяла его ладонь, стала разглядывать линии. Она видела какое-то значение даже в его мозолях от турника. Тогда и он взял ее руки и стал брать их постоянно. И не чувствовал ничего, кроме плотской нежности. Ему хотелось целовать красивые руки, он был восхищен первой попавшей в его распоряжение женской плотью. Но он сдерживался, потому что общение между ними было о чем-то ином, менее ему понятном.

Он мало рассказывал о своем быте — о колхозах, ловле раков, торговле на базаре, домашних хлопотах, — но ей было ясно, что он совсем из другого мира. Это подстегивало ее интерес. Она говорила Севе, что он — цельный. Этот комплимент был Севе не очень понятен, но было очевидно, что это — комплимент. И потому он его обдумывал.

Однажды она проводила его в зал, который именно в этот день пустовал: отец в командировке, а мама не совсем хорошо себя чувствует и отдыхает в спальне. Сева не мог представить свою мать отдыхающей в спальне.

В один из окончившихся трудовых дней он устроился в углу большого дивана и почувствовал, что действительно устал. Почти весь день он провел в грязной реке с драгой. Для Валентины не существовало рек, раков, отчимов, денег. Когда она на минуту вышла, Сева еле удержался, чтобы не прилечь. Он чуть прикрыл глаза, и перед ним возникло морское дно и увеличенная водолоазной маской рачья морда с протяннутыми к нему клешнями. Он открыл глаза, чтобы ее не видеть. Встал, чтобы получше разглядеть книжные полки: классика, много фантастики, детективы, стихи, любовные романы. В его доме было лишь две полки книг: русские сказки, «Гора самоцветов», «Унесенные ветром», двухтомник Лермонтова, какой-то Вилис Лацис.

— Я наконец поняла, на кого ты похож, — деловито заявила Валя, войдя в зал и закрыв за собой двустворчатую дверь.

— На кого?

— Ты — Маяковский.

— Это который про советский паспорт?

— А ты сам погляди. — Она сняла с полки красный том и показала портрет. Поэт сжимал в больших губах папиросу, был лыс и смотрел мрачно.

— Ну да, что-то есть, — согласился Сева.

— Это твой взгляд. Только у него одна большая складка между бровями, а у тебя две. Одна бывает гораздо реже.

— Это выдает во мне посредственность.

— Ты его читал?

— То, что было в учебнике.

— Вот послушай: вступление к поэме «Флейта-позвоночник»:

За всех вас, которые нравились или нравятся,
хранимые иконами у души в пещере,
как чашу вина в застольной здравнице,
подъемлю стихами наполненный череп.
Все чаще думаю, не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.
Сегодня я на всякий случай
даю прощальный концерт...

— Ни хрена себе, — тихо произнес Сева, когда она закончила.

Валя засмеялась и уселась на диван рядом с ним, коснувшись Севы своим длинным бедром.

— Ну — как? — выпытывала она.

Сокращения дистанции трудно было не отметить, мысль сбивалась. Вблизи она выглядела иначе.

— Я всегда хотела тебе сказать, что мне очень нравится твой голос. Я даже скучаю по нему.

— Если бы я писал стихи, они были бы примерно такими, — ответил Сева на предыдущую реплику.

— Я в этом уверена. Осталось найти для тебя Лиличку Брик. У меня есть кандидатура.

А потом она уже говорила о домашних животных, пересказывала сцены из жизни своей кошки, смеялась, требовала реакции. Сева шарил глазами по темной комнате, не зная, как сменить тему. Наконец он просто обнял ее одной рукой и немного привлек к себе. Она поддалась, но и не думала замолкать. Он привлек ее чуть сильнее, еще сильнее, наконец уложил ее голову себе на колени. Она замолчала. В темноте ее глаза блестели. Он склонился и поцеловал ее. Она поддалась, но поцелуй вышел неумелым — они стукнулись зубами. Он подтянул ее повыше, чтобы не нагибаться так сильно. Они снова слились, теперь уже обстоятельно. Сева положил ладонь на ее грудь. Погладил и немного сжал. Другую руку запустил в волосы и сжал сзади ее тонкую шею. Он не делал этого никогда до сих пор, но, видимо, из-за усталости не боялся. Не боялся ее реакции. Ему было все равно, какой будет ее реакция.

Они целовались до половины первого, пока из-за двери Валю не позвала мама. Сева встал, поправил одежду, подошел к окну и, успокоившись, направился в прихожую. В электрическом свете он увидел распухшие Валины губы, к которым потянулся чмокнуть на прощание. Но она отстранилась.

И когда вышел — тогда испугался. Того, что этого может не быть больше.

3

— А чего Печорин с Верой не замутил? Она же ему нравилась.

— Потому что он знал, какое он чудовище, и берег любимого человека.

— Он чудовище потому, что мутил не с теми. Вера бы сделала из него нормального мужчину.

— Тогда не было бы никакого героя нашего времени.

— Почему герои должны быть обязательно придурками?

— Разве он придурок? Нет, это сильно чувствующий человек, который познал предательство.

— Почему нельзя стать героем, просто сделав женщину счастливой?

— Ты думаешь, это просто?

— Но он и не пытался.

— Ты — зануда.

— Это же очевидно.

— Он просто не умел любить. Примерно, как ты, Сева.

Они с Валею гуляли в парке «Юность». Сева шел чуть сзади, поэтому она не могла видеть, как он невольно пожал плечами: мимо, все как-то глупо и мимо. Она не хочет ничего додумывать, она бросает в него тем, что подвернулось под руку, и считает, что это правильно.

Это был самый старейший и заброшенный парк в городе. Стоял глубокий запах гниющих листьев. Они, утепленные свитерами, шли независимо друг от друга: он — сунув руки в карманы, она — постоянно вырываясь вперед на полтора шага, находя для этого повод то в правильно желтом кленовом листе, то в неправильно желтом.

Он чувствовал здесь себя странно. Парк отвлекал — потому что был настоящий. В нем были звуки, а в ее комнате всегда стояла звенящая тишина.

Он бы ушел сразу, если бы не новое и пугающее ощущение пустоты от ее отсутствия. «Куда я пойду? Что мне там делать?»

У песни есть такое свойство — поющий ее вынимает из себя то, что уже невозможно спрятать обратно. Вообще неясно, как оно там помещалось, как могло лежать в покое.

Он хотел бы взять ее сейчас за руку, отвести домой, согреть; тренированное воображение легко представляло их совместный домашний уют. Оно не могло дать картину разве что секса, но договорилось с собой, что там будет все в порядке. Однако будущее, которое казалось очевидным, было обречено. Сейчас не могло быть ничего неестественней, чем ее рука в его ладони. Прошло всего несколько месяцев после их первого разговора, а они были уже не флиртующими школьниками, а мужчиной и женщиной со сложными отношениями.

Прощаясь с нею, он знал, что завтрашний день начнет для нее все с чистого листа. Он знал, что, уходя от нее поздно, уходит из ее жизни. Его появление всякий раз оказывалось началом какого-то совместного пути. Как будто он выводил эту девушку из царства теней. И сколько раз казалось: он завел ее так далеко, что вернуться уже невозможно. Как они могли друг друга понимать! Эти обертона сложных мотиваций, эти опыты испытания литературной классики на соседях. А иногда и объятья, и утешенья, и прохладная страсть. Но стоило ему отвернуться, и она исчезала. А когда она появлялась, он не узнавал ее.

«Ты не умеешь любить, Сева». Даже не хотелось реагировать на эти слова. Конечно, он не умеет любить чужого человека. А кто умеет? Что чужой человек может понимать о нем? Он смотрел на нее, удивляясь своему раздражению. Отворачивался, чтобы остаться с образом той Вали, которая, да, зацепила его.

Но ведь не всегда же так было, ты вспомни, Сева. Ведь это она сама выманила тебя! Да, она выманила, внимательно и одобрительно рассмотрела. Возможно, здесь нужно было понять, что больше ничего она дать не могла.

Как не могла? Как она убедительно говорила о том, сколь ты исключителен. Разве когда человек говорит так, это не значит, что человек относится к тебе исключительно?

Нет, не значит. Это значит, что перед тобой тонкий, начитанный или просто любопытный человек, который способен рассмотреть твои исключительные качества и их редкие сочетания. Разве ты не должен быть благодарен уже за эту способность тебя оценить? Почему ты требуешь большего?

Потому что словами дело не ограничивалось. Мы были близки! Нам много раз и по-разному было хорошо. И для некоторых людей это достаточный повод, чтобы быть вместе. Сева как раз из таких людей. А почему Валентина — нет?

Ей просто прискучил очередной уникам, которому она открыла глаза на него самого. Если присмотреться, можно увидеть, сколько их вокруг нее. Среди них есть люди, с которыми ее познакомил ты сам, Сева. И ты, Сева, видел, как их изменили простые разговоры с нею.

А еще он видел, как эти уникамы, пугающиеся того, что их исключительности более не осознает никто, брали ее силой. Какая, однако, неожиданность! Она вообще-то могла бы держать дистанцию, находясь в объятьях. Просить уйти всем отдающимся телом. Но достаточно запретить себе видеть все эти тонкости — и она твоя. Она не смеет, почти и не пытается тебе сопротивляться, Сева. Она просто слабая женщина. Бери ее и гони всех проходимцев. Сделай ей ребенка, наконец.

Гм, да, дельный совет. Но тут такая штука... Встает один вопрос: а я в принципе вправе ожидать любви? Если человек любит, то — отдается.

А если не любит, то ты всегда будешь бесправен. Даже если будешь регуляр-но ее брать, даже если сделаешь ребенка.

Ну, иногда она будет любить, куда денется. Она же просто сама не знает, как распознавать свою любовь. Она пока ее не освоила. Она освоила только разговоры о литературе и человеческих качествах. А жить ее не учили. Лучшие слова, которые она говорила тебе, были о том, что между вами было тогда, когда почти ничего не было. «Я тогда смотрела на тебя и думала только о том, как тебя хочу». Эта фраза в ее жизни возможна только в прошедшем времени. Возможно, завтра она с восторгом расскажет тебе о сегодняшней встрече, когда ты ни на миг не почувствовал контакта с нею. Все эмоции отданы ложным воспоминаниям. Но она никогда не вспоминала, как Сева нес ее на руках через текущую рекой после ливня улицу, как держал в ладонях ее лицо, как говорил нужные слова. Когда он пытается втащить ее в жизнь, она смотрит на него, как доктор — внимательно. Наблюдает пациента.

Господи, как так?! Как — так!? У нее даже грудь — с такой грудью жить да жить!

Она — Лиля Брик, ты — пролетарский поэт. Ты думал, она кому-то отдаст эту роль? Так что — либо грубая пролетарская сила, либо старый добрый разврат. Завтра кого-нибудь найдешь в ее постели. Возможно, они даже откроют тебе на стук. И ты стерпишь. Люди по-всякому живут.

Я не хочу так. Свободного человека может любить только свободный человек. Я не хочу чувствовать унижение от того, что самим своим присутствием что-то выпрашиваю, а не просить здесь нельзя, поскольку просто так ничего не дают.

Это все литература. Тебя тут никто не держит.

Держит. Я уже уходил. Это наркотик. Как остановиться, попробовав женщину? С кем мне делить мысли, которые у меня, мать их так, зародились? Они — прут и прут. А говоришь, свободный человек.

Там, в парке, Сева не думал о том, как на самом деле невообразим был еще весной их союз. Она не по годам развита, звезда из хорошей семьи. И он из рода, который умудрился выпасть даже из работяг, живучий маргинал, который пока учится на пятерки, а теперь еще и знает от нее о том, что он цельный. У них была столь разная повседневность, что этого можно было не видеть только из того условного пространства ее комнаты, в которую никогда не входили родители. У него не могло быть такого пространства, у него не могло быть своей комнаты. Но сила условности увлекла Севу, он не хотел расставаться с иллюзией, которая в иной голове не имела шанса закрепиться.

Расстаться было легко — достаточно было просто перестать приходить. Как-то стало очевидным и обидным, что движения в обратную сторону не было никогда.

Появилась масса новых обертонов. У унижения оказалось много оттенков. Сева видел, как в школе Валя при нем увлекает подружку для уединенного разговора. Нет, это еще не предательство, но Сева чувствовал в ней эту заразу. Он в какой-то момент осознал, что она приучила его терпеть вещи, которых терпеть нельзя. Где бы ни настигала Севу эта мысль, он начинал вертеться, как на сковородке. Но это было еще пока так слабо — потому что он отдал ей слишком много места. Она сыграла роль опорной конструкции в его рефлексивном разуме. И он, конечно, напоминал себе, что это произошло не случайно. Что эту роль не мог сыграть кто угодно. А значит, все можно было бы простить за поцелуй — поцелуй, который изменит все. И иногда он появлялся — и Сева все более ее не узнавал. Ее образ от нее отрывался. Всеволод возвращался обратно — жить в пузыре своей фантазии, которая теперь умела вдумываться в причины поступков, в парадоксы душевных движений.

Там, внутри иллюзии, было гораздо уютнее, чем дома. Там было все, что не могла вместить жизнь, подчиненная выживанию. С претензиями

этой жизни он даже не пытался спорить. Но кое-что он припрятывал для себя. И это кое-что было нечто неуловимое, но настоящее и красивое.

Он начал писать — причем сразу поэму. Начитавшись благодаря школьной программе «Евгения Онегина» и лермонтовских поэм, Сева придумал свою строфу мудреной конфигурации — и исписал ею тетрадь на 18 страниц. Это было нечто аллегорическое о том, как путник, идущий по символическому пути, встречает некую почти бесплотную, однако женскую особу, которая снимает с него радужные очки. Муки, воспоследовавшие вслед за этим, занимали страниц семь. Он показал эту тетрадь одному барду, который пришел выступать в их школу. Бард порекомендовал обратиться к известному поэту Волгодонска, который иногда посещает ЛИТО, разместившееся в служебной квартире. Поэтом оказалась дама бальзаковского возраста, которая молча вручила Севе учебник по стихосложению и сдала на руки поэта более мелкой должности по имени Виктор. Из учебника Всеволод узнал о существовании стихотворных размеров. А Виктор был нормальным мужиком, работал на скорой, курил дурь, но мог подсказать, кого читать.

Ощущение красоты казалось приобретенным. Он привык не думать о том, красива ли река, в которую предстоит лезть, красива ли свинья, которую предстоит резать, красив ли человек, с которым живешь в одном доме. Это все вопросы, не имеющие отношения к жизни. Сева жил без ощущения красоты, без восхищения небом и человеческими лицами. Но теперь столько всего вспомнилось! Как он был восхищен олененком, которого вылепил отец из серого пластилина, — это было настоящее ощущение чуда оттого, что папа так точно понял, как должен выглядеть этот звереныш. Вот это папино понимание было частью красоты — в виде больших отпечатков мужских пальцев на поверхности, оставшихся как след творца.

А первая любовь в начальной школе, обошедшаяся без единого слова? Достаточно было ее профиля — она сидела на соседнем ряду на парту впереди. Маленький Сева научился рисовать этот профиль — он мог воспроизвести милый образ даже тогда, когда не видел самой девочки. Конечно, только профиль — милого образа не существовало в анфас.

Да, теперь эти прорывы в красоту вспоминались как неслучайные. Красота была схвачена, почувствована. Несколько месяцев без Валентины — и он уже не мог на нее злиться, осознавая, какой аппетит к красоте она пробудила, едва приоткрыв ему женское, противопоставленное всему остальному.

Той же зимой Сева взялся за гитару. Инструмент нашелся у Павлика, соседа по парте. Вспомнилось, что Сева всегда пел, что ему и его матери не раз рассказывали, как видели его на улице то ли разговаривающим с самим собой, то ли поющим. Он пел на улицах всегда, сколько себя помнил, но почти не слышал своего голоса. А теперь услышал — возможно, это было главное, что ему оставалось в себе открыть. Это не кто-то, не Валентина, — это он сам его открыл. По большому счету, это уже была своя собственная, ни с кем не разделяемая жизнь.

4

Накануне первого дня последнего школьного года Сева проснулся с горящими от боли губами. Еще накануне он обнаружил на них шесть болячек герпеса. Утром, пока ворочался, сорвал одну о простыню. Раньше вскакивали по одной, а тут разнесло. Опухоль, он знал по опыту, пройдет часа через полтора. Позавчера Сева подстыл на Салу во время ловли раков вместе с отчимом в местечке Петухи. Там глубина реки достигала полутора метров, из них около полуметра уходит на нежный ил, в котором, впрочем, попадались острые предметы — лопасти ракушек, консервных банок, мертвых ракообразных. На реке Сал встречались быстрины с твердым дном

и камышом на вертикальном берегу, но раков Сева с отчимом ловили в местах помрачнее.

Никакой он, впрочем, не отчим — потому что никого не усыновлял.

Сева поднялся. Летом он спал на голом полу, бросив поверх него простынку. Подушкой не пользовался — спал на животе, подложив под голову руку. Тело как-то чесалось — вспомнил, в каком дерьме вчера лазили. Глянул на вчерашний порез в районе голени — он загноился. А ведь это обычный порез, они всегда заживали на нем в три дня. Надо завязывать с этими поездками.

Пора было вспомнить и о сегодняшнем дне. Это было особенный день. В жизни Севы было мало дружеских традиций. Но одной из них было хорошенько выпить и повеселиться в последний день лета. До встречи с Павликом и Олегом оставалось несколько часов.

Глянул на себя в зеркало — ну и рожа. Принюхался — кажется, что от тела до сих пор несет сероводородом. Таков итог трудового лета, но главное — выжил. Можно еще на год вернуться в детский мир школы с ее отметками.

— Кажется, нам сегодня, кроме Аллочки, и пойти некуда.

— У нее, кстати, завтра день рождения.

— Но выпить-то надо сегодня.

— Пойдем. Уговорим.

— Может, подарок надо подарить?

— Я ей спою.

— Я бы на ее месте нас выгнал.

— Я бы даже на порог не пустил.

— Потому что вы — босота, а Аллочка — интеллигентная девушка, — сказал Сева.

— Ее немецкая кровь дает надежду, что ей знакомо чувство вины перед русским народом, — изящно сформулировал Павлик.

— Сегодня русскому народу негде выпить, — подвел черту кореец Олег.

Дверь открыла сама хозяйка.

— Здравствуй, Алла, — сказал Сева. — Мы не знаем, как завтра сложатся наши судьбы...

— Заходите.

— Да... — стали толпиться вчетвером в прихожей.

— Я не одна, — тихо и многозначительно сказала Алла, отступая в комнаты. — Проходите... Сюда...

Парни переглянулись. Сева пошел вперед. Он вдруг понял, как непредставительно он одет: серые длинные шорты и серая жилетка на голое тело.

Он вышел из темноты в свет в ожидании худощавой степенной мамы-стоматолога. А там сидела чуть сгорбившаяся женщина, державшая на отлете узкий стакан. Ее губы были чуть сжаты, а темные глаза и не подумали подняться на вошедших. Сева остановился. Было видно, что по возрасту она почти ровесница. Но она — женщина, а тут — дети.

— Здравствуйте, девушка, меня зовут Всеволод. А как вас?

— Это Анна, — сказала Алла, — а это мои веселые одноклассники.

— Вас правда зовут Анна? — спросил Сева. — Ведь именно так должны были звать твою сестру-двойняшку, правда, Алла?

— Сева! — упрекнула Алла.

— Это у вас коньяк? — спросила Анна.

— А я вижу, вы смелы, — сказал Сева. — Либо вам хочется простого и сильного напитка после той мешанины, которую вы только что пили. Что это было?

— Я сначала добавила в мартини водки, но, видимо, слишком много. Поэтому добавила апельсиновый сок. Получилась дрянь. — Слово «дрянь» она подчеркнула гримаской и впервые посмотрела на Севу. Ее глаза были необыкновенно черны.

Сева догадался, отчего — плохое зрение, больше обычного расширенный зрачок. Короткие черные волосы с одной стороны едва прикрывают широкие скулы, с другой — выстрижены. Широко расставленные жесткие глаза. Смела потому, что слепа, или плохо видит оттого, что смела? Вот уж неважно.

— Найдется ли рюмка для леди?

— Благодарю вас.

— Если бы я знал, что меня сегодня назовут на «вы», я бы оделся как-то по-другому. Я просто Сева.

— Ну, я тоже никакая не леди, Сева.

— Я этому даже как-то рад, — сказал Сева, и они совершенно серьезно посмотрели друг на друга.

Сева вдруг вспомнил о хозяйке, Павлике и Олеге. Отметил про себя, как уверенно держался. Будто вышел сыграть рыцаря в школьной постановке. Наверное, все зависит от сцены. Дайте герою сцену — и он появится. Он мог так себя вести только у Аллы дома. У нее в зале стояли кресла с наброшенной на них материей — они были расставлены так, чтобы люди, сидящие в них, могли друг с другом разговаривать. Телевизора не было, зато стояло фортепиано — и над ним большая полка для нот. Одну из стен полностью занимала библиотека. В углу стояла гитара. Она осталась от взрослых. Сева бывал в этом доме раз десять, но взрослых не видел никогда. От дома было ощущение, что он остался в наследство. Что это островок мира, которого уже нет. Сева пытался настроить гитару — у него ничего не получалось. Больше никто не брался. Как тут играют на фортепиано, он тоже никогда не слышал. Тут была коллекция пластинок, много Высоцкого — но он никогда не слышал их звука. Книги всегда были на тех же местах, под стеклом. Но даже такой культура как будто давала свободу, подсказывала готовые ролевые фразы, которые дома и в голову бы не пришли, а тут могли произноситься уверенно, ибо без заботы о серьезности.

Но все равно перед этими стеллажами Сева чувствовал себя голым. Даже не чувствовал, а как будто осознавал, что он и есть гол.

Павлик — другой типаж. Он из большой крестьянской семьи, часть которой перебралась в город. Но все его корни — по окрестным деревням. Его дом живет по календарю родовых праздников, каждый год он гуляет на свадьбах и скорбит на похоронах, отмечает сорок дней рождений и имеет любимые блюда. В этом большом роду он пока младшенький, почти не имеющий голоса.

Олег из корейцев, которые переселились в эти края в конце пятидесятых. Его родня владеет нунчаками и большими полями. Это работающее племя не разгибает спины, их жизнью управляет севооборот и календарь созревания культур. Лук, огурцы, арбузы, помидоры, морковь... Сева несколько раз нанимался к родне Олега, за каждым овощем он сразу видел объем работ: лук — прополка, морковь — почва. Олег — отличный математик, он ненавидит этот сложившийся за него мир, но никогда не скажет об этом. Он может только хмыкнуть или засмеяться. Все это — значимые для него высказывания. Ему проще в один момент тихо исчезнуть в одиноких поисках. И когда-нибудь, возможно, так же тихо появиться, ничего не объясняя.

Семья Севы оказалась здесь десять лет назад. Мама и папа, двое брянских деревенщин, приехали в город за тысячу километров от родных смешанных лесов. Отец заделал сына и пошел в армию. Вернулся, обрюхатил маму снова и поехал искать работу. Нашел строящийся «Атоммаш». Ближе ничего не нашел. Скорее всего, ему просто хотелось оказаться как можно дальше. Он уехал и пропал без вести, оставив мать с сыном и вздувающимся животом на расправу свекрови, для которой все было уже ясно. Очень скоро мама отправилась его искать в Волгодонск. Долгое время единственным другом воссоединившейся на новой земле семьи оставалась женщина,

с которой мама ехала в междугороднем автобусе. Лесные закрытые люди, цапапы, оказались на открытом, продуваемом пространстве, в краю горлопанов, сколь радушных, столь и безжалостных.

Волгодонск нарисован на карте в начале пятидесятых. Его основатели еще живы. Здесь был шанс удержаться. Здесь можно было не чувствовать себя чужаком. Потому что все — приезжие. Кого ни спроси — все помнят, как они здесь оказались. Местных — никого.

Вот и Аллочка тут случайно. Совсем другого полета девушка. Высокая, стройная, с густой шапкой светлых вьющихся волос, с гордо вздернутым подбородком, назидательностью во взгляде и демократичной готовностью отшутиться от всего. Почему она их пускает? Может, даже рада этим голландцам, которые не всегда даже пытаются выглядеть прилично. Просто некого больше пускать. Они такие же приезжие. Откуда-то привезли сюда свой закапсулированный мир — и он лежит, пылится. А снаружи страшно, грубо. Этих ребят хотя бы не страшно. Сразу ясно, что они безобидны, иногда остроумны, иногда понимают некоторые намеки. Да что там — все ведут себя как дети. Как в советских фильмах. Тот мир, который завезла ее семья в этот молодой город, предполагает постоянный светский лепет в зале. Эти кресла должны работать, а не стоять пустыми. Поэтому пускай день рождения завтра.

— Мы же, конечно, прекрасно знаем, как неприлично отмечать день рождения до его наступления, — заворачивал Павлик, — поэтому мы пришли без подарков и тосты у нас будут не о тебе.

— Очень вам признательна. — Аллочка не скрывала едкости.

— Нет, у Севы есть подарок — он выучил для тебя свою третью в жизни песню, — утешил Олег, а сам стал вынимать некий сверток — у него подарок был.

— А что — Сева уже научился настраивать гитару? — небрежно спросила Алла.

Олег с удовольствием засмеялся.

— Чем ты занимаешься, Аня? — спросил Сева, откинувшись на спинку стула. Они находились рядом и могли разговаривать, не обращая на себя общего внимания.

— Я тренер по ушу.

— Это надо осмыслить.

— Точнее, я была тренером по ушу до вчерашнего дня.

— Ты звезданула воспитанника?

— Немножко сложнее. — Анна вдруг встала и сказала хозяйке: — Я покурю у тебя на балконе.

— Конечно!

Балкон остался приоткрыт. Здесь больше никто не курил. Поднимая через некоторое время рюмку коньяка, Сева глянул в щель и на мгновение остановился. Даже с его места было видно, что держащая сигарету кисть спортсменки явственно дрожит. Сева подержал коньяк во рту и проглотил. Маскарад дал трещину.

Чем всегда отличался этот круг, так это тем, что в нем никогда не задавали лишних вопросов. Здесь было весело проводить время, аккуратно насмешничать, пикироваться. Представить тут дискуссию о проблеме наркомании, насилия или исповедальный монолог было невозможно. Это был мирок на обочине жизни почти всех, кто сюда входил, — и именно по этой причине их сюда тянуло.

Завтра у них всех начнется последний учебный год. А потом детство, которое и так уже приняло облик облачка, закончится совсем. Как оно закончилось для этой девушки на балконе. Но жизнь, жизнь внутри уже шла и требовала выхода.

Сева пошел в угол и вернулся оттуда с гитарой. Сел и провел по потемневшим стальным струнам. Не узнал привычного аккорда. Хрен с ним.

— ДО-ождь! — прокричал он и, приглушив барре струны, принялся отбивать нужный ритм. В грудной клетке как будто зародился озон, изнутри весело повеяло стихией.

Звонкой пе-ле-но-ой напО-олнил нЕ-ебо МАЙ-ский доЖдь.
ГрО-ом!..

Его голос был звонок и силен, он тянул и форсировал ноты, не боясь сорваться или закашляться. Голос был во много раз громче самой громкой интонации в разговоре. И Сева наслаждался этим. Он чувствовал свободу какого-то иного существования и выражения. И ему было очевидно, что для этого выражения нужна сила. Песня должна быть навязана. Спета так, чтобы ни заткнуть, ни перекричать, ни заставить сфальшивить кислой гримасой или аппетитным чавканьем.

Грянул майский грО-о-ом!

Просто берешь и поешь. Это же песня. Все песни — общие. Бери и пой — если можешь.

Анна вернулась и внимательно смотрела в стол.

— Что, за детей приняла?

— Ну, по тебе-то я сразу поняла, что начнешь приставать.

— Что ты у нее делала? Что вас может связывать?

— Я первый раз за два года. Нужно было отсидеться где-то.

— Как мы удачно зашли. Тебе не жаль, что мы всех бросили?

— Конечно, нет. Я сейчас не могу этого долго выносить.

— Чего?

— Этих вежливых разговоров ни о чем. Хотя сама большая мастерица. Почему ты запел?

— Я люблю петь. Когда поешь, кажется, что в одно мгновение можно изменить ход своей жизни. Сделать ее более настоящей, что ли.

— Если бы я не услышала твой голос, я бы с тобой не пошла.

— Что ты говоришь такое.

— Ты пел как имеющий право. Как сильный. Кто тебе сказал, что ты имеешь право делать что хочешь? Звучать во всю мощь? Вот я — не могу. Я шепчу там, где нужно кричать, — и понимаю это. А ты даже не думаешь об этом — и поэтому теперь ты мой мужчина. Особенному человеку можно то, чего другим нельзя.

— Это соблазнительно звучит.

В черной воде фонтана отражалась луна. Они сидели на лавочке под роскошными липами. Аня — лицом к фонтану. Сева перебросил ногу через сиденье, чтобы крепче прижать девушку. Его уже опухшие больные губы почти касались то ее щеки, то уха. Было странно думать, что семь часов назад он ее не знал. Было странно, что ей наплевать на изъяны тянущихся к ней губ.

— Ой, пусти-ка на минуточку. — Через две минуты она вернулась, одергивая платье. — Пописать отходила.

— Да я понял уж. — Сева усмехнулся, поскольку сам — терпел. — Попытался представить на твоём месте Аллу. Можешь вообразить писающую в парке Аллочку?

— Ха-ха-ха...

— Ты же мне расскажешь, что у тебя за история?

— Да, Сева, расскажу. Но только не сегодня, хорошо? Завтра. — Она скользнула смелой рукой под его жилетку, не без удовлетворения погладила его торс, подняла на Севу глаза.

Он впился ей в губы.

Он шел домой по пустой улице на нетвердых ногах, его немного колотило. Губы, изуродованные болячками, горели. Пальцы пахли ее телом. В голове он повторял цифры телефона, которые было некуда записать.

Ловил себя на том, что совершенно не может представить ее лица. Мгновеньями ему становилось страшно оттого, что он может не узнать ее завтра.

5

Анна была существом из нового большого мира, в котором мысли долго не задерживаются в головах, они быстро передаются порывами и поступками, пусть даже гнусными. Она была жрицей честной и свободной жизни, предназначенной только для смелых людей. Она, всегда одетая как главная героиня в европейском кино, несла себя по улице Ленина, мимо хлебного магазина, киоска, детского садика, продавцов вареной кукурузы. Ей сигналили машины, и это было закономерно. Ее жизнь была на виду.

У него возникало ощущение, что он смотрит на нее из мрака. Что это как раз практически невозможно рассмотреть в ландшафте или выделить среди прохожих. Он знал, что его можно рассмотреть только с очень близкого расстояния. А ее видно отовсюду. Что это за стрижка? Что это за белое пальто, фиолетовые колготки, полосатые перчатки с обрезанными пальцами? Где ты взяла эти вещи? Откуда они вообще берутся?

Сева стал подводной частью ее жизни. В то время как у нее самой никогда не было подводной части. Они запирались в ее комнате, в соседней — но все равно что в далекой деревне — жила бабушка. Почти не было мест, где они могли бы появиться вместе. Но везде, где она могла появиться, она появилась. Зашла однажды за ним домой, легко пройдя по заблеванному подъезду, испугав маму в халате. Однажды пришла с ним в его маленькую компанию отмечать Новый год. Оделась в вечернее платье. Она держала бокал с шампанским двумя пальцами, а школьники выглядели школьниками.

У нее была история. И три месяца с нею стали для Севы уроком истории.

Она была не совсем тренером по ушу, а учеником настоящего тренера. А тот совсем недавно ее домогался. Вернее, он хотел ее вернуть, поскольку ранее некоторое время счастливо обладал этой старательной и прогрессивной ученицей. Ему нравилось. Но он был женат. А еще он был негр, возможно, единственный в этой российской глухомани. Свое мастерство он отточил в незнакомой экзотической культуре. А экзотика очень притягивала рано созревшую Анну. Она уверяла, что он умел пробивать пальцами доски, говорил кирпичи легким движением кисти, учил управлять своей энергией. Говорил, что видит энергию каждого человека, распознает ее следы на предметах, различает по цвету и консистенции. Он и не надеялся найти в этой необъятной чужой стране человека с сознанием и телом, созданным для его африканских выпуклостей. Оказавшись здесь с некоторым капиталом, он создал свою школу и брал дорого, отсекая дворовое отребье. Анну устроил туда ее бывший любовник, состоятельный и влиятельный сотрудник каких-то органов. Они до сих пор иногда видятся, хотя расстались плохо, от него остались долги. Так вот, после полутора годов тайной связи Анна, убедившаяся в том, что эти отношения не имеют шансов стать явными, нашла в себе силы уйти. Не обошлось без сцены, в которой прозвучала угроза насилия. На следующий день она встретила Севу.

Ее можно было взять только в бою — и Сева понял это слишком поздно. Она с удовольствием учила любовным премудростям, но, как только ослабевало напряжение, казалось, начинала сходить с ума, искать боли. Барьеры, которые возникали на пути к ее телу, не умещались у Севы в голове. Тренер ее преследует, она чувствует его энергию, которой надо нечто противопоставить. Парень из ФСБ оставил на ней кредит, но при этом его люди присматривают за ней. Она запуталась, хотя никогда бы не показала этого. Сила ее походки и энергия взгляда покрывали все. Она ничего не боялась, поэтому вляпывалась во все, во что только было можно. Она хо-

дила со случайными людьми, если у нее было настроение. Она могла сесть в незнакомый автомобиль. Она могла ударить мужчину и получить в ответ. Ей было совершенно некогда разбираться в своей жизни, в том, что именно и почему с ней происходит. И тут она встречает юношу, не похожего на ребенка, невзрачного и дотошного в самонаблюдениях, но сильного, как его голос. Если у кого-то был шанс распутать колтун, в который сбивалась ее жизнь, то только у Сева. Но она его выбрала не за это — она выбрала его за голос.

Она показала ему все коллекции своей экзотики, последние голливудские фильмы на раритетном частном видеомэгнитофоне, он рассмотрел все ее японские халаты — и хотел только одного: обнажить ее. Это было непросто. Он трогал ее, знал на ощупь всю — но голой не видел никогда. Возможно, она не существовала голой. За каждой из одежд была новая драма. Зимой, выходя от нее, Сева вдруг посмотрел на белоснежный сугроб и упал в него. Долго лежал, не промерзая. Хотелось почувствовать реальность. Потому что она начала сходить с ума, и он не мог не следовать за нею. Их жизнь на двоих наполнилась призраками преследователей, которых он никогда не видел. Но они были реальнее, чем он. Она говорила, что он в опасности, что они должны расстаться ради него же, что вот сегодня только поцелуемся последний раз. И он целовался с ней последний раз, а потом не мог отлепиться от стены подъезда. Морок, исполненный плоти, ее запаха и выделений, не рассеивался. Назавтра прощание продолжалось. Она внезапно расстегивала ему штаны в незнакомом месте и опускалась перед ним на колени. С ним происходило то, чем было невозможно ни с кем поделиться, потому что это не лезло ни в какие ворота. Ему хотелось причинять себе физическую боль, потому что так было легче и проще. Это была настоящая, кровавая, страстная жизнь. Сева усмехался над собой, но не над этой жизнью. Ему было больно и страшно, но это была небывалая для него до сих пор степень реальности — и уж этого не ощущать он не мог. И он не отступал, он снимал с нее одежду за одеждой. А однажды, вернувшись домой, снял с полки Библию и открыл ее наугад. Мама, увидев, что Священное писание лежит не на месте, испугалась за сына — Татьяна Геннадиевна впервые осознала, что не понимает, чем он живет и как ему помочь.

Рядом с Аней Всеволод чувствовал себя почти примитивным. Ни стиля, ни манер, ни эрудиции. Только его любовь и заботливая дотошность, заставляющая распутывать то, что распутать нельзя. У него могло получиться, у него была хватка.

— Молодой человек, откуда у вас такая мощная шея? — игриво спрашивала Анна и неожиданно заключала: — Ты необычайно жизнеспособен.

Сева был для нее передышкой. А она — первым настоящим испытанием для его шеи.

Однажды она заснула в его объятьях. Поздняя ночь, в комнате вдалеке горит ночник и совсем рядом — свеча. Она свернулась почти в позу зародыша. Сидя возле дивана, Сева смотрел в ее спящее лицо. Совершенное дитя — такое, какой она не умела быть в жизни. Иногда по лицу пробегали сны. Сева смотрел и думал о том, сколько раз он был уже ею обманут. Нет, не тем, что она лгала, а она ему лгала. Но нет — на самом деле он был обманут тем, что оказывалось глубже. Настоящая ее жизнь всегда была где-то там. А сверху был японский халат. Сева потерялся в его складках.

Сева поднялся и выключил тихую музыку. В этом доме всегда была музыка. Затем подошел к свече, постоял, глядя в огонь, и сунул в него палец. Начал считать, один-два, задрожал, держать, три-четыре, прошиб пот, пять-шесть, держать! терпеть! это жизнь! семь-восемь-девять, му-у-у-у! десять-одиннадцать — отдернул. Прижал к груди. Пахло паленым. Больно, почти нестерпимо. Кожа пальца пригорела к кости. Усмехнулся: жертва любви. Анна спала, как ребенок. Он тихонько вышел и побрел по улице, привычно захлебываясь в нагнетенной страсти. Прохлада ночи, казалось, даже не входила с ним в соприкосновение.

Все закончилось в один весенний день. Легкость расставания казалась продолжением ее прогрессирующей болезни, с которой он больше бороться не мог. Он уносил с собой чувство обыденной пошлости, которой все закончилось. Потому было почти не больно — рядом с нею выходило большее.

Он вышел из лабиринта и посмотрел на мир. На дворе стоял апрель, раздвинулось светлое небо, в деревьях обнаружили птицы. Он чувствовал себя освобожденным, открытым для света и его простой красоты. Он чувствовал себя на воле, закаленным в рудниках настоящей страсти. Захотелось петь. Только в этот момент он понял, что никогда не пел в ее доме. Вообще не пел при ней со дня их встречи. Он не дал ей того, за что она его полюбила.

6

Через три месяца Сева уехал поступать на исторический факультет Ростовского государственного университета. Он не знал, почему именно туда, но точно знал, что пора уезжать из дома. Его собственная, пробившаяся из иллюзии жизнь разрасталась, постепенно подчиняя себе его мысли, реакции и поступки — и все вернее вытесняя его из коллективного разума семьи. Взрослый мужчина, он превращался в белую ворону. Формального служения было уже недостаточно — не оставалось никаких сил скрывать все более возмутительное равнодушие к принципиальным житейским вопросам, решение которых и было жизнью семьи. Хозяйство, деньги и обновления — Сева поражался тому, что об этих темах можно дискутировать, по-настоящему спорить. Ему было все равно — когда было нужно решить, он просто принимал решение. В голове было совершенно иное. Благо подросла сестра, не только полностью воспринявшая логику материнского существования, но и усилившая ее своим темпераментом. Теперь можно было валить — мама не остается одна.

Сева окончил школу с серебряной медалью и имел право быть зачисленным в университет в случае, если первый экзамен будет сдан на пять. Это был русский язык и литература устно. Закинув ногу на ногу, он читал учебник Розенталя в общаге, пока его волгодонский сосед и товарищ Саша быстро и почти при всех уговаривал на балконе новую знакомую сделать ему массаж в ее комнате. Она ему сделала — и не только массаж. Иногда он принимался готовить, но делал только одно блюдо — яичницу. Поскольку теперь они жили вдвоем, Саша разбивал над сковородой девять яиц, потом шел разгружать товар в продуктовой магазине под общагным корпусом. Жить здесь и иметь постоянный заработок было высшим пилотажем. С человеком, который устроил его в бригаду, Саша познакомился необычно — помочился на него ночью с балкона. В один из первых вечеров он вернулся побитый — вывел поговорить одного качка на дискотеке и был неумолим, настаивая на том, что миром разойтись никак невозможно. Сева за тот день одолел двадцать четыре страницы Розенталя.

После первого же экзамена он был зачислен.

Когда вернулся в Волгодонск, смотрели на него уже иначе. Отчиму невозможно было доказать, что мама тайком не заплатила деньги за поступление, — но Сева уже не считал это своей проблемой. Он догуливал с приятелями.

Вдруг позвонила Валя. Когда-то он привел ее в детское сообщество мальчишек, вчера мечтавших лишь закрыться в комнате от родителей ради многочасового сражения в танчики на игровой приставке к телевизору, — за это время она превратила компанию в клуб своих поклонников, игравших одну и ту же роль якобы опытных похотливых циников. Сева от них отпал, потому что не узнавал ни ее, ни своих приятелей. А потом появилась Анна — и кроме нее полгода не было больше ничего в жизни. И только этой весной они с Валею где-то увиделись, просто увиделись. Посмотрели

друг на друга — и было ясно, что многое изменилось, что они другие люди, которые ценят то, что еще узнают друг в друге. И даже странно, что за их спинами в этот момент была школа — какая на хрен школа.

А в июне она позвонила. За все время их знакомства она позвонила Сева лишь однажды — тогда. Она предложила поехать с общими знакомыми на базу отдыха с ночевкой, у них были планы снять большой домик. Сева согласился даже слишком резво. А потом была мелодрама из мелодрам. Вечером под навесом все выпивали и танцевали под музыку вынесенного на улицу магнитофона с колонками. Она пошла танцевать с Павликом и более не возвращалась. Вернее, после третьей композиции, укрепившей новый союз, Сева, чтобы не проявлять себя как-либо, просто вышел за границы желтушного электрического света.

И пропал.

В темноте его колотило. Было горько от глупости. Брала злоба оттого, что она сама его сюда позвала. И Сева не мог никуда уйти — они были далеко от города, а дело шло к полуночи. И глупо было злиться — выходило, что он думал, будто она жила это время, ожидая его возвращения. Ну, конечно, нет. Поблуждав по пустой ночной базе, помочив ноги у берега Дона, полностью протрезвев, Сева вернулся в домик и отвернулся к стенке, не в состоянии отключиться. Но это был не конец. Все они, четверо, пришли, веселые и пьяные. Они елозили и сально друг над другом шутили, ржали и лапали друг друга. Они не могли не видеть Всеволода, лежащего большим мешком, но — не видели.

Они все, конечно, хорошо знали Севу. Никто из них не рискнул бы проявить к нему неуважение, не говоря — бросить прямой вызов. Но сейчас происходил совершенный абсурд: Сева лежал и не смел шелохнуться, не смел подать звука, а они побивали его, поверженного по своей воле, единственным из возможных способов. И это продолжалось всю бесконечную ночь. Когда стало светать, компания вышла из домика и двинулась к реке. Когда шаги стихли, Сева решился посмотреть на часы — было шесть двадцать утра. Автобусы начали ходить. Сева поднялся и собрал вещи. Прошел к берегу и, ни с кем не встречаясь глазами, сказал: «Эй, корни, — я ушел, не болейте». «Корни» — они когда-то так ласково называли свою компанию. Они все посмотрели на Севу, и у него было ощущение, что они его не узнают. Просто не знают, кто этот человек и что он сейчас говорит. Но Сева уже было все равно — он уходил в прохладное свободное утро.

Было даже как-то привычно — уходить, оставлять очередной мир после попытки пожить в нем.

В тот день Сева вернулся домой, а дома никого не было. Это была почти нереальная ситуация. Мама, отчим, сестры, Сева — жизнь шла постоянно в виду друг друга на пространстве в двадцать квадратных метров. Некуда было деться, кроме как выйти вон. Читать и писать Сева учился в туалете. Но в тот день никого не было — стечение редких обстоятельств. Тогда Сева достал гитару и запел.

Когда начинал, а начинал с первой пришедшей на ум песни, чувствовал себя разбитым и усталым, голос — глухим и стершимся за последние сутки, сердце — перегоревшим и тяжелым. Сева начал петь, преодолевая себя. Преодолевая несоответствие между неотвратимой полнотой реальности и необязательными чужими словами, случайной мелодией. Перед тем, что было сейчас в душе, меркло в своем значении все, что он мог произнести, напеть или наиграть, — все это было заведомо глупо. Лишь одна была зацепка — сам голос. В тот момент Сева хотелось только скулить. Издавать звук, позволяющий вытекать эмоциям, которым иначе найти выход невозможно, потому что все это эмоции как бы от предыдущих связей. Связи оборвались, но внутренний мир еще продолжал поставлять кровь и мышечные чувства туда, где больше никого не было. Рана была открыта прямо в высасывающий соки космический вакуум. И когда потекла тонкая струйка голоса, сначала показалось, что просто нужно встать и прикрутить водо-

проводный кран на кухне, — настолько несвязанным с внутренним миром показался звук собственного голоса. Но мелодия что-то внутри все-таки нашарила, подцепила — стало чуть легче.

Сева пел пять с половиной часов. Были песни, которые он спел не единожды. Ему казалось, что он забыл свое имя. Он больше не думал даже о последовательности аккордов. У него было ощущение, что можно спеть любую песню под любую последовательность. Ему казалось, что он способен сейчас спеть рецепт к врачу, что любой аккорд — это первый шаг в песню, и последнего шага нам предугадать не дано. Он пел чужие посредственные песни, но никогда они не имели столько смысла — даже для тех, кто их написал. Потому что он уложился весь в эти случайные слова и мелодии. За их пределами Севы не существовало. Все эти часы он находился где-то внутри музыки. Все, что убивало, опустошало его бессловесно, он заставлял найти выражение — и не быть к нему слишком строгим. Потому что его голос — это его любовь. Это любовь, предназначение которой — выводить из мрака в свет. И эта любовь — она не вполне моя, думал Сева. Потому что я-то — всегда то обиженный, то голодный. А она всегда на пике существования — она любит нас прямо сейчас, о чем бы ни пела. Надо же понимать: она не докладывает, не сообщает нам о происшедшем там-то и там-то — она сразу поет это. И я чувствую это и понимаю, что я сам на это не способен. Я восхищаюсь этим великодушием, я восхищаюсь той любовью, к которой мне дано быть причастным, но точно знаю, что я сам не столь великодушен.

Все, что сливалось в сточную канаву раны, стало алой кровью песни. Он как будто многократно прогнал весь свой забитый ядами и шлаками внутренний мир через фильтр песни, через фильтр далеких судеб и значений — и в какой-то момент чувствовал, что перестает существовать, что не может вспомнить ни о чем, что бы не относилось к тому, о чем он сейчас поет. Футболка на Севе промокла, с кончика носа время от времени срывались капли, но он продолжал петь. Это была как будто долгая и упорная, сладкая и выматывающая молитва — о том, чтобы Бог, стоящий за музыкой, прибрал его к рукам. Забрал из тех рук, в которых он — лишь жертва случая, каприза, чужой неверной воли. Нет, я готов Тебе молиться день и ночь, дай мне силы воспевать Твой мир случайными песнями — но ты же видишь, сколь чист мой помысел. Настолько, что и песня группы «Чайф» тоже может быть молитвой, прямым обращением к Тебе.

Он не мог остановиться. Он растворялся, но при этом чувствовал, что никогда до сих пор жизнь не востребовала его в той степени, в какой это делала случайная песня. Жизни не было нужно и нескольких процентов от него. Жизни нужно было, чтобы он заткнулся и не привлекал к себе внимания. Ей не нужно было его силы и огня, о которых он сам мог бы никогда и не узнать, если бы не запел. Но он узнал, он как-то дотумкал. Ах, какое счастье, что мне пришло в голову запеть! Что я могу себе позволить это делать. Но Господи, что же мне теперь делать с тем собой, которого я вытаскиваю сейчас на свет Божий? Как жить человеку, который себя выразил, который кое-что представил о себе?..

Он не мог остановиться. Почему я должен остановиться именно здесь? Я ведь могу петь и дальше. И дальше...

Он остановился, когда порвалась струна. Посмотрел на часы, вытер лицо полотенцем и понял, что очень голоден. А еще понял, что за это время ушел куда-то очень далеко, где его не найдет никто. Песня, как машина времени, перенесла его на несколько лет вперед. Завела в какое-то особенное место. Там все примерно так же, как у нас, только формула существования человека какая-то другая, возможно, более верная. Сева знал, что будет впредь тянуться к этому месту, искать его, стремиться туда.

Кровать в общежитии была первым своим углом — у его внутреннего мира появилась точка в пространстве, и это ощущалось как абсолютный прирост.

Но довольно быстро стало ясно, что это койка в плавильном котле, куда стекается многонациональная голодная лимита, чтобы стать жителями большого города. Ингуши, калмыки, дагестанцы, русские всех мастей — все стояли в очереди к коменданту, встречались в единственном продуктовом магазине вместительностью в десяток человек. Все они здесь, нападая и сбивая друг о друга острые углы, должны обрести безличность, почувствовать, как нужно вести себя в массе.

Он проучился четыре месяца — это было так же несложно, как и школа. Коллектив был в существенной степени женский — и воспринял он его напряженно из-за почти анекдотической ситуации. Еще в сентябре к нему нагрянул в общагу Саша, этот неудержимый Саша. Они порядочно выпили, пошли за добавкой — и застряли в лифте, а их вызволяли какие-то барышни. Было темно, Сева оказался в комнате с одной из них, Саша куда-то делся. Сева читал стихи и занимался с ней любовью. И она шла на это с каким-то надрывом, будто жертвуя последним, что у нее осталось, — а Сева не вникал, он в этот момент был исполняющим обязанности Саши. Он ушел от нее ночью, добрался до своей комнаты и свалился лицом вниз. А наутро не мог ее вспомнить. Ни лица, ни имени, ни даже этажа, на котором он был. Только ее возбуждающий зад стоял у него перед глазами. Существовала большая вероятность того, что девушка была с его курса. В следующие дни он внимательно рассмотрел всех девушек в своей группе, ни одна и бровью не повела. Но коллективный женский разум уже все про него понимал. Он явно чувствовал невыраженную обструкцию, но не понимал — заслужил он ее или нет. Для себя самого — пожалуй, заслужил. Потому не пытался разрушить возведенную стену и сосредоточился на учебе. Он спокойно в одиночестве сидел на заднюю парту, не обращая внимание ни на кого, не заговаривая ни с кем.

Ближе к декабрю на спецкурсе по латинскому, куда ходила только часть группы, одна блондиночка подседа к нему сама. В ее лице, впрочем, было некоторое высокомерие, в тонкой извилистой улыбке пряталось нескрываемое снисхождение. Марина оправдывала его возрастом — она была на два года старше всей группы. Взрослая женщина могла себе позволить сесть с плохим, но единственным мальчишкой.

— Наверное, будешь отвлекать меня болтовней? — откинувшись, предположил Сева, когда она присела рядом за парту.

Ее натянутая улыбка стала шире, но подбородок чуть задрожал. Лобовые атаки не были ее стихией.

— Но поскольку ты симпатичная, я потерплю, — закончил Сева, нарочно не глядя на нее.

— Какая наглость! — наконец воскликнула она. — А если бы я была менее симпатичной, ты бы выгнал меня с позором?

— Как и многих до тебя, — подтвердил Сева.

— Это была уборщица. Зря обидел Евгению Михайловну.

Сева соскучился по этому легкому драйву.

— Какая у тебя необычная «ж», — произносил он, глядя на ее почерк через руку. — У меня, между прочим, тоже. При случае покажу тебе свою «ж».

— Буду польщена, — дрожал ее подбородок.

Он чувствовал, что остроты проходят. Но в этой поре все могло и остаться. Было даже как-то странно примерять к себе эту высокомерную леди, сопровождавшую шуткой каждое суждение. Однако прямо на латинском она шепотом спросила:

— Когда ты покажешь мне свои стихи?

Он выдержал паузу, а потом спросил:

- Хочешь, сейчас одно прочту?
 — Сейчас?
 — Называется «Фонтан». — И Сева зашептал ей на ухо:

Мне не нужно ни одно твое подобье.
 Если ждать тебя так всю жизнь — значит, проживу не зря.
 Я оглядел трамвай, бульвар, автобус —
 да, ты здесь. Куда же без тебя...

Я казался грязным от лишней прямоты.
 Мы говорили, а снег не таял,
 он тихо падал за окном, и ты
 так часто отвлекалась.

У меня кости трещат от разрядов.
 Капают в землю молнии с рук.
 Мои глаза болят от единственного взгляда.
 Я коснусь тебя лишь однажды и вдруг...

Казенный дом — и в свете отражений
 мимо меня идет твое пальто.
 Я ушел, но улицы в хаосе брожений
 цветом твоей кожи окрасили бетон...

Фонтан воды из моего смеется горла.
 У меня отколоты левая рука и нос.
 Мы с тобой всегда ходили голыми.
 И такими в мрамор нас заключила ночь.

— Всеволод, вы вообще слышите, что я вам говорю?! Может быть, вы выйдете наконец?

— Извините, Лариса Петровна. Да, я выйду — извините.

Сева принес Марине ворох стихов. В ответ она замолчала, даже перестала шутить. Сидели рядом они редко — только два раза в неделю. Потом она принесла стихи и молча вернула. И Сева с готовностью сделался мрачным. В течение очередной пары не проронили ни слова. «Что я здесь делаю?» — вертелось в голове. Обернулся на нее не без злости:

— Посмотреть на меня хотела? Ну вот — посмотрела!..

Сева ставил точку.

— Мне очень понравилось, — вдруг произнесла она.

— Как же я тебя пойму, если ты ничего не говоришь? — пролепетал он тут же.

На следующий день Сева предложил Марине вместе пойти на день рождения к его другу. Она согласилась. День рождения закончился тем, что он пел, а все сидели вокруг полукругом. И Марина была среди них. А потом он ее провожал. Но поцеловал только на следующий день. А потом они сидели рядом уже на всех парах. Их сближение нарастало каждый день. Они и сами знали, что остановиться невозможно. А возможностей для уединения было не так много. Они постоянно шатались в поисках места, где останутся одни.

Закончилась сессия после первого курса — и все время вдруг оказалось в их распоряжении. Сева устроился работать грузчиком у предпринимателя, державшего неподалеку от общежития лавку с мороженым. Утром к этой лавке нужно было подождать холодильники с товаром, вечером — отвезти их обратно на склад. Склад — в двухстах метрах.

Он просто физически не мог оторваться от Марины. Жаркое лето их сжигало, все свободное время уходило друг на друга — и его все равно было чудовищно мало.

В двенадцатом часу ночи Сева вернулся в свою комнату на девятом этаже, из которой неделю назад разъехались его соседи, — а там, укры-

тая тонким покрывалом, полностью обнаженная, чутко спала маленькая светловолосая девушка. Час назад он оставил ее здесь, чтобы отправить в надежное место набитые пестрым мороженым холодильники. Он принес с собой большой брусок пломбира. Его нужно было сейчас съесть, потому что холодильника в комнате не было. Но она спала. Спала на разложенном уже много лет назад большом диване, кочующим из комнаты в комнату, стоящем на деревянных подпорках и застеленном грязно-изумрудным покрывалом. Сева, боясь загромоздить, положил брусок в мелкую тарелку, тихо разулся, прокрался к ней. Она впервые осталась у него на ночь. И он не мог оторвать глаз от лица, которое он еще не видел спящим. В том, что она спит, спит здесь, ему чудилась высшая степень доверия. И он не знал, как благодарить ее за то, что она спит в его комнате.

Она пробудилась от первого же касания — и раскрылась, зашептала, притянула. Она была первой женщиной, у которой не надо было ничего просить. Нужно было уезжать, насытиться друг другом перед разлукой было невозможно. Оказалось, что жизнь может быть разделенной — и это состояние, отчетливо понял Сева, пристало считать естественным. Но у него не получалось.

8

Волгодонск старел. Асфальт по-прежнему подметают, но уже давно не меняют. Раньше трудно было представить себе осыпавшиеся бордюры. Пыльно дует ветер по пустынным улицам. Сойдя с автобуса, Сева обернулся вокруг: середина дня, а на всю округу три ковыляющих фигурки, если не считать людей, которые вместе с ним вышли. Привычно закинул сумку на плечо и пошел к дому. Мама, наверно, торгует.

Его здесь ждали. Да, невозможно было не приехать. Год назад он оставлял здесь так много. Вся предыдущая мутная жизнь была вписана в формы здешних улиц, аллей и тополей. Каждая щербатая скамейка или выбоина асфальта оказывалась зарубкой одиноких дум, случайных встреч и несчастных расставаний. Проспект, так привычно затянутый кверху ветвями тополей, будто не замечал, что он, Сева, изменился. Этот проспект словно напрямую обращался к тому в Севе, что целый год было не нужно и, казалось, уже пережито, преодолено более важным. Но лишь вида улицы было достаточно, чтобы культурный слой одного года соскочил как небывший, — и сразу вернулся морок заплесневелой ненависти к отчиму, щемящего переживания предательства, неизвестно почему душа подернулась паволокой отчаяния, сделавшей надрывным даже шаг Севы к родительскому дому. Ему совсем недавно казалось, что он все это преодолел. Но он снова был в мутном потоке, из которого, казалось, нет выхода.

Накатив до какого-то предела, город вдруг отпрянул, будто наткнувшись на источник света. Марина осеняла Севу издалека, она светилась внутри, проясняя внутренний мир до самой кожи. Сева улыбнулся.

На «пяточке», образованном перекрестком бульваров, рядом с тремя бабками, действительно сидела мама. Сидела на раскладном стульчике перед поставленным на маленькую табуретку зеленым ведром жареных семечек. Когда Сева начал переходить широкую дорогу, мама его заметила и встала. Он издалека увидел, как она не может сдержать улыбки, и тоже заулыбался. Они обнялись, маленькая мама поцеловала его в щеку, стерла помаду, сделала замечание за щетину и стала собираться — торговый день окончен, сын приехал. Сева поздоровался с незнакомыми бабушками, вспомнив давнюю просьбу мамы: «Ты, Сева, здоровайся с ними — хоть ты их и не знаешь, они все хорошо знают, что ты мой сын». Те приветливо закивали.

— Давай помогу.

Сева взял ведро и складную табуретку. До дома была сотня метров.

Борщ был вкусный, а стены знакомые. Но тут же подступила теснота, от которой успел отвыкнуть. «Мой дом там, где я», — вспомнилась фраза приятеля. Еще вчера она казалась верной, сегодня Сева вовсе не мог приладить ее к себе. Получалось: там, где она.

Каждую минуту каждого долгого дня в голове Севы звучал внутренний голос, который докладывал Марине о том, чем он сейчас занимается, как переживает текущую минуту. При этом о происходящем прямо перед глазами внутренний голос повествовал как о давно прошедшем и пережитом.

«Помню, когда я в то лето приехал в Волгодонск, я не чувствовал свободы от тебя — нет, я думаю, что ты и давала мне какую-то новую свободу. А здесь я был заперт в клетке с тенями прошлого.

Мне тогда подумалось: все это время — последние полгода — я не занимался ничем, кроме тебя. Экзамены не в счет же, правда? Я даже всерьез озаботился тем, что на самом деле больше ничего не умею делать — только любить тебя. Может быть, это ненормально. Люди ведь делают еще в жизни что-то. Возможно, ты тоже думаешь об этом — что будет, когда в нашей идиллии под одеялом встанет хоть один простой земной вопрос: что есть? кем быть? где жить? Не думай обо всем этом без меня, пожалуйста.

Я тогда делал ремонт, как робот, с ужасом понимая, что закончится он гораздо раньше, чем мне можно будет уехать.

Боже мой, как это много — месяц. За это время люди становятся другими. Мы с тобой стали совсем другими за какие-то пять месяцев. Сейчас июль, а еще в декабре мне бы и в голову не пришло, что ты можешь быть моей настолько. Ты — такая взрослая, прохладная, высокомерная, помнишь? Ты была по-своему хороша, но — какое отношение это имело ко мне? Я до сих пор понять не могу, как так вышло, что ты оказалась совсем другой. Близость совершает фантастическое преобразование. Я чувствую это и на себе. Потому что я просто ни о чем, кроме тебя, теперь и думать не могу.

Мне кажется, ты — первый человек, которого я запомнил всего. Я раньше замечал, что людей запоминаю какими-то почти случайными фрагментами. А тебя моя память может перекручивать, как киноленту, — я наслаждаюсь, пересматривая любимые моменты. Вот ты лежишь на животе на полу, положив щеку на сложенные руки — и волосы закрывают один глаз. Я подбираюсь к твоему лицу, начинаю тебя целовать — и вот ты перекатываешься на спину, открывается твой хохолок...

Каждый мой мысленный сюжет о тебе заканчивался нашей близостью. Я пугался и страдал — я страдал, Марина! — потому что мгновенно привык касаться тебя каждую минуту. Если такие люди, как я, считаются разбалованными — это жестоко. Нет, я не разбалованный, я — дорвавшийся.

Не было в том Волгодонске мне покоя, Марина, — ты мне мерещилась, десять раз на день я видел тебя на улице — то в окне, то в проезжающем троллейбусе, то со спины входящей в молочный магазин, куда я, помню, бегал еще пятилетним мальчиком. Чтобы сократить время отпуска, я старался раньше ложиться спать».

Марина ему написала. Рассказала, что они с подругой сходили в кино на фильм «Титаник», о котором сейчас так много говорят, что там много смешных моментов — например, когда Ди Каприо околевает на глазах любимой, которая в конце концов с усилием отталкивает его прицепившийся труп. Дальше шло не менее остроумное описание поездки в деревню, что-то про семью. Сева бежал глазами в поисках строк, которые захочется перечитать. Да, там было за что зацепиться — письмо заканчивалось словами: «Любимый, когда же ты наконец приедешь! Я совсем не могу без тебя!» Сева тут же написал пламенный ответ. Через полторы недели пришло второе письмо — и снова репортажи. Уже без заветных слов в финале.

Дня через три мама сказала: «Севочка, может, конечно, нехорошо читать чужие письма, но я прочла письмо Марины к тебе, видя, как ты переживаешь, и скажу, что оно написано в обычном дружеском тоне...»

Сева взорвался.

9

Уезжал он из дома со скандалом — потому что было 18 августа и оставался еще месяц до начала учебы. Мама не понимала, объяснять ей Сева ничего не хотел. Нечего тут было объяснять. Сева сказал, что устроится на работу, — и уехал последним вечерним рейсом в 23.30. В четыре утра автобус прибыл на автовокзал в Ростове. Схватил сумку, пошел к переходному мосту, ведущему в Западный микрорайон, рассчитывая встретить ночной автобус. Дорога была пуста. Сева ждал, деньги на такси тратить не хотелось — взял совсем мало. Но через двадцать минут остановил машину и сговорился с водителем за полтинник. Выходя возле общежития, усмехнулся: «Хорошенькое начало». Стал стучать в закрытую на ночь алюминиевую дверь общаги, пока не проснулась вахтерша тетя Маша. Обругала так, будто он ломится каждую ночь.

Лифт не работал. На девятый этаж Сева поднимался неторопливо. В общаге не было ни души. Прошел по кафельной галерее между пролетами, на ходу доставая большой ключ от двери, которую за минуту мог открыть отверткой. Переступил обитый порог и включил свет. Со стен в щели подались тараканы. Грязной желтизной бросились в глаза зеленватые, местами отставшие обои. Роль штор выполняли две оранжевые тряпки, не скрывавшие облупившегося окна. Бросил сумку возле внутрискрипного шкафа. Сел в ободранное, но прикрытое приличным покрывалом кресло, закурил. Возникло ясное чувство потерянности в коммунальной вселенной. На полу стояла большая пыльная кастрюля. Сева протянул руку, чтобы заглянуть в нее. Плесень за месяц выросла почти до половины — он забыл вылить недоеденный суп. «Завтра, все завтра», — и, скинув джинсовую куртку, лег животом вниз на свою нерастеленную кровать.

Как только рассвело, Сева вышел из комнаты и автобусом поехал в центр. Там он сел на транспорт до Аксая. Когда Сева добрался до ее девятиэтажки, было почти девять утра, уже палило августовское солнце. Он ехал на автобусе и почти не встречал людей. Показалось, что сегодня он единственный, кто вернулся в этот город. Дверь открыла ее мама. Сказала, что Марина уехала на работу. «Она работает», — это была новость. Сева подробно расспросил, где ее найти. Так, гостиница «Турист», пятый этаж.

Поехал и теперь уже оказался в суете проснувшегося города. Эта бесконечная дорога. Приехал почти к одиннадцати. Поднялся на пятый этаж, пошел по коридору, прислушиваясь к голосам. Вот полуоткрытая дверь. В проеме видна часть голубого платья. Сева заглянул. Марина сидела за столом почти спиной к нему, держала в руке ручку, перед нею лежал блокнот. С такими же вокруг стола сидели еще несколько женщин и мужчина. Он осторожно открыл дверь, все повернулись.

— Добрый день. Марина, можно тебя на минуту? — спросил Сева совершенно ровным голосом.

Она обернулась и вспыхнула. На лицах позади нее приподнялись брови. Извинилась и выскочила.

— Привет, — прошептала она горячим шепотом. — Пойдем отсюда. Пойдем скорее — я на несколько минут.

Быстро спустились по лестнице, вышли, огляделись — некуда идти. Просто зашли за гостиницу, и там Сева остановил и прижал к себе тело, мгновенно узнанное ладонями. Он прижимал ее и чувствовал, что все тело уже разговаривает с нею — а из горла слова не идут.

— Когда ты освободишься сегодня?

— Нет, сегодня не получится.

— Я тебя встречу.

— Нет!

— А когда?

— Давай завтра утром.

— Ну конечно.

— В десять часов. На пересечении Ворошиловского и Садовой.

— Конечно, конечно...

Сева заскулил, вдохнув запах ее шеи. Она улыбнулась, прикрыв глаза и будто сваливаясь в дурман касаний. И Сева, тут же откликнувшись, взял ее лицо в руку и, большим пальцем коснувшись губ, поцеловал — надолго, запойно...

Она наконец отстранилась и сказала, что уже пора. Он подвел ее ко входу в гробницу гостиницы. Как только Сева отпустил ее руку, она исчезла внутри.

Постояв несколько секунд, Сева огляделся. Неподалеку, около гаражей, работали экскаваторы. Он вдруг понял, что они жутко громко гудят.

10

Марина шла независимо. В тот самый момент, когда Сева ее увидел, что-то внутри него оборвалось. Шла она не к нему навстречу, а просто шла. Невозмутимо, независимо. Минуту назад готовый подхватить ее на руки, теперь Сева, медленно выдохнув, будто осадил себя. Она приблизилась и улыбнулась, когда его увидела, но коротко и деловито. Внутри начало свербеть. На ней была белая, знакомая ему, полупрозрачная кофточка-паутинка, под которой никогда не могла укрыться ее острая грудь. Когда Марина одевалась так, Сева невольно старался защитить ее от чужих взглядов. Но сегодня скрывать было нечего. Паутинка сегодня лежала, как броня, облачая ее всю, не выдавая ничем скрытой за нею плоти.

Немного оглушенный мгновенным предчувствием, на всякий случай, как недотепа-купальщик, который пытается поутру убедиться, что на реке лед, Сева сказал:

— Поехали ко мне. — И сам не поверил своему голосу.

— Нет. — Голос прозвучал резко. — Давай где-нибудь сядем.

Сева мгновенно успокоился. Мысли, совпав с реальностью, перестали пугать — они и вовсе пропали, замененные происходящим.

Какое-то время они молча шли к парку. Мучительный путь. Парк Горького — самое официальное место, какое только можно придумать: карусели да кабаки — они никогда здесь не были вместе, предпочитая дикий, почти глухой парк Революции. Они сейчас как будто шли по-отдельности, мешали друг другу.

Нашли место под ивами, перед пустым фонтаном. Сева успел собраться, откинуть все, с чем он шел на эту встречу. Он сосредоточился на подвижно острой тени листьев, прикрывавших выбранный уголок от яркого, но еще не знойного солнца. Повисла пауза. Сева медленно взял ее руки в свои.

— Говори, Марина, — сказал он мягко. — Что за сомнения тебя мучают?

— Сева, я подумала, что нам лучше остаться друзьями.

— Мы уже друзья.

— Я теперь работаю... и отношусь к этому очень серьезно.

— Это хорошо.

— Мне... вот те отношения, которые у нас сложились... это больше не нужно.

— Чего именно не нужно? — переспросил тихо.

— Ничего.

— Ничего не нужно, — повторил Сева механически.

«Вот ведь недоразумение: мне нужно все, а ей не нужно ничего». Он ничего не чувствовал, это был анабиоз. Но как-то отчетливо подумалось: не может же человек не понимать, что он говорит. Сейчас его Марина, с которой они полгода дышали в такт и лишь ненадолго прервались — казалось, только затем, чтобы больше не расставаться, — эта Марина сейчас сказала, что ей от него не нужно ни-че-го. Нет, это положительно нуждается в осмыслении.

Сева внимательно смотрел на нее. Сейчас, сказав эти слова, она перестала быть чужой — она сделала тяжелое для нее дело, оно ей нелегко далось. Он вдруг улыбнулся ей, как бы стараясь ее поддержать. И она улыбнулась в ответ — широко, неожиданно, не без ноты вины. Оскорбительной вины. Сейчас можно было протянуть руку и погладить ее. Потому что это была его Марина. Но это была уже Марина, сказавшая ему то, что сказала. А это значит, что минутная слабость пройдет. Что выпущенные на волю слова вот-вот подскажут ей иное выражение лица. Может, она ошиблась, может, как раз эти слова — минутное? Они даже не ссорились никогда. Они не выпускали друг друга из рук. Но от одного единственного слова появилось твердое чувство необратимости. Ничего не вернуть. Отношения, в которых нет трещины, можно разбить.

— Хорошо, — ответил Сева. Он сделал паузу, еще раз рассмотрел ее лицо. И почувствовал, что сейчас станет очень больно. — Пойдем, я провожу тебя до остановки, — мягко предложил он.

От этих слов у нее выступили слезы. Она сжала его ладони.

«Ничего не надо», — фраза уже отрезала прошлое, и за нею еще не просматривалось будущее. Он сейчас будто переживал период жизни, который состоит только из одной фразы, которую надо постичь, изучить, как неудачливый путешественник изучает необитаемый остров.

Она обняла его.

— Не плачь, девочка, — прошептал он и погладил ее по голове.

Она немного отстранилась и сказала:

— Сева, ты самый лучший, — и снова прислонилась к плечу.

Он старался не шевелиться. Почувствовал, что внутри него, где-то глубоко раздался крик, который расплзается по телу, будто яд. И от любого неосторожного движения или взгляда этот крик может вырваться.

— Пойдем, — снова предложил он, чувствуя помутнение.

Она взяла Севу под руку и прижалась к нему всем телом, как в минуты самой иступленной их любви. Так они и шли. На остановке он посадил ее на автобус и, не помахав ей вслед, зашагал в пустую комнату в пустой общаге.

Занятия начинались через месяц.

11

Тут, оказывается, был дефолт.

Сева перешел с сигарет L&M на «Нашу марку», купил в магазинчике у корпуса общежития две пачки гречки по старым ценам — новые не радовали.

Это была такая опустошенность, что стало невозможно найти причины встать с кровати. Никто своим присутствием не вынуждал — и Сева лежал и лежал. Пока не засыпал.

Ощущение стыда пришло первым. Поначалу оно не было достаточно сильным для того, чтобы волновать.

Это было ощущение стыда за свое одиночество. Он хотел любить так, как хотел иметь работу. Стыдно быть здоровым парнем и не иметь работы, быть ненужным. «Ты не умеешь любить» — вернулась-таки фраза. Но сейчас не было сил отказывать. Любовь была как большая культура, в которую его, простака, не пускали. Он поиграл в душных спектаклях, подышал угаром страсти, упился нежностью пасторали — и теперь лежал на провисшей кровати, изгнанный и неизменно любящий.

Вспомнились детали. Как Марина говорила в шутку, что рассчитывала на роман, плавно переходящий в марш Мендельсона. А он, значит, был чем-то другим. Почему другим? Кто знает. Может, поехать к ней прямо сейчас, подавить объятьями? Ты же видел ее глаза — она не сможет сопротивляться.

Нет. Ни в коем случае.
Она засомневалась в нем.
Она засомневалась.

12

Главным средством познания мира для Сева оказалась женщина. Он всегда тихо сочувствовал парням, которые общаются только друг с другом. Где было настоящее чувство, какое было более настоящим — даже неясно, знал ли он об этом сам, важно ли это. Но женщина всякий раз вытаскивала его наружу — и он оказывался новой, незнакомой для самого себя формой жизни. И это становилось уже даже смешно — в какой момент должен начаться он сам, узнаваемый для самого себя? Существует ли он сам по себе, или он только тот случайный образ, который женщина ненароком вызвала из темного леса его внутреннего мира?

А теперь, если вдуматься, у него уже впечатляющий опыт — не просто шуры-муры, у него уже разнообразный опыт любви — к девятнадцати-то годам. Он не просто девочку за ручку подержал, не просто ему показали грудь — у него вообще уже все было. У него могло бы сейчас стоять три штампа в паспорте — это бы ничего не прибавило к опыту. Он уже вознагражден за свой интерес к женщине. Но он сейчас лежит на кровати и не знает, зачем ему вставать.

Он чего-то недопонял. Он такой же Данила, как тот чурбан с карманами бабла, за которым не пошла самая простая и несчастная. Чем он отличается от презируемого им мужичья? Какая разница, в конце концов, насколько ты не понимаешь женщину. Какая разница, пытаешься ты ее понять или нет, если результат один? Это либо поражение, либо ты, Сева, был слишком тороплив. И что-то упустил — что-то такое, чего упускать нельзя. Без чего любовь не сохранить.

III. РЫЦАРСКИЙ РОМАН

1

Он был бесплотным духом, который со страшной скоростью несется по-над дорогой. Та изгибалась и корчилась под ним — то разбитая грунтовка, то скоростная магистраль — петляла, ныряла под навесы деревьев, уходила вниз, в долину, становясь уже, скрывалась внутри внезапной горы — и приходилось порой лететь в полной темноте, ловя случайный отблеск под собою, а потом вырываться на широкий простор, теряя на время ощущение скорости.

Мир впереди всегда поделен надвое бесконечной неумолимой дорогой. Справа и слева может быть что угодно — она через все пройдет, все осилит. Зеленые поля, пашни, холмы, мелькнувшие постройки, большой зеленый холм впереди, разделенный надвое, как совершенный отключенный зад. Зрительный нерв со страшной скоростью, медленно летел вниз по ложбинке на спине, чтобы в конце концов оказаться на самом верху и сорваться оттуда куда-то в самую промежность земли.

Миг тошнотворного падения — и картинка сменилась.

Вокруг совершенно плоская пустыня. Под ногами не степь, а выжженный твердый грунт, по которому гуляют вихри пыли. Он видит свои сильные руки. Перед ним, прямо посреди пейзажа стоит табурет, а на нем алюминиевый таз. Он наполовину полон чистой прозрачной водой. Под табуретом стоит открытый шампунь. Это потому, что Сева собрался мыть голову. Он наклоняется над тазом, окунает свой ежик, помогает воде ру-

ками — и вдруг чувствует, что головы поднять не может: она стала тяжела. Требуется усилие, чтобы приподнять ее над тазом — вместе с нею поднимаются длинные-предлинные, черные как смоль, тяжелые мокрые волосы. Удивления нет. Он откидывает их назад и смотрит вперед. Будто рыцарь, облаченный в благородные волосы. Эти волосы — они разом выразили его, а выразив — изменили. Оттого, что больше ничего не происходит, он просыпается.

«Вот ведь — я действительно уехал», — мысль пришла одновременно с осознанием гула. Будто отряхнувшись ото сна, быстро посмотрел в окно — там серо, уже серо, то есть — часов пять утра. Сквозь крупнозернистый воздух выпирают кубы и параллелепипеды чудовищных размеров. Это — Москва. «Будет долгий день», — напомнил себе Сева — и от самой этой мысли навалилась усталость. Потому что ему было не сюда, но просто так вырваться из Москвы, проскочить ее, не заметив, не сунувшись в ее подпол, — невозможно.

«Платить водителю или не платить?» — вот настоящая дилемма. С одной стороны, Севе так повезло с этим автобусом — больше тысячи километров за сутки: новичкам везет. И о деньгах тут не заговаривали. Но просто выйти — неудобно. А полная стоимость — Сева даже представить себе не мог, сколько стоит билет. Поездом — тысячи полторы. А у него всего шестьсот семьдесят рублей. Может, часть? Сколько?

Собрал вещи, двинулся к водителю.

— Мы в каком районе сейчас?

— К Воробьевым горам подъезжаем.

— Можно меня где-нибудь там высадить?

— Высадим.

Автобус повернул — и показался шпиль Московского университета.

«Там сейчас учится наша умница Алла», — отметил Сева. Глянул на часы — пять пятьдесят три. «Интересно, будет ли она мне рада?»

Подумал.

«Ну куда мне сейчас деваться в самом деле».

Решил отдать семьдесят рублей. Сразу что-то защемило — многовато.

Сошел и забыл. В одну сторону — длинный фонтан в середине аллеи с бюстами, а дальше — огромный, готовый к старту космический корабль главного университета страны, в другую — дорожка к обрыву, за которым — мелкая в дымке, но бескрайняя Москва. И — запах! Сева испытывал уже это — и вновь оказался не готов. Острый запах хвойного среднерусского леса. Замер, чтобы прислушаться к тому, что он пробуждает. Да, он хорошо знает этот резковатый тенистый запах, он вырос в его облаке. Это запах леса, который копится под закрывающими небо кронами, запах закрытой от взоров человеческой души, которая простирается от горизонта до горизонта. В степи это много, а в лесу до горизонта можно дотянуться рукой. Вновь оглянулся — как непривычно чувствовать интимный запах земляничного брянского младенчества в этом большом прохожем месте.

Дорога лежала, как родная, — потрескавшийся асфальт. Но навстречу проехала поливальная машина — экое диво! Тугая струя сметала мелкий мусор на тротуар из серых, криво пригнанных плит. Зато большие ели. А на расстоянии между зданием вуза и парапетом мог бы, пожалуй, поместиться весь старый город Волгодонска. Старым там называли город, начатый в конце пятидесятых. Космический корабль МГУ, наверное, постарше, но никто не назовет его старым. В Волгодонске не было ничего старого, я вообще не видел ничего старого, — отчетливо осознал Сева.

Где же живет Алла? Ну, наверное же, в космическом корабле. Она всегда хотела куда-нибудь улететь. Куда-нибудь на планету классической филологии. Пovyше, но так, чтобы нас все-таки было видно. И чтобы мы ее видели. Но очень уж рано — есть время царственным взором русского путешественника взглянуть на лежащую у ног столицу. Гордо взглянуть, а не подобострастно. Знай свое место, Москва. Не сюда мы сейчас стремимся.

Все твое правительство, большой бизнес, черкизоны, воротилы, влиятельные политики, научные школы — так, перевалочная станция. Взглянул — и мимо. Достаточно увидеть тебя один раз, Москва, чтобы понять про тебя главное. Что маленький человек тут способен потеряться даже между зданием МГУ и смотровой площадкой. А я не маленький человек, поэтому, Москва, я не дам тебе ничего. Вон ты какая огромная! Лужники, извилистая река, купола Новодевичьего монастыря, вон вдаль еще космические корабли, целыми грибницами растут спальные районы. И откуда хватает глаз — Москва, доскутная, бросающаяся в крайности, от чопорности и монументальности до вокзальной низости и кабинетной жестокости. Я сюда не хочу. Мне не нужно место за столом короля Артура. Потому что ни один сидящий за этим столом не обладает тем, что мне нужно. Я ищу другое.

А до Новодевичьего, кстати, вполне и дойти можно. Может, успею? Но сначала — завтрак у белокурой принцессы...

Сева насытился видом и повернулся к университету. Совсем не у кого спросить, где именно общежитие филологов-классиков. А времени уже половина седьмого. Аллочка, пора вставать.

2

Год назад он здесь был, но города почти не видел. Хотя был удовлетворен уже тем, что мог теперь говорить: да, я бывал в Москве.

Это был какой-то пансионат в заснеженном Подмоскowie с родными разлапистыми соснами. Была электричка, вокзалы, метро и Пушкинский музей. Нет, даже не это главное.

Поляки, Севу привезли в Москву ростовские поляки. В сентябре, в начале учебного года мягкий лысеющий человек с усами постучал в дверь их комнаты на девятом этаже. Взрослые сюда не доходили. Он сказал, что его зовут Роберт, что он из религиозной организации, которая пытается помочь молодым людям разобраться в Библии. «Интересует ли вас Библия?» Это был сложный вопрос. Уловив паузу, Роберт поспешил спросить, не против ли молодые люди, чтобы он иногда приходил вместе с ними читать и обсуждать наиболее интересные места. А вот это было любопытно. И он стал приходиться каждый четверг в восемь вечера. Иногда их было трое, иногда человек семь — приходили вольнослушатели из других комнат. Читали Новый Завет, подолгу обсуждали притчи. Роберт только задавал вопросы и слушал, иногда его глаза начинали блестеть — как у учителя, задающего задачу, решение которой он знает.

Появились его товарищи — молодой румяный парень Гжегож, приземистая Малгожата. Эти люди сильно отличались от мира вокруг. Они всегда улыбались, были чутки к любому говорящему. Не в совершенстве владея русским, они читали в лицах больше, чем было здесь принято. Они задавались серьезными вопросами, которые находили в книге, с чьим авторитетом тут никто не собирался спорить хотя бы по незнанию. Они постоянно что-то вместе делали. Они были светлы и покойны.

Вот Сева слушает, как Роберт читает слова Иисуса «будьте как дети», как спрашивает, что это, по вашему мнению, значит, — и тихо произносит: «Это значит как вы», — все светло и легко смеются. Русские дети — от попадания в десятку, поляки — за компанию.

Все это продолжалось месяцев пять. Сева с пытливым соседом по комнате Антоном побывали у них в гостях. Там была иная культура. Они снимали квартиру в только что построенном доме, у них был компьютер, такая более совершенная печатная машинка, а в компьютере — то, о чем пока только слышали, — интернет. В интернете стали находиться литературные произведения и картинки с голыми женщинами. Они иногда соседствовали на одной странице. При нажатии на баннер во весь экран выскакивала какая-либо задница в сопровождении непрямого детородного органа.

Это был адреналин, запах греха — в квартире невинных христиан. После пары таких приключений Гжегож прочитал мораль, рассказал о том, как он много пил и распутствовал, смотрел развратные картинки, но нашел в себе силы освободиться от этого. Сева сказал, что не знает, как это получилось, хотя знал.

В квартире были яркие йогурты, фрукты, а в углу стояла великолепная новая концертная гитара с дорогими импортными струнами и узким грифом. У Севы в комнате за кроватью лежала нестроющая бобровская, с грифом, который не обхватить ладонью и который надо было регулярно подтягивать, — но и она радовала, потому что была первой на новом месте. От этого чуда Сева не мог оторваться. Поначалу он просто проводил по струнам, зажимая знакомые аккорды. Он слушал, как на самом деле они должны звучать. Он стал пользоваться случаями, чтобы прийти. И ни разу не видел, чтобы на этой гитаре кто-либо играл.

А в январе, сразу после сессии их пригласили поехать в Москву на собрание организации. Антон не смог, он уезжал к родным в поселок. Поляков это расстроило, поскольку Антон был активнее других и своей открытостью вызывал симпатию. Сева же отмалчивался, но — предложение соседям по комнате уже сделано. «Если ты не против, мы тебе доверим гитару», — сказал Роберт, улыбаясь в усы. Конечно, Сева был не против. Трудно было бы вообразить путешествие, в которое он мог бы отказаться поехать. А когда он увидел чехол от гитары, то подумал, что надо будет надеть свои лучшие брюки.

Конечно, он хотел увидеть Москву. Но с Павелецкого вокзала — сразу в метро, по Кольцевой до Киевской, и с Киевского вокзала на электричке куда-то минут сорок. И там платформа да сосны в снегу. Сосны — вот и вся Москва.

Из Ростова ехала группа. Угреватый низенький парень-физик с напряженной улыбкой. Мясистая девушка с поучающим, укоряющим лицом. Худая армяночка с короткой стрижкой, учительскими очками и крупным ртом. Кроме нее и взглянуть было не на кого.

Программу расписали подробную — встречи, лекции, диспуты. По приезде ужин в столовой, в тот же вечер установочный сбор в зале со стационарными креслами. Было много новых людей, съезжавшихся из разных городов. Потом знакомые поляки появились на сцене, прозвучала краткая приветственная речь, появилась гитара — еще одна прекрасная гитара, — и хор запел песню о том, как Господь не оставляет в беде просящих — просящих еды, новой работы и нового автомобиля, нужно просто не стесняться просить и благодарить.

— Алилуйя, а-лилу-у-у-йя, — запел припев хор, — Алилуйя, а-лилу-у-у-йя. — Сева почувствовал, что сползает в кресле. — Алилуйя, а-лилу-у-у-йя, Алилуйя, а-лилу-у-у-йя...

Сева подавленно шел по коридору, предчувствуя неладное.

— Поехали, Катя, завтра с утра в Москву, — задумчиво сказал он армяночке.

— У них завтра в 9.30 начало.

— Я поеду в Пушкинский музей. Поедешь со мной?

— Неудобно.

— Я не смогу там сидеть. Я поеду.

— Почему не сможешь? Разве первый день их знаешь?

— Не первый. Но раньше мы просто разговаривали. А теперь пришла пора расстаться.

— О чем ты?

— О том, что я только что слышал бред. Ты слышала — им Господь чуть ли не правильную марку порошка помогает выбрать. А что это за веселые песенки про алилуйю? Нет-нет, я не отсюда. Я молчу о гораздо более серьезных вещах.

— Более серьезных?

- Да, Катя.
- Тогда я тоже поеду.
- Это хорошо. Поднимем тут бунт! — на душе у Сева стало весело.
- Мне страшно.
- Не бойся со мной ничего, крошка, — сказал он с чужой улыбкой голливудского актера, который вдруг вылез из-под высоких мыслей.

3

Общежитие отделения классической филологии Сева нашел быстро — за первой же дверью направил вахтер. Следующему назвал свое имя и честно представился одноклассником, который заехал повидаться. Тот назвал номер комнаты на пятом этаже. Как же легко найти человека тому, кто его хоть немного ищет.

Возле вполне убогой зеленоватой деревянной двери Сева помедлил, глотая улыбку. Постучал. Никто не отвечает. Снова постучал. Послышалось шевеление. Постучал и сказал:

— Аллочка, это Сева, твой любимый одноклассник.

Что-то еще пошевелилось. Вновь постучал.

— Аллочка, это не сон. Я искал тебя несколько лет и вот наконец при-
скакал.

Его голос раскатывался по пустым коридорам. За дверью это тоже поняли.

— Подождите одну минуту, — произнес слабый голос.

— Конечно, — великодушно согласился рыцарь и прислонил к стене оружие. «На „вы” назвала — бедная: ушам своим не верит», — отметил Сева. Он прошелся по коридору, выглянул в окно на ботанический сад, вернул. За дверью была абсолютная тишина. Он тут же затарабанил.

— Алла! Как ты можешь со мной так поступать!

Она открыла мгновенно — как будто спала, стоя прямо за дверью.

— Здравствуй, — проникновенно сказал Сева.

— Даже не говори, что ты тут делаешь.

— Я писал тебе, ты не отвечала...

— Слушай, иди в жопу, Калабухов. Заходи. — И она пошла в комнату.

— Я просто подумал: если уж приперся в гости к прекрасной даме в шесть утра без предупреждения, надо ее хотя бы посмешить.

— Я сейчас пойду умоюсь, а потом посмеюсь, ладно?

— А я пока поставлю чайник.

— О Господи, ты еще и с гитарой.

— Я все объясню.

— Маме объяснишь.

— Надеюсь, ее тут нет.

Комната — метров восемь, не больше. Одно преимущество — для одиночного проживания. Их комната в Ростове была заметно больше, но и жили в ней втроем. Правда, повезло — один из троих, Никита, жил в Азове, совсем рядом. Строго говоря, место в общежитии ему было не нужно. Но полагалось. Никита иногда здесь ночевал, но чаще — уезжал после занятий домой. Вдвоем в трешке было почеловечнее.

Алла вышла и наконец улыбнулась. В окно уже пробилось солнце. Ее пышные светлые волосы заиграли, светлая футболка подчеркивала совсем уже не школьные формы. «А ведь она оставалась ребенком больше всех нас, — подумал Сева, — но теперь все: грудь уже не позволит». Она улыбалась, как опытная львица, к которой в салон пришел анфан террибль.

— Я не знаю, Калабухов, как тебя сюда занесло, но я рада тебя видеть.

— И я рад, Алла. Человеку, который приехал в Москву в шесть утра, должно быть куда пойти.

— Там было какое-то печенье. Угошайся.

— Ты мертвого уговоришь.

— Ха-ха. — Алла всегда умела охотно смеяться.

— Ты уютно устроилась. А стена у изголовья по-прежнему отражает твой внутренний мир.

Тумбочка, стена над нею, настольная лампа, книжная полка — все пространство было заклеено разноцветными стикерами с иностранными выражениями, которые надо запомнить, и делами, о которых нельзя забыть.

— Ты носишь с собой свой маленький ад ответственного человека.

— Для некоторых любая ответственность — ад.

— Презираю таких.

— Рада видеть, что у тебя все хорошо. Замечательно, что ты путешествуешь. Куда на этот раз?

— Знаешь, меня ждут в Санкт-Петербурге. Я отказался лететь самолетом, чтобы иметь возможность заехать к тебе. Я бы себе не простил.

— Ты всегда был требователен к себе. У тебя, должно быть, закончилась сессия.

— Да, в субботу был последний экзамен. Что сказать об учебе — как обычно, она — наименьшая из проблем.

— Это потому что ты не учишь латынь, старославянский и древнегреческий.

— Это было бы странно для историка, хотя я хожу на спецкурс по латыни. Но больше, правда, люблю спецкурс по средневековой литературе — вы уже дошли до нее?

— Как раз только прошли.

— Я в этом году писал курсовую по романам Вольфрама фон Эшенбаха и Кретьена де Труа.

— Кретьен де Труа не переведен.

— Молодец — получаешь четыре. Это у вас в Москве он не переведен, а в Ростове это популярный у молодежи автор. Это интересный филологический сюжет, я о нем расскажу. Спецкурс ведет довольно известный медиевист Софья Степановна Завгородняя.

— Не настолько известный медиевист.

— Медиевисты вообще не очень известны непутевым студентам. Тем не менее она уже много лет занимается художественными переводами средневековой литературы. Например, она перевела «Роман о Розе», который в Москве также читать еще не могли. А из Кретьена — «Персеваля», роман, который так и не был закончен и который лежал в начале огромного европейского цикла о поисках святого Грааля. Софья Степановна, к сожалению, презирает капиталистическую современность, она не из тех, кто обивает пороги издательств, и даже не из тех, кто вообще что-то либо просит, — поэтому работы ее издают ученики. Печатают их в неизвестных типографиях, в странном качестве. Год назад на какой-то почти альбомной бумаге был издан «Персеваль» — в момент, когда она у нас вела курс. И я имел возможность раствориться в этом сюжете.

— То есть ты взял «Персеваля» де Труа и «Парцифалья» Эшенбаха?

— Да, в то время как студенты всей страны читают только последнее переиздание немца.

— К тому же в довольно плохом и сильно сокращенном переводе.

— Ну и я попытался написать о том, как в европейскую литературу пришел принципиально новый герой, который отодвинул на задний план все эти рыцарские истории успеха, турниры и забавы с прекрасными дамами. Этот парень добился всего за сто страниц романа — и вышел в какое-то другое измерение, в котором — я цитирую себя — подвиги совершаются уже не копьём, а — душой. И он там оказывается как малый ребенок... А у тебя о чем курсовая?

— О герундии.

Сева отхлебнул чаю.

— Зато тебя уже научили слову «жопа».

— Сева, мне в десять нужно уходить — у меня встреча. У нас осталось меньше часа.

— Я, конечно, был уверен, что ты все отменишь, как только меня увидишь. Но разве в состоянии этот ничтожный повод отменить плановый поход в бассейн.

— А то обычно мы с тобой тут же начинаем кутить.

— Сколько отсюда пешком до Новодевичьего монастыря?

— Это не так близко — думаю, минут тридцать-тридцать пять.

— Пожалуй, у меня есть это время.

— А потом сразу в Питер?

— Не сразу. Завтра утром. Сегодня я погуляю, а потом у меня встреча с другом детства.

— В каком районе?

— На проспекте Вернадского, но уже за последней станцией метро.

— Да, доезжай до Юго-Западной, а там можно сесть на троллейбус или в маршрутное такси.

— Я, Алла, к тебе вот приехал — и не потерялся.

— Москва, Сева, — это другое. Тут можно и потеряться.

— Плохо ты меня знаешь.

— Я знаю тебя как облупленного.

«Да что ты говоришь», — подумал Сева, но ничего не сказал. А он что о ней знает? Что ее мама — стоматолог? Что она больше смерти боится ящериц и змей? Что с того. Это какая-то негласная договоренность: знать друг друга как облупленных, видеть друг в друге только то, что давно знакомо, — даже встретившись через многие годы. «Мы не виделись два года, неужели мы совсем не изменились?» — Сева всем сердцем ощущал, что это не так. В нем начинала шевелиться какая-то боль, которая и вытолкнула его из едва обжитого пространства. Это было острое чувство переносимой на ногах жестокости от людей, которые не видят или не хотят видеть изменений. Он как-то разом устал, захотелось уйти в себя. Подальше от глумящейся над ним равнодушной женщины.

Да не в тебе дело, Аллочка. Ты правда хорошо выглядишь. Мы все неплохо выглядим. Но если вы все чувствуете то же, что чувствую я, — что весь внутренний мир идет, как поток, который только прокладывает себе русло, и неизвестно, где и во что он впадет, во что превратится, и неделя для него — огромный срок, за который преодолевается огромный путь, а за месяц начинка человека обновляется несколько раз — и непонятно, где и как остановиться, задержаться, узнать о себе то, что вы так хорошо обо мне знаете, — если все чувствуют то же самое, то мы окружили себя искусственным, лживым миром, который не позволяет даже надеяться на то, что что-то с кем-то можно разделить.

Разве Алла заварила эту кашу? Разве не смешно было бы сейчас сказать ей что-то жестокое — раскрыть глаза на пустоту их отношений, прекратить отсутствием интереса к тому, что для него действительно важно, отсутствием нормального завтрака для внезапного гостя? Но неужели она слепа, неужели не может просто спросить: «Что с тобой происходит, Сева?» Почему она не спрашивает? Ей не интересно? Она слишком воспитана, чтобы лезть в чужую жизнь? Это неприлично? Если так, то тем более неприлично отвечать на такие вопросы — а Сева мог бы ответить только неприлично.

Нет, Сева, просто нет возврата. Твой уход — не каприз и не шалость, и вот теперь это понятно. Тошнота находит даже в самой невинной и приятной ситуации. Что могло быть лучше — романтическая встреча, красивая девушка, два года не виделись — ну на часок-то должно было тебя хватить. Вот только на часок и хватило. А теперь надо дальше в путь. Все, ты уже ушел, не надо теперь делать вид, что ты можешь вернуться и болтать как ни в чем не бывало.

4

Зима в Ростове полна противоречий — в начале февраля Сева своими глазами видел зеленую травку, а ко второй декаде опять замело.

Сева снял перчатки и еще раз посмотрел на адрес на листочке: да, кажется тут. Он свернул с Красноармейской во двор, которого раньше не замечал, прошел мимо гаражей к дальнему подъезду. Домофон. Он еще никогда не пользовался домофоном. Так, набрать номер квартиры. Набрал — тишина. Еще что-то надо нажать. Так, номер квартиры, решетка. Ждем — тишина. Какие еще варианты? Вот: номер квартиры, ключик. Ага, есть гудок. Затем голос:

— Всеволод, это вы?

— Да-да, я — здравствуйте.

— Заходите.

— А зачем она тебя пригласила? — спросил его вчера Никита, весело глядя в упор.

— Наверное, о стихах поговорить. Я на ее экзамене в январе получил пять — и подарил ей свою книжку. Это же естественно — показывать стихи?

— Так, понятно. А зачем ты подарил стихи некрасивой женщине весом более ста килограммов?

— А кому — тебе, долбоящере, стихи показывать?

— Признавайся: ты хочешь ею обладать ради карьерного роста.

— Скажем так: мне хотелось бы, чтобы она увидела во мне серьезного человека.

— А ты — серьезный человек?

— Я даже не могу выразить словами всю степень.

— А не боишься, что она просто физически сильнее?

— Представляю себе эту сватку, эти рушащиеся книжные полки, — подал со стороны реплику Антон. Он имел привычку во время чтения в позе лотоса отбивать ритм какой-либо частью тела.

— Это, девочки, зависть, — сказал Сева. — Я иду посмотреть, каким образом в нашем дебилоидном мире умудряются существовать такие люди, как она. Люди, которые в никому не понятном деле ставят для себя фантастическую планку.

— Это правда, Софья Степановна — монстр, — не отрываясь от учебника, вставил Антон.

— То, что она монстр, это мы все знаем, — подтвердил Никита.

— Я курсовую у нее хочу писать, — неожиданно для себя сказал Сева.

Подниматься долго не пришлось — квартира оказалась на первом этаже. Софья Степановна приоткрыла дверь и держала собаку — что-то маленькое, булькающее и пахнущее собакой.

— Не бойтесь, у нее просто скверный характер.

Сева поначалу даже не понял, о чем это.

Внутри было сумрачно, пахло пещерной сыростью, смесью книжной пыли, старой одежды, домашних животных и кухни. Общежития так не пахнут — сквозняки не дают закрепиться даже сильным запахам. А это — нора. Тут нет сквозняков.

Севе было предложено не разуваться, это было непривычно. В тесном коридоре он оставил верхнюю одежду.

— Всеволод, проходите вот сюда. Мы здесь почти не живем. Два года назад сын достроил дом в Старочеркасске, и с тех пор я за этой квартирой просто присматриваю. Иногда здесь работаю, часть библиотеки осталась здесь. Но, как видите, в порядке это место содержать уже не получается.

Да, вокруг был бардак. Огромное количество обуви, стопки книг, листочков, россыпи письменных студенческих работ, одежда, невытая посуда, невытряхнутые пепельницы. Сева вошел в комнату, на которую ему указали. Это был оазис. Чистый, застеленный светлой скатертью круглый

стол, на подставке стоит чайник, из носика которого идет пар. Фарфоровые чашки с блюдами, бутерброды, пирожные, печенье, конфеты. На расстоянии вытянутой руки от столика сохранялся идеальный порядок. А дальше был полный хаос. Граница, за которой кончался предел обитания, была наглядна.

На заваленном журнальном столике лежали свежие газеты: «Известия», «Независимая», «Новая», «Литературная», тут же журналы: «Вопросы литературы», «Новый мир», «Знамя», оранжевая обложка незнакомого «Ариона». Газеты и журналы были явно читаны — они были примяты, ряд листов лихо загнут или даже свернут. Свежая книга — роман Улицкой — небрежно лежала вверх корешком открытой на середине. Стол производил впечатление культурной повседневной жизни. Сева впервые встречал эти издания в доме живого человека, до этого он видел в библиотеке лишь некоторые.

Софье Степановне было чуть за пятьдесят. Она носила длинные темные волосы, прореженные проседью, которую не закрашивала. Она одевалась не по-университетски. Это были многослойные разноцветные тряпицы, кофточки, длинные расшитые юбки, платки и шали вокруг полной, тяжелой фигуры. Она была специалистом по двум непопулярным областям — древнерусской литературе и европейским Средним векам. Но она совсем не была затворницей — об этом говорили и одежда, и журнальный столик. У нее имелись муж, большой ее помощник, и взрослый сын с разрастающейся семьей.

Сева огляделся, и у него возникло минутное ощущение, что его заманили в западню. Нет, это он сам по какой-то причине дал загнать себя в угол. Дал остановить себя, заманить этим трогательным чаем, дал поговорить с собой. Эти полгода после расставания с Мариной он жил без особенных разговоров. Он стал зверенышем. Он брал что и кого хотел, не извинялся, не пытался объяснить или быть понятым. Он ничего не планировал. Он весь был реакцией на то, что видят глаза, на то, что чуется чуйка. Он не боялся ничьих реакций — все они были трепыханиями жертвы. Потому что он сам уж точно не жертва. Это было какое-то новое, обретенное в обществе состояние. В нем было мрачно, но комфортно. Оно разрешало не делать вид. Животное обладает рядом преимуществ перед недолюдьми.

Но здесь у него не было преимуществ. Он не знал, о чем и как говорить, поэтому просто смотрел. В темном углу он заметил старую темную икону с ликом Богородицы.

— Присаживайтесь, Всеволод.

— Спасибо.

— Вы, пожалуйста, подливайте себе чай сами, будьте самостоятельны за столом.

— Хорошо, я справлюсь. — Он положил себе на тарелку пару бутербродов — с сырокопченой колбасой и красной рыбой.

— Вы знаете, я была несколько удивлена вашими стихами, Всеволод. В хорошем смысле. — Она сделала паузу, отхлебывая чай.

— Внимательно вас слушаю, — сказал Сева, сглотив кусок бутерброда.

— Не могу сказать, что стиль этих стихов мне близок. Мне кажется, они часто рассыпаются от собственной избыточности. В своей метафоричности вы не знаете границ. При этом — вы пока владеете лишь метафорой, которой хватает на одну-две строки. А той метафорой, которой хватает на стихотворение целиком, — нет. В результате у вас получаются тексты, в которых все строки ведут в разные стороны...

Сева перестал жевать, пытаясь ничего не упустить.

— Я бы не говорила вам этого, если бы не видела явного таланта, характера и впечатляющей фантазии. Но если вы будете так писать, вы никогда не опубликуете ни строки. Потому что мы живем не в то время, когда читатель может за вас доделать вашу работу. Никакого читателя больше нет. За все отвечаете вы сами. Черновики, гениальные обрывки, недореализованные замыслы, модернистская заумь — все это обречено на забвение. Мы

живем в мире, в котором все это существует только для случайного филолога, которому руководитель дал соответствующую тему. А вы пишете так, как будто читатель должен посвятить вам жизнь. Хотя производите впечатление весьма взрослого молодого человека.

Сева усмехнулся и отвернулся, пряча улыбку. «Расколола за две минуты! — восхищенно думал он. — Монстр, мать ее».

— Вообще-то почти все эти стихотворения — тексты для песен. Моих песен. Я не очень серьезно к ним относился, мне хотелось петь что-то свое. Обычно все, что нужно сказать песней, есть уже в мелодии и интонации. Иногда мне кажется, что текст не важен вообще.

— Но вы ведь сделали книжку — в книге текст воспринимается совершенно иначе.

— Да. Пожалуй, я легкомысленно сделал книжку. Хотел подарить девушке.

— Очень мило.

— Но, когда она была готова, никакой девушки уже не было.

— Что вы читаете, Всеволод?

— Вот недавно купил второй том из собрания сочинений Бродского. Но в целом я совсем не знаю, что читать сейчас в поэзии.

— Это нормально. Третий том будет получше. В Публичной библиотеке хорошая книжная лавка — я регулярно там встречаю современных поэтов, — так что есть возможность следить.

— Как-то у меня не получается...

— Чего ж не получается-то? У вас так мало свободного времени?

От ее хватки стало не по себе.

— Я вам подскажу несколько имен и дам кое-то почитать. Вообще обратите внимание на другую традицию поэзии — не метафорическую, а метонимическую. Я помню, как когда-то прочла стихотворение Бориса Чичибабина с вот этими финальными строками: «Красные помидоры / Кушайте без меня». Что это и о чем это? На самом деле это язык психологической точности. Метафора часто бывает слепа к психологии... Ну что же ты смотришь голодными глазами?..

Она встала и вышла из комнаты. Внутри Севы что-то оборвалось. Он похолодел и одеревенел. Софья Степановна вернулась с какой-то тарелочкой.

— Извините, — Сева не узнал своего голоса, — это вы мне сказали?

— О чем?

— О голодных глазах.

— Ну что вы, Всеволод, это я собаке — вы посмотрите, какими глазами она смотрит. Нет, я вам все-таки подолью чаю.

5

Сева стоял на одной из аллей перед входом в Новодевичий монастырь и смотрел на мощные яркие кисти рябины.

Красною кистью
Рябина зажглась,
Падали листья —
Я родилась.

Строчки из цикла о Москве, времена школьного литературного вечера. Господи, как я здесь оказался, около этой лавочки? Год назад в это время мы лежали с нею на расстеленном на полу красном ватном одеяле. Какие тугие эти ягоды цвета губ. Новодевичий монастырь основан Василием III в честь отбитого в начале XVI века у литовцев Смоленска. А еще год назад я, одетый в тряпье и старые кроссовки, тянул драгу по илистому дну Сала, утопая выше колена в вонючей жиже. Интересно, есть еще в Москве место,

в котором было бы так мало людей. Я стал забывать твое лицо. Скоро от него ничего не останется, последнее, что сохранится на бледном овале, — алое пятно губ. Чуть раньше Иван III отбил у них Брянск, который за предыдущие два века был разорен татарами, а затем присоединен к Великому княжеству Литовскому. Люди ушли из культуры. Не понимаю логики времени: почему я был там, а теперь — здесь? Да, вспоминаю эту семейную легенду о том, что наш дальний предок воевал на Куликовом поле. Вот, посмотрите, никого нет, хотя ворота открыты. Они вышли из истории. Как же я тебя любил, хорошая, как же я тебя люблю. Куда ты делась? Мы смотрели друг другу в глаза и знали друг друга насквозь. Ты была моей частью, но если ты была ею, то ты и сейчас моя часть. Нынешняя Тульская область — она тогда была на границе зарождающегося Московского государства. Как там могли оказаться его предки, если они жили в другом государстве? Здесь светит солнце, но под тенью деревьев прохладно, покойно. Там прямо за аркой могила Дениса Давыдова. Ты часть моего организма, который сейчас использует какая-то незнакомая мне взрослая злая женщина. Даже фамилию называли, такую странную — Дулев. Денис Давыдов, оказывается, существовал. Неужели, если раскопать эту могилу, мы обнаружим в ней кости? Неужели у того Дениса Давыдова, которого я знаю, могли быть какие-либо кости? Мы были единым прозрачным лесным ручьем. Солнце проходило нас насквозь. Через нас можно было видеть мир. А еще якобы было несколько поколений лесников. Лесники — это не городские жители. Мне и поныне Хочется грызть Красной рябины Горькую кисть. Это люди, которые могут и не знать, чья нынче власть в столице. Дулев и Калабухов — очень похоже, сразу видно — родня, не надо ничего доказывать. Из лесников они пришли на Куликово или с Куликова в лесники? Кто знает. Как решим, так и будет. Здесь только работники и прихожане работающего храма. Кому сдался этот иконостас шестнадцатого века. Хотя как-то это все неубедительно, много белых пятен. Когда нет никакой истории, приходится ее писать. Тут и дедов-то своих не знаешь. Я, наверное, даже забуду, как тебя зовут. Еще полгода назад, закрыв глаза, я мог увидеть целую кинохронику о тебе. Я мог рассматривать тебя, наблюдать, как протекают на твоём лице реакции. А теперь в памяти только несколько фотокарточек. Оживить их я уже не могу. Но выходит, что род его помог историческому становлению Московского царства после страшных веков, когда Древняя Русь потеряла все, когда Киев сначала разоряли свои же, а потом подобрали к рукам чужие. Но от кинохроники тоже кое-что осталось. Особенно меня интересуют реакции на меня. Даже больше скажу — вне реакции на меня я тебя как-то и не знаю. И только в момент, когда я начинаю в тебе отражаться, в выражении твоего лица, в сосредоточенности взгляда, что-то с тобой происходит. Ты впервые для меня появляешься. К 1380 году никаких своих на Брянщине быть не могло. Появляется существо, которого не знала и ты сама. И вот это существо я забыть не смогу. Я буду его искать. Как хочется думать, что они сидели по лесам и знали, кто они, на каком языке говорят и хотят говорить, кому и как хотят молиться, за кого сражаться. Когда я произношу «ты», я на самом деле обращаюсь к нему. Мне все равно, как ее звали. А ты принадлежишь мне. Потому что я — часть твоей природы. Как хочется верить, что кто-то из них действительно был на том поле. Как сладко ощущать себя частью чей-то природы. Хочется ощутить в себе его кровь. Но у природы вокруг от тебя только грозди рябины.

6

— ...Меня лет в четырнадцать девственности лишала девочка Лида. Накануне, перед тем как я ее трахнул, она давала моему приятелю, ты его не знаешь. Я об этом знал, и она знала, что я знал. Ну так вот, она поскакала на мне немножко в парке, я быстро кончил, и она деликатно сказала, что ей

было хорошо — кино, мать ее! А потом объясняет мне про моего приятеля такую тонкую вещь. Она, видимо, хотела как-то мне сделать приятное — и говорит: а дружок-то твой занимался со мной любовью не по-настоящему — мол, не то что мы с тобой. Я спрашиваю: в смысле? Она рассказывает, что мой кореш типа свой хер ей вроде как не до конца вставлял. Она даже так выразилась, я запомнил на всю жизнь: «он занимался со мной любовью вполпалки». «Вполпалки», ты понял? Мне так смешно стало, что я даже забыл про это ее «заниматься любовью» — какая вообще-то там любовь! Но тут же еще круче. Она мне как бы втирает, что вполпалки — это не то; это, если по большому счету, считай что и не трахался совсем. Вот палка — да, это тема, а полпалки — это, мол, что — и обсуждать нечего. Я эту Лидочку всю жизнь вспоминаю с ее полпалками. Вот где великая сила самообмана! Жизнь на любом ее этапе можно запросто отбросить. Да, я трахнул ее пятьсот раз, она испытала восемьсот оргазмов, проскочила пара детей, но ты знаешь, я всегда хотел большего. Я настоящей палки хотел, а не вот эти полпалки. Я все делаю как могу, изо всех сил — и все равно чувствую себя в шкуре моего товарища. Почему?.. Я так думаю, потому что они разучились отдаваться. Не, потрахаться — это без проблем. Но как оскорбительно они трахаются! Как они грубы и бесчувственны! У меня одна, помню, на второй месяц говорит: «Я отдала тебе все!» Я на нее смотрю и тихо шалею, думаю: подруга, да мы только начали, весь хардкор впереди. А она: «Я отдала тебе все!» — и так ей фраза нравится. А я и смекаю, что отдала, видимо, все, что могла, все, что может себе позволить отдать другому человеку, — а это, братик, довольно немного. Это, как говаривала моя прошмандовка Лида, полпалочки и есть. В разговорах, в отношениях, в сексе — везде это неполное проникновение. И ты уже сомневаешься, а можно ли по-другому. И потом сдохнуть готов, готов быть как пес — злобным, матюгаться, но только чтобы по-другому. Это про меня история, дружище. Я обожаю свою Надю, она меня вот только и спасла от этого непрекращающегося унижения. Я весь мир угондошу за нее, и она за меня... А чего ты молчишь и молчишь, ничего о себе не рассказываешь? Приехал — и сидишь как чужой.

— Ты охренел, Саша. Куда тут слово вставить?

Сева очень редко заставлял Сашу в таком состоянии, когда вся его подавляющая жизненная энергия устремлялась в суждения о человеке. Было даже непонятно, откуда в таком неинтеллигентном человеке такие тонкие и точные представления о подлинности. Где учат такому материалу? Саше, чей папа был капитаном рыболовецкого судна в Волгодонском порту, — было дано.

Они выпили.

— Рад я тебя видеть, братик.

— И я тебя очень рад... да...

— Что там за люди вокруг?

— Странноватые. Меня сначала подсадили к аспиранту, причем уже работающему где-то. Сам парень такой солидный, с портфелем, комната у него — как квартира: все чисто, коврик на полу, занавесочки. Я — знакомиться, а он уже на такой стадии, когда познакомиться — это запросто, а говорить ему с тобой не о чем. Я через некоторое время понимаю, что даже соседи по секции не знают, как его зовут, — а он там живет пять лет. И он знает никого не хочет, и меня знать, в общем, тоже не хочет. Не, не грубит, все очень вежливо, но чувствуешь, что там не то что интереса нет к тому, что ты за человек, о чем, скажем, задумался осенним вечером, а ты вообще для него не существуешь. Мы с ним только иногда хозяйственные вопросы обсуждали. Например, когда мы с тобой же пьяные съели его кабачки. А еще он постоянно что-то писал. У него в такой твердой папочке с зажимом сверху были заложены белые листы, и он мелко туда писал остро отточенным карандашом. Чего писал, спрашивать бесполезно. Однажды он ушел, оставил эту папку открытой на столе. Я подошел и прочитал абзац. Там, Саша, была — как это? — авторская классификация «сучек» — баб то

есть. Одни, мол, мокрошелые сучки, которые хотят унижения — и мужчина обязан им его дать, другие что-то там... — и вот такого деловитого говна — без числа. И я понял, какой ад у него в башке. И учился он, видимо, затем, чтобы этот ад пестовать, классифицировать, украшать и прорабатывать. Умный человек, он ежедневно занимается выращиванием своей злобы, сидит и подбирает слова ненависти — и ко мне в том числе, и к любому. Я его после не беспокоил совсем. Но меня перевели на самый верхний этаж, куда обычно селили новичков и людей запущенных. Меня подселили к новичкам. Они уже что-то обо мне слыхали и были как-то насторожены. Один мне так и говорил, когда я появился на пороге: «А-а, я хочу нормально жить! Нормально учиться!» Ну, думаю, хорошее начало... Выпьем.

Выпили, стукнувшись без тоста. Сева погрузился на минуту в рисовую кашу.

— На самом деле, конечно, много лиц было за эти два года. Первый год прошел в эйфории. Я дорвался — появился свой угол, девиц вокруг — каких угодно, хватило бы здоровья. Компания такая интересная в общаге сложилась. Все друг другу нравятся, всем нравится иметь новых друзей. Праздники — вместе, разговоры, танцы в темноте, интрижки, страсти... Накрыла меня на этой волне любовная история — чуть не женился. Ей богу, если бы она захотела — я бы уже на второй курс женатым человеком пришел. Но она оказалась благоразумна — и как только в наших объятиях выдалась пауза, она, видимо, оценила меня трезво, с калькулятором и семейным советом, и сказала, что наша встреча была ошибкой. Ты знаешь, я не убивался, но я был глубоко ранен — как в книжках. Мне стало казаться, что я вообще чего-то в отношениях не понимаю. Не в том смысле, что встречаются глупые женщины. Просто это расставание — оно как бы вообще не вытекало из наших отношений. Это была какая-то глупая договоренность двух на самом деле любящих людей. Мне так казалось...

— Выпьем, друг. Некоторые нежные люди, скажу я тебе, накладывают в штаны, когда встречаются таких, как мы, — живых и некультурных. Потому что живой человек ни любить, ни убить не боится — и они это жопой чувствуют и боятся прическу испортить.

— У меня с ней была настоящая любовь, Саша. И у нее со мной. А через пять месяцев она уже не хотела от меня ничего.

— Ты брось это.

— И при этом я даже не спросил ее ни о чем. Что случилось? Что с ней произошло?

— Очень ты доверчивый, Сева, если думаешь, что мог узнать от нее, что случилось на самом деле.

— Но я действительно не знаю, что случилось. Может быть, она бы сразу сказала. Может, она поговорить вообще хотела, но не знала, как начать. Может, она только вопроса и ждала. А я ни о чем не спросил. Мне как бы не интересно, что с тобой. Ты посмела на миг усомниться во мне — и мне этого достаточно. Я посчитал достойным сразу же принять ситуацию. У меня в этих самых руках была женщина, единственная на свете, единственная в моей убогой жизни, которую я называл моей любовью, которая казалась неотделимой от меня, чем мои собственные органы. И я не задал вопроса о том, по какой такой причине эта любовь должна оборваться? Может, и не должна? Может, она обрывается, когда ты не задаешь вопроса?

— Как ты так постоянно выворачиваешь, что сам остаешься виноватым?

— Мне не важно, кто виноват, — важно понять, что произошло.

— Произошло следующее. У твоей девочки было любовное приключение, от которого у нее закружилась голова. Но взрослая девочка взяла себя в руки и одумалась, потому что если уж выходить замуж, то не за оборванца с первого курса.

— Вряд ли я уже узнаю, как это было на самом деле. Но — надо извлекать опыт. Ты помнишь моего отца?

— Да, конечно, — прекрасный мужик дядя Миша. Помню, как мы на рыбалку вместе ходили.

— А я еще помню, как он из семьи уходил, когда мне было двенадцать. Ты знаешь, я его видел примерно два года назад, сразу после того, как сдал вступительные, в августе. Выяснилось, что он пропал потому, что его часть отправили служить в Абхазию, они там вывозили семьи русских военных. По идее, это было тогда, когда основные события там закончились, но его в какой-то момент осколком зацепило, он в госпитале лежал. Я об этом рассказываю потому, что между делом он мне сказал: «Сева, ты знаешь, я не помню, почему мы с твоей матерью разошлись. Не помню, почему я ушел». Ничего, говорит, не помню...

Сева ненадолго замолчал.

— Нет, ты врубаешься, что происходит?.. Да его уход был главным событием в его гребаной жизни! Его жизнь разделилась на до и после — но он не помнит причины.

— Ты тут при чем?

— Я так не хочу. Я хочу понимать, что происходит, я хочу, чтобы что-нибудь от меня зависело. Я хочу, чтобы я не был способен забыть самое главное в моей жизни... Давай за родителей... А еще — мы с тобой такие, сука, дикие и страстные, такие естественные и сильные, а те, другие, — такие бледные и неуверенные, такие культурные и воспитанные. Это все как-то неправильно — как будто нам достались какие-то роли. А нету на самом деле никаких ролей.

— А как же иначе, братик. Родился бы в другом районе — жизнь бы по-другому сложилась.

— Это все слишком просто. А на самом деле ни хрена не понятно. Вот я о чем. Мы несчастливы, и они несчастливы, вот я о чем.

— Да иди ты — я счастлив.

— Да, прости — за твою семью, дорогой.

— Знаешь, как я их люблю! Жаль, обезьянка моя малая спит, завтра утром увидишь.

— Я уйду часов в восемь.

— Мы в семь встаем.

— Тогда увижу.

— Как ты дальше?

— Поеду от Ленинградского вокзала до Бологого. А потом выйду на трассу, она в этом месте вплотную к городу, — а дальше как сложится.

— Скажешь, почему в Питер?

— Это не очень важно, Саша. На достижения культуры хочу посмотреть — и сравнить со своими возможностями.

— Ты в бега подался?

— У меня был трудный год. Мне кажется, я за этот год сам с собой и не встречался почти. А хочешь дернуться и чувствуешь, что ты каким-то непонятным образом несвободен. Всех ты такой уже устраиваешь, всем удобно. Заговоришь случайно не о том — и сразу: а чтой-то мы такой херней себе голову забиваем? У нас, наверное, новый прожект? Вот так — очень быстро на тебя права предъявляют, причем — даже невинные люди. И ты вроде как обязан быть таким, каким тебя знают. А что они о тебе знают? Что они обо мне могут знать, если я сам о себе мало что понимаю? Видишь, какими благородными болезнями я оброс — вот что значит высшее образование. Конечно, я уехал от всего этого, но я вернусь. Немножко другим.

Какой здоровенный был этот Давид. Зачем Микеланджело было ваять такого гиганта? В том же зале стояли другие статуи этого героя — на них был неоформившийся ребенок. А этот очень даже оформившийся. Пасту-

шок, блин. Вон у Донателло стоит бронзовый игривый амурчик, напяливший шляпу, схвативший меч не по размеру и гордо выставивший свою писюничку. Это не человек — это божок из античного пантеона. Что перед ним земное, пусть даже целый Голиаф? А у Микеланджело, пожалуй, человек. Но надо же ему было как-то передать его боговдохновенность — вот скульптор и дал ему ничем не заслуженное идеальное тело. Смотрим мы на это тело и понимаем, что этот человек рожден для подвига. Что есть люди, которым дается без всякой причины. Тело ли, сердце ли, голос ли. Только потому он и гол — потому что скульптор объясняется на языке его тела. Он нам его упорно навязывает — тут не пропустишь.

— Катя, посмотри на его запястья. Что ты видишь?

— Большие.

— Не просто большие, а непропорционально большие. Они показывают, что этот пятиметровый дурень на самом деле довольно маленький — он просто показан крупным планом. Он хорошо сложен, но в нем килограмм сорок пять, не больше. Это такой маленький мужчинка, мелкий, застывший в комплекции подростка. Но на лицо посмотри — этому ребенку предстоит нететский бой.

Они хорошо провели день. Сначала было солнечное, морозное утро. Они позавтракали раньше всех и отправились на электричку. Вышли на «Охотном ряду», забежали на Красную площадь, купили билеты в Кремль, попетляли, выскочили на Гоголевский бульвар, вышли к храму Христа Спасителя, прошли мимо, нашли Пушкинский музей, три часа в нем плутали, что-то ели — и смеялись, совершенно забыв о протестантах. И только когда стемнело, Катя забеспокоилась.

— Так, завтра я буду примерной девочкой, буду петь «аллилуйя».

— Завтра не скоро. Погреси еще немножко.

— В тебе ничего святого. Куда они смотрели.

— Они не могли предвидеть нашей встречи. Твоя красота оказалась сильнее. Я увидел тебя и понял, что в монахи мне рановато. Я еще слишком голоден.

— Даже звучит неприлично.

После приезда весь вечер они жадно целовались в каком-то темном углу. Она оглядывалась на каждый шорох. После очередного вдруг сорвалась и убежала, нервно попрощавшись. Сева отсиделся в темноте и вышел в свет. Навстречу ему вышла Малгожата. Он никогда ее не видел такой раздраженной.

— Ты неприлично себя ведешь.

Сева усмехнулся и промолчал.

— Тебе лучше уехать.

— Когда?

— Твой поезд через три с половиной часа.

Она действительно достала билет. Сева взял его и прочел свое имя. Быстро ребята разобрались. Группа уезжала только через три дня.

Сева медленно пошел к себе в номер. На соседней кровати — номер был на двоих — лежал парень-физик. Он ничего не делал, но, когда зашел Сева, у него появилось занятие — следить за Севой глазами. Собираться было недолго. Сева открыл небольшую сумку, бросил в нее вынутое накануне — запасную футболку, носки, книжку Льва Гумилева, зубную щетку и пасту.

— Ты уезжаешь? — робко спросил физик.

— Да. Меня попросили уехать.

— Когда?

— Сейчас.

— Жаль.

Взгляд Севы упал на гитару. Он взял ее, как будто в первый и последний раз, осмотрел, будто пытаясь запомнить этот гриф, эти струны, — и присел на край своей кровати. Он знал, что он хочет спеть.

Вдоль обрыва — по-над пропастьЮ — по сАмому — по краю...

Голос медленно, волнообразно и тяжело въезжал в песню, в ее пока только предвкушаемую драму. И голоса-то особенного не нужно, чтобы такое пропеть. Сева пел это губами, челюстями, как будто строка была куском мяса, который надо разжевать.

Я конЕй сво-их на-гАй-коЮ — сте-гА-ю — погонЯ-а-ю,
Что-то вОз-ду-хУ-у — мне-мА-а-ло — вЕ-тер-пьЮ-тумАн-гло-тАю...

Подражания Высоцкому всегда жалки — слишком много усилий, поющему некогда думать о песне. Но Севе не надо было подражать — он сразу мог больше. Он различал десятки степеней балансирования между чистым пением и надрывом, он научился чувствовать, насколько разным может быть напряжение голоса — и как оно оттеняется его гибкостью. Наконец, у него был шире диапазон. Ниже оригинала он забраться не мог, а выше — парил как птица.

ЧУю с гИ-бе-ле-нным — ва-стОр-гом — пра-па-дАю, пра-па-даЮ-у...

Физик смотрел на него во все глаза, боясь шелохнуться.

ЧУ-уть по-мЕЕ-дле-нне-е-кО-ни, чу-уть-по-мЕ-дле-нне-Е...

Ударный звук был вырван из глотки с мясом — так, чтобы было слышно, как рвется плоть. С ударным звуком покачнулась комната, отворилась форточка, накренилась репродукция на стене, вогнулась дверца холодильника, приоткрылась входная дверь. Звук вырвался и помчался крушить затихий пансионат.

Но-что-то-кО-о-ни — мне-попА-А-лись — при-ве-рЕд-ливЫЕ-е...

Он сейчас не понимал, про что песня и какие еще кони. Он сам был этой песней, ход которой управлял им, как судьба. И ему было даже страшно представить, что она с ним может сделать, насколько яростно она будет пытаться порвать то, что порвать нельзя, как она будет швырять его из огня да в полымя, чтобы человек, которого не разорвало, который не зашелся надсадным кашлем, стал в итоге широк и глубок, претерпев звериное, смертное.

Я-А — ко-ней-на-по-Ю-у!
Я-А — ку-плет-до-по-Ю-у!

В открытую дверь заглянуло несколько голов. Сева их не видел. Впереди была долгая дорога песни.

Да-что ж-там-ААн-гелы — поЮт — такими-злЫ-ми — голоса-ми?..

Он не давал голосу сорваться в сипение, в корябанье когтями по сухому дну — нет, это было пенье, близко к пределу, на самом краю, за которым бездна отвратительной жизни. Он заглядывал в нее, потому что в этом-то и смысл, главное — уцелеть, допеть.

Я-А — ку-плет-до-по-Ю-у!

Когда он закончил, в комнате было человек восемь. Они стояли, как статуи. Некоторых он не знал. Сева встал с кровати, вновь внимательно посмотрел на гитару. Наконец прислонил оскверненный инструмент к стене. Подхватил сумку и куртку, выпрямился, посмотрел на людей.

— Ну, братья и сестры, я пойду, — сказал он.

Они расступились, и он ушел.

8

— Ты застал момент, когда я стал на гитаре учиться?

— Сейчас вспоминаю, что ты упоминал, но как-то я серьезно не относился. И что — нормально бацаешь?

— Смотря с кем сравнивать. Все, что я умею, я умею довольно плохо. Но при этом так, как я, не сделает никто.

— Чего не сделает?

— Песню.

— Ты песни делаешь?

— Да.

— Постой, Сева, постой. Я сейчас налью, мы выпьем... Ну, блин, ты даешь. Знаешь, Сева, глядя на твою рожу, не заподозришь. Ты — земной, трезвый, здоровый парень. Я думал, что у тебя такой, деловой уклон. Ты дельно разговариваешь, быстро сечешь. Вот это тема! Вот тут подняться можно.

— А ты поднялся?

— У меня другое. Я бы поднялся, если бы у меня иногда планка не падала. Я ж за малым не сел пару лет назад. Мы с дружками в Обнинске на пустыре одного бедолагу обчистили. Потом у меня даже пекаль был. Сидел в пивняке однажды, стал один товарищ залупаться — так я не знаю, как я его не убил, в последний момент что-то остановило. Честно говоря, сам испугался, когда протрезвел. Устроился на работу, оптовая база, работаю четвертый день, отмечаем чей-то день рождения. Мой руководитель, молодой парниша, быстро перебрал, начал фамильярно разговаривать. Послал меня за сигаретами. Я стерпел, не в падлу, выскочил. Вернулся, стою на пороге в говнодавах, на улице каша — и что-то он мне сказал, я даже не помню, что, но я с ноги ему прямым в солнечное сплетение ка-а-ак *****. Своим грязным, сапогом в его беленькую рубашечку. Ну и карьера у меня в этой компании не задалась. А сейчас вот в отделе пылесосов, рот не закрывается — так боюсь захерачить кого-нибудь из любимых покупателей.

Сева от смеха закрыл лицо руками.

— Если бы я Наденьку, свою девочку, не встретил, я бы до сих пор щемил кого-нибудь. Но это я — ты же не такой гашеный, у тебя голова на месте, ты — понимающий. Можно дела делать.

— Ты мне в бандиты пойти предлагаешь?

— Зачем сразу в бандиты? В больших городах уже немножко по-другому. Можно устраиваться в крупные компании, которые работают по всей стране, там все на высшем уровне, вопросы безопасности вообще не стоят — спокойно двигаешься по карьерной лестнице.

— Саша, я второй курс закончил, еще три года впереди. Если сейчас встану на этот эскалатор, я в эту точку уже никогда не вернусь. А мне именно здесь надо задержаться, потому что я тут не могу разобраться.

— Ты потратишь бесценные годы на песенки. Ты видишь, где мы живем? Однокомнатная квартира на восемнадцатом этаже двестиэтажного дома. Отдаем за нее зарплату жены, на мою живем и растим дочь. И я кроме денег и баб, ни о чем думать не могу. Сейчас женился, теперь о деньгах думаю больше, чем о бабах. И когда ты мне говоришь, что решил сочинять песни, мне становится жалко и тебя, и себя, и твою маму, и твою будущую семью.

— Дело тут не в песенках.

— Давай выпьем.

— Давай по последней, а потом чайку — а то завтра вставать рано.

— Поставлю чайник.

— Просто это как настоящая любовь — если ты это почувствовал, ты не то что выбросить это из головы — ни на минуту забыть не можешь. Если я не буду этого делать, я просто рехнусь. Потому что ты вдыхаешь этот мир,

ту красоту, которую ты в состоянии различить, все свои эмоции и переживания — а выдохнуть не можешь. А через некоторое время — уже и вдыхать больше не можешь. И жизнь начинает лететь, не задевая тебя вообще. Пока долги не вернешь — за все то, что взял... Я не знаю, как так получилось. Мы с тобой выросли в одном дворе, и я пока не могу понять, как я на это подсел. Но на текущий момент я могу сказать: во мне запущен не до конца понятный мне механизм, связывающий ощущение полноценной жизни с... творчеством, мать его. — Севе было неудобно даже произносить это слово. — Я не собираюсь жаловаться: мол, неужели мне, гению, надо всю жизнь кровли крыть или кирпич класть. Я не собираюсь никуда сбегать. Искусство вообще не для того, чтобы сбежать. А для того, чтобы ты имел возможность жить весь, а не только большим пальцем, которым ты марки на почте приклеиваешь. Мне все равно, что я буду делать, — что-то в любом случае буду. Вопрос в том, чтобы человеком жить, а не большим пальцем. Я весь хочу жить... Но как это делать? Я знаю только, что человеком себя чувствовал в те минуты, когда свою милую обнимал и когда песня хорошо выходила. В остальное время моя жизнь вызывает у меня чувство недоумения и досады. Хотя жаловаться не на что. Мне как бы не себя жалко — мне жизнь жалко. Это ж вообще, если вдуматься, отличная идея — жизнь!

— Жалко, старик, у пчелки в попке... Просто терпишь и работаешь — и в награду получаешь полчаса или час счастья перед сном, когда твои уже заснули. Они, любимые, спят, видят сны, а ты открыл бутылочку пива или заварил чай, как ты любишь, и просто посидел, посмотрел телевизор без звука. Ты уже все отдал за день — но что-то, какая-то самая незначительная малость у тебя осталась для себя. Кружка с чайком да полчаса времени. И тебе — более чем достаточно. Лишь бы твои близкие сейчас сладко спали.

9

— Я прочел ваш перевод «Персевалея». Меня как-то тронул этот роман. Даже странно думать, что это двенадцатый век. — Сева прервался.

Но Софья Степановна не подхватывала и вообще не отвечала сразу. Перед каждым ее ответом она сначала произносила паузу. Пауза удостоверяла то, что собеседник мысль свою доформулировал и что она будет отвечать обстоятельно, со всей ответственностью, обдумав ответ.

— Да, — произнесла она очень неторопливо, — литературные формы меняются, но человек, кажется, изменился очень незначительно.

— Как вы осваивали французский язык того времени?

— Тексты XV века я читаю нормально. А вот XII век — очень сложно. У меня есть словарь Шишмарева, еще тех времен — новых изданий нет. Так что это был очень медленный процесс, нужно было многое расшифровывать. Но в изданиях «Плеяды» — вроде наших «Литпамятников», — в которых я читала романы Кретьена де Труа, дан подстрочник на современном французском языке. Он меня очень выручил. Это вообще очень правильно. Старофранцузский — мертвый язык, на котором давно уже не то что никто не пишет и не говорит, на нем давно никто не читает, кроме узкого круга филологов.

— Как так получилось, что у этого героя нет имени до тех пор, пока он не покидает дом? А главное, в романе сказано, что женщина, которая впервые называет героя Персевалем, это имя угадывает. Что значит «угадывает»? Значит ли, что само имя содержит в себе указание на то, кем является герой?

Она сидела прямо, положив одну ладонь в другую. Очень спокойно смотрела прямо в лицо Севе и говорила со всей обстоятельностью, как доктор наук. Она не пыталась вести себя как простая смертная. И с ним, мальчишкой, говорила с такой серьезностью, от которой у Севы все холодело, как при встрече с реальностью.

— Точных ответов тут и быть не может — вы понимаете. Роман был новаторским и при этом не был закончен. Не понятно, должен ли он был содержать ответы или он и был задуман таинственным, — но таковым он в историю литературы и вошел. Герой сталкивается с миссией, о которой он ничего не знает. Кодекс, к совершенному владению которым стремились все предшественники, все рыцарское окружение Персеваля, не может помочь ничем. Да, есть версия, что имя — это мистическое прозрение, которое позже посещает и самого Персеваля. Когда он представляется, он как будто впервые понимает, что да, он — Персеваль и никто более. И за этим именем особенная судьба. Но попыток объяснить это имя мы не встречаем. Оно — символ, а символ может быть любим, он не обязательно должен быть похож на то, к чему отсылает.

— Чем он заслужил право найти замок, который не показывался на глаза больше никому в этом романе?

— Благородное неведение Персеваля концептуально. Он — большое дитя, которое гораздо ближе ко Христу, чем кто бы то ни было.

— Но все-таки он не задает вопроса, который исцелил бы больного Короля-Рыболова. Получается, рыцарский кодекс только испортил его?

— Там не только рыцарский кодекс. Он уже был грешен. Он бросил мать — и она умерла. И он знал об этом. Не мог человек, который остался холоден к страданию своей матери, обладать достаточной чуткостью для того, чтобы задать вопрос страдающему незнакомому мужчине. Ситуация в замке лишь вскрыла его греховность.

— Значит ли это, что Грааль и не мог быть найден? И что роман на самом деле закончен?

— Мы знаем, что рукопись обрывается, что большая часть второй половины текста посвящено рыцарю Гавэйну, а к Персевалю автор возвращается лишь на несколько страниц, чтобы рассказать о встрече с монахом-отшельником, который в итоге отпускает ему грехи. Да, сюжетная линия выглядит вполне законченной. Но не для человека тех времен.

— Имя героя как-либо переводится?

— Переводить не принято. Но при желании вполне можно: «рассекающий поле» — или «долину».

— Как так получилось, что он стал искать Грааль и совсем забыл о любви?

— Это хороший вопрос. А кто вам сказал, что он ищет Грааль? Да, действительно, последующая литературная традиция, а потом и массовая культура превратила поиск Святого Грааля в приключенческий сюжет. Но Персеваль на деле ищет не замок и не Грааль — он хочет понять, что с ним произошло и как такое могло с ним произойти. И он не знает, как искать ответы на эти вопросы, — он умеет только воевать. И потому он пропадает из виду на пять лет.

— И все-таки куда делась любовь?

— В рыцарском романе любовь к даме — причина и цель подвигов. За каждым побежденным врагом стоит спасенная леди, которой рыцарь спешит присягнуть. Посмотрите, сколько женщин у Гавэйна. На его фоне Персеваль — герой, который разрывает рыцарский мир изнутри. За несколько дней подвигов у него появляется как минимум три возлюбленных. О которой из них он думает, когда впадает в оцепенение, созерцая три капли крови на снегу? Строго говоря, это не важно. Даже когда дамы сердца нет, рыцарь пребывает в постоянном состоянии любовного томления. Такова логика того мира, который Персеваль покинул. А вот о том мире, в который он вступил, мы знаем очень мало. Он — одна большая тайна, которую разгадывала последующая европейская культура. Это теперь мы знаем о том, что это христианский мир. Теперь этот мир обжит, он даже уже наскучил культуре. Любовь к женщине в нем не является предметом особенного культа. Когда Христос заменяет десять заповедей Моисея своей одной заповедью — возлюби ближнего, как самого себя, — он, конечно, говорит не о женщине.

— Я хотел бы попробовать написать у вас курсовую.

Софья Степановна приняла как должное. Привычная пауза перед ответом оказалась чуть больше.

— Попробуйте. Только, я думаю, вы понимаете, что я за вас вашей работы не сделаю.

IV. ХОЗЯИН ПОБЕРЕЖЬЯ

1

Ловить раков Сева ездил на троллейбусе. Нужно было выйти всего лишь через пять остановок на улице Строителей, откуда было метров триста до берега залива. Сюда за раками не ходил практически никто. Разве что встретится на необустроенном побережье залетный любитель понырять с маской: понырять, намутит воду и уйдет. Севу такие раздражали, как обыватели, для которых наловить тут раков — все равно что натянуть сазанов из фонтана. Но он бывал тут через день и точно знал, что раки здесь есть.

День задался сухой и жаркий. Сева не стал дожидаться полудня, когда вода уже достаточно прогревается, а вышел из дома около десяти часов. Шел налегке: в широких рыжих брюках, подпоясанных плетеным дерматиновым ремешком, в свободной красной футболке, потускневшей на солнце, в стоптанных, но еще не позорных кроссовках, с легкой черной синтетической сумкой на молнии, в которой лежала водолазная маска, кулек с двумя кусками хлеба, переложенными соленым салом, и большой пустой пакет для улова.

Это был второй сезон активной ловли. Поначалу у него бывали напарники. Несколько раз они ходили нырять то с Костиком с тренировки, то с Шуриком из третьего подъезда. Но в прошлом сезоне было слишком много неудач. Ловить пытались везде. Обошли оросительный канал, ездили на Дон, ныряли с дамбы в водохранилище, шарили около лесобазы, стоящей на той стороне залива, потом обходили все побережье, пугая рыбаков. Любопытство соратников быстро иссякло. А Сева поиски продолжал, поскольку им двигало не любопытство.

В августе прошлого года Сева — уже в одиночку — нашупал места, куда можно было бы приходиться регулярно. Восточное побережье залива, на котором строился и постепенно разрастался Новый город, считалось непригодным для прогулок, купания и рыболовства. Повсюду здесь виднелись следы строительных работ, мимо проходила объездная бетонная дорога, по которой организовано шли грязные самосвалы, КАМАЗы со стройматериалами и иногда гусеничные тракторы. Между дорогой и водой не было ни деревьев, ни кустов, из слежалого суглинка редко торчали лишь самые стойкие сорняки.

Троллейбус качнулся, делая поворот на мост, соединяющий Старый и Новый города — вместе они составляют Волгодонск, молодой город в степи на берегу моря. Старый город был тих и зелен. Низкие малоэтажные дома, плодоносный частный сектор. Но уже на стыке с Новым городом стояла вереница двенадцатиэтажек, как бы указывая на будущее местной архитектуры. Новый город строился на фоне слабых, вымирающих саженцев. Сева проезжал мимо засаженного бульвара: принявшиеся и окрепшие деревца чередовались с высохшими метелками, надломленными человеческим безумием стволами. Это время переживал приблизительно один из трех. Среди людей была примерно та же статистика.

Троллейбус качнулся, и рука, лежащая на поручне, напряглась, удерживая тело от падения. Сева как бы невзначай с удовлетворением отметил крепкий бугор бицепса, который стал еще рельефнее благодаря острому углу зрения. Он подумал, что два года назад, пожалуй, не было вообще ни-

какого бицепса. В нем не было силы: не нужна она зрителю в театре и беззаботному мальчику в семье, которого волнуют не причины, а следствия.

Превращаться в охотника Всеволод начал после того, как ушел отец. Это произошло всего два года назад. Два года — это не много, если только речь не идет о выживании. Ушел отец, и Сева понял, что не успел его разглядеть. Отец никогда на него не давил, не проверял дневник, не расспрашивал, с кем сын дружит. За это Сева был благодарен. Но и научить его отец ничему не смог, кроме искусной лепки из пластилина, время для которой для Севы уже прошло.

Когда отец ушел, мир вдруг стал предельно трезв. Совсем молодая — едва тридцать лет — мама Татьяна Геннадиевна навеки осталась в ЖЭКе, куда несколько лет назад, будучи человеком приезжим, устраивалась временно. На тот момент мама училась на третьем курсе политехнического института, который ей не суждено было окончить. У нее на руках — двое детей: мальчику двенадцать, девочке девять. Отец ушел в сентябре, когда холодный ветер уже вытеснил воспоминание о лете и пугал мрачным будущим. В октябре Татьяна Геннадиевна решила увеличить свою нагрузку на работе, взяв дополнительно два двора и еще один девятиэтажный дом с вечно забытыми мусоропроводами. Сева и раньше, когда работу нужно было сделать быстро, ходил помогать маме. Теперь он бывал у нее регулярно, подметая пустые подъезды, собирая листву и кучи мусора в мешки.

Однажды, когда сестренка Настя в школе порвала колготки, у мамы был приступ отчаяния. Было ясно, что прокормиться семья еще как-то сможет, но о регулярных обновлениях придется забыть. Придется смириться и с мыслью о том, что из гостинки выбраться не удастся. Квартиру давал маме ЖЭК как временное пристанище, однако в очередь на настоящую она не встала, поскольку оказалась бы где-то во второй сотне. А вот отец в своей атоммашевской очереди полтора года был тринадцатым. Все надежды возлагались на него.

Лето 1992 года было самым светлым и благополучным в семье Калабуховых. Им казалось, что они встают на ноги. Предыдущие десять лет переездов по скромным съемным квартирам и флигелям семью закалили. Но со временем ситуация стала стабильнее — отец устроился в транспортное подразделение «Атоммаша», имел доступ к дефицитным товарам. Однажды он принес с работы хороший сливной бачок. На предприятии осуществлялись программы по повышению квалификации кадров, и отцу предложили закончить специализированный техникум в Смоленске. Он ездил туда два раза в год на сессии. Примерно после второго его приезда мама пыталась выцарапать мужу глаза. Вырвался, ушел и напился. Поздно вечером постучал в дверь, вошел и немедленно сполз по стене. Он спал мертвецким сном. Мама захихикала, раздела мычащего прямо на полу и перетянула на кровать.

Отец запомнился Севе добрым, громко хохочущим. Он мог рассердиться только за пролитый на его колени горячий чай, а больше ни за что и, кажется, ни на кого. В сущности, тишайший человек. У мамы темперамент был жестче. Она неконтролируемо взрывалась и становилась все более нетерпимой к тому, что ей казалось ложью, равнодушием и безволием. Обиды она быстро забывала — но только до следующей обиды.

Весной девяносто второго отец сошелся с соседями с пятого этажа. Наталья и Константин. Она — властная полная еврейка лет сорока со страстным лицом и белыми крашеными волосами, стриженными по-мальчишески. Он — сухой коротконогий музыкант со скрипучим голосом и почти черными с заметной проседью волосами до плеч. Она часто гадала людям за деньги, он был известен в одних кругах как бард, в других — как лабук. Тем летом эти неведомо как сошедшиеся люди делали бизнес на торговле цветной импортной пряжей. Наталья была мозгом предприятия — она отдавала распоряжения и считала деньги. Отец Михаил Васильевич попал в исполнители.

Торговали на центральной аллее города, которая в те годы превратилась в зону свободной торговли. Утром раскладывали на клеенки большие, яркие, уложенные восьмерками мотки ниток. Сева часто там бывал, иногда стоял. Иногда и мама подключалась к торговому процессу, но с Натальей они явно не сошлись. Татьяна Геннадиевна не терпела авторитарности. Наталья, впрочем, увидела это сразу и не позволяла себе вольностей в общении с нею. Татьяне Геннадиевне этого было мало, поскольку она видела, что ее муж находится под влиянием сомнительной особы. Прожив вместе двенадцать лет и нажив двоих детей, супруги разошлись, когда Татьяна Геннадиевна узнала, что Михаил Васильевич по распоряжению своей начальницы сходил для нее в аптеку за прокладками. А между делом выяснилось, что у него появилась женщина.

Татьяна Геннадиевна не ожидала, что муж уйдет. Но это был особый год для Михаила Васильевича — он, как никогда до сих пор, ощущал себя кормильцем и — более того — человеком самодостаточным и перспективным. Он был на пике своего развития, ему должно было казаться, что дальше жизнь будет совсем другой. Во многом так и вышло.

Летом отец постоянно пропадал на одной из баз отдыха, чередой стоящих на берегу Дона. Это были ведомственные базы, на одной из которых он, будучи рыбаком, близко сошелся со стариком-смотрителем. Вход для Михаила Васильевича на базу «Зеленая волна» был открыт всегда. Сева тоже бывал тут регулярно — вместе на лодке они выезжали ловить на кольцо. На эту базу отец и уехал после ссоры. Когда он пришел за вещами, напуганная Татьяна Геннадиевна пыталась с ним поговорить уже иначе, но супруг был как в ослеплении и не слушал ничего. Тема алиментов была самой обсуждаемой в следующий голодный год. Мама была напугана и озлоблена свалившейся нищетой и хотела, чтобы ее бывший муж платил регулярно. Сева запомнил момент, когда мама ходила сдавать в пункт приема стеклотары одну бутылку из-под молока, чтобы купить хлеба. А с отцом в это время происходили странные вещи. Он быстро оказался отцом другого семейства, в котором задолго до его появления уже было трое детей. Он по неясным причинам — возможно, в пылу надежд на вольное предпринимательство — уволился с «Атоммаша». Разошелся с Натальей и Константином, поскольку те разошлись между собой. Пару месяцев Михаил Васильевич просто просидел в новом доме без дела, после чего его супруга, добрая и практичная Лариса Ивановна, с которой Сева познакомился позже, решила помочь в поисках работы. Несколько вариантов были отвергнуты, но остается только гадать, почему не был отвергнут вариант пойти служить на флот контрактником.

Весной девяносто третьего он уехал в Новороссийск и на некоторое время был потерян. Его искали, супруга делала запросы. Через восемь месяцев он объявился в городе на три дня. Он успел за это время многим и многое пообещать, но себе он уже не принадлежал. Люди, знавшие его по первому браку, говорили, что он обезумел. Сева тоже так думал.

Семейная драма выживания мимо Севы пройти не могла. Он стал просто помогать матери. Учиться так, чтобы мама не заглядывала в дневник, ходить к ней на работу. А летом он вышел с маской на берег залива, потому что раков можно было продавать.

Продавать ходил на небольшой рынок на «тридцатнике» — улице 30 лет Победы. Зона небольшого рынка была огорожена, но бульвар перед ним был тоже торговым. Сева ставил свою сумку рядом с бордюром и раскрывал ее. Членистоногие начинали прилюдно копошиться. Слушая этот мокрое потрескивание, Сева недоумевал, как эти твари могут вызывать аппетит.

Поначалу не везло — то раков забрали менты, то они передохли на солнце, то удавалось продать два десятка крупных, а три десятка мелочи хоть выбрасывай — никто даже не смотрит. То станешь не туда, и какие-то бабки начинают теснить. То проторгуешься, попав на покупателя, который приходит на рынок в поисках простоватых торгашей — дачников и колхозников.

Колхозниками называли тех, кто ездил наниматься в колхозы на уборку урожая, а затем приходил на рынок торговать заработанным натурпродуктом. Продать его нужно было как можно быстрее — чтобы не испортился товарный вид неизбежно побитых в переполненном автобусе яблок, пожеванной на солнце вишни. Колхозники подтягивались на рынок часам к пяти-шести и брали его в отцепление, становясь где-то по окраинам — с территории самого рынка их гнали как нахлебников, которые не платят за место и сбивают всем цену.

Сева и сам стал профессиональным колхозником. Он вез домой лук, капусту, вишню, сливу, виноград, кукурузу, огурцы, морковку, кабачки, патиссоны, абрикосы. Он насмотрелся на приказчиков, часто женщин, которые устанавливали нереальные трудовые нормы, на бригадиров, у которых вообще никто не работал — люди сразу начинали набивать свои сумки. А прошлым летом Сева оказался в тайном сообществе людей, которые ездили собирать смородину на заброшенные поля. Рабочий день с семи утра до четырех вечера — за это время Сева собирал пятилитровое ведро. Работать нужно было тихо. Иногда здесь проезжал на лошади лесник. Этот человек как бы охранял плоды, которые некому собирать. Встреча обходилась в баночку-семисотку — собрать ее так же трудно, как и большое ведро вишни, поэтому от лесника бегали. Зайдя в кусты, Сева чаще всего уже больше не встречал людей. Монотонные движения накладывались друг на друга. Разреженное время, которое каждый миг тянется долго и однообразно, спрессовывалось так, что по прошествии дня от него не оставалось воспоминаний, кроме стоящих перед глазами черных ягод, преследующих своими прелестями весь остаток суток. Засыпая вечерами, Сева подолгу разглядывал кусты смородины, которые росли в его сознании уже сами по себе.

Когда удалось наладить промысел раков, Сева стал ездить в колхозы реже — в основном тогда, когда мама просила огурцов на засолку или абрикосов на варенье. А в общем у него было теперь свое, более выгодное дело, которое к тому же не каждому дается.

2

Начало одиннадцатого, солнце еще не успело раскалить землю, а земля — воздух. Скидывая футболку, Сева поежился, предвкушая воду. Вынув из сумки маску, двинулся к воде, узнавая побережье босыми ступнями. С моста, по которому он только что проехал, можно было разглядеть рисунок на его просторных семейных трусах — немаловажном атрибуте раколова.

Сева вошел в мутную воду. Она была недружелюбной. Она была для существ с холодной кровью. Он станет таким существом, но потом, ближе к обеду, когда вода будет казаться теплой. Проходя эту процедуру ежедневно, Сева уже не терял времени на церемонию входа. Он заходил тем же шагом, каким шел по земле, не вздрогнул, когда холод коснулся мошонки, и остановился лишь для того, чтобы набрать в маску воды. Чтобы стекло не запотевало, его нужно смочить изнутри, затем плюнуть на мокрую поверхность и растереть. Он натянул зеленую резину на сухие волосы и разучился дышать носом. Легко и много вдохнув, нырнул в темный мир залива.

Через несколько секунд глаза привыкли к отсутствию солнца. Светлый мир стал лишь колеблющимся отблеском, идущим откуда-то со спины, с поверхности. Вода сегодня позволяла видеть на несколько метров вперед. Дно, растения, редкие в этой глинистой местности камни были покрыты готовым взвиться от легкой волны мхом болотного цвета. Простой купальщик за несколько минут мог сделать это место непригодным для ловли на несколько часов.

Под водой Сева осторожно оттолкнулся от дна, чтобы придать себе ускорение. Плылось легко, свежий организм, казалось, может вовсе обходиться без воздуха.

За развесистым кустом мордой к Севе сидел рак. Человек возник перед ним внезапно, и тот аж подпрыгнул, встречая угрозу вскинутыми клешнями, раза в полтора увеличенными толщей воды и стеклом маски. Сева, не притормаживая, схватил его за панцирь, крюком, незаметным для членистоногого, выбросив правую руку. Вокруг больше никого, можно всплывать.

На поверхности Сева вдохнул. Кончиками больших пальцев он доставал дно. Он замер на носочках, будто балерина, стараясь не мутить воды лишними движениями, поднял первую жертву, которая на солнечном свете заметно потеряла в масштабе, оценил ее как середнячка и спрятал под поверхность. В обычное время, когда вокруг много глаз, Сева не показывал улова, чтобы не привлекать лишнего внимания любителей поохотиться. Не вынимая рук из воды, он упаковывал раков в трусы.

В свободные семейные трусы могло помещаться до двенадцати раков среднего размера. Членистоногий кладется с внешней стороны под резинку, затем резинка перекидывается через него, и рак оказывается в коконе, из которого почти не выбраться и в котором нет пространства для того, чтобы поорудовать клешнями. Большие просторные трусы — это гораздо удобнее, чем целлофановый пакет в руке или какая-либо сумка на поясе.

Сева плыл, стараясь ничего не касаться. Все здесь висело в пространстве, в вакууме подводного космоса цвели желеобразные растения, на подводной плакучей иве шапкой снега лежала какая-то блевотина. Этот мир был плавлен и гибок, скорость разрушала его очертания. Вдруг Сева увидел узкий коридор поднятой со дна пыли. Это значит, он был замечен издалека. Погоня оказалась короткой. Пыльная трасса заканчивалась облаком, в которое Сева быстро сунул руку — и в ней колко забились хитоновые члены.

Краем глаза Сева задел раскидистый куст. Жертву выдало выглядывающее из-под вьюнка сочленение маленькой лапки, несколько отличающееся цветом от самого куста. Уже не глядя в куст, Сева сунул туда свободную руку и удовлетворенно всплыл.

Еще прошлым летом он мог нырнуть здесь пятнадцать раз подряд и не увидеть ни одного рака. Сегодня он не мог себе такого представить. Глаз долго привыкал, отказываясь видеть в подводных сумерках что-либо живое. Но раки и их следы постепенно стали проявляться. Их становилось все больше.

После всплытия, пока работали руки, тело не шевелилось, стараясь не намутить. За аккуратность он был вознагражден. Погрузившись снова, он оказался в окружении сразу четырех особей. Трое сидели полукругом мордами к Севе, один — чуть в отдалении. Никого не упустить в этой ситуации было трудно, поэтому он наметил двух самых крупных. Протянул руки так, чтобы взять их со спины: так они не видят атаки и не могут пустить в ход клешни. Панцири легли в ладони. Третий из полукруга метнулся хвостом вперед, оставляя по-над дном легкую завесу, но четвертый продолжал сидеть. Наплыв на него, Сева прихватил рака двумя пальцами руки, в которой один уже был зажат. Пора наверх разгружаться.

Крупные раки сделали трусы ощутимо тяжелее. Если ловить таких, то в хранилище не влезет и десятка.

Сева попробовал отправиться в погоню, стараясь найти следы беглеца. Но место сражения заволокло расползающимся дымом, и пришлось плыть наугад.

Вот крышка от грузовика. Сева знал, что она лежит где-то в этом месте, но всякий раз заросшая мхом шина оказывалась частью какого-то иного ландшафта. Он узнавал крышку, но не узнавал окрестностей.

Туда нужно обязательно сунуть руку — раков привлекают черные дыры. Совать голую руку в черноту, в которой даже теоретически возможны только существа чужих видов, — это всегда было нелегко, но Сева никогда не колебался. Да, вот он. Угол атаки самый неудобный — в лоб, пространства для маневра нет. Противник вонзился в пальцы обеими клешнями, Сева придавил сами клешни, решив за них и вытянуть рака. За одну клешню почти невозможно — отрывается, и рак уходит, а за две — пожалуйста.

Всеволод вынырнул и встал на колесо — нужно было повозиться, чтобы отцепить от пальцев врага. Рачьи клешни заканчиваются шипами, которые выполняют роль крюков. Если рвануть, можно если не порвать, то хорошо процарапать кожу. Клешни лучше силой разжать. Он уже привык к тому, что царапины и микропорезы не сходят с его ладоней, наслаиваясь друг на друга. Впрочем, в последнее время их стало меньше — Сева стал ловить аккуратнее.

Сева всплыл лишь на долю секунды — хватануть воздуха — и вновь ушел в глубину.

Он остался в этом мире один, чувствуя, как под давлением тяжелой пустоты пульсирует кровь. Казалось, он уже привык не дышать, казалось, он уже согласен так жить. Он всматривался в мутную перспективу, и пульсирующее воображение рисовало в ней то образ разложившегося человеческого трупа, то образ гигантского рака — царя раков, — способного перекусить его в районе поясницы, наказав человека за зло, причиненное этому миру.

Пульсация стала сильнее, к ней добавился звон, и Сева понял, что заплыл слишком глубоко. Здесь уже раков не бывает, их зона — десятиметровая полоса, начинающаяся при глубине по грудь. Не всплывая, Сева развернулся чуть под углом, чтобы не возвращаться по своим следам, и поплыл к берегу. Донный ландшафт поднимается плавным холмом. На этом холме хвостами к Севе сидели двое. Как только он их увидел, они взмахнули хвостами и торпедами пронеслись под его животом. Сева рванулся за ними, сделав под водой сальто, и увидел, что траектории рачьего бегства уходят в муть — они не остановились, раз взмахнув хвостами. Сева широко загреб руками, набирая скорость, и почувствовал, что воздуха мало. Но он знал, что двигается под водой быстрее противников, взмахнул руками еще раз — и догнал одного, решившего, что он ушел уже достаточно далеко. След второго уходил в глубину. Торопясь, Сева схватил рака неаккуратно, дав ему вгрызться в свою плоть. И теперь он всплывал, всплывал особенно долго.

На такой глубине можно было болтать ногами, не опасаясь взбалмутить воду. Сева отдышался и проплыл ближе к берегу по поверхности, чтобы уйти с глубины.

Нырнул вновь. В голове шумело. Незадействованное сознание освободило подкормку, впитывающую шуму. Поймав еще четырех за три нырка, Сева решил пойти выгрузиться. Когда он выходил, казалось, что на его поясе пробитый спасательный круг, заполненный щебнем. Он осторожно вынул добычу и сложил ее в сумку. Взглянул на лежащие в кроссовке часы: он плывал почти сорок минут. Надо поторопиться. Взял вещи, перенес их на пятнадцать метров в сторону и быстро пошел к воде.

Минут двадцать ему казалось, что он просто собирает свою добычу — неторопливо, как обирают сливу, наклонив к себе тяжелую ветку. Прочесывая берег, Сева постоянно сдвигался вправо, узнавая крупные детали ландшафта: два больших камня, стоящих спина к спине, необитаемая яма, пятачок гладкой скользкой глины, на которой плохо держался налет мути. В этой глине было несколько дыр, крайне удобных для донного поселения. Заглядывать в норы бесполезно — тварь может сидеть в метре от поверхности земли.

Но Сева сунул руку в одну — пусто. Переплыл к следующей — снова пусто. Нужно было подняться и взять воздуха. Но совсем рядом зияла третья нора. Чтобы уже не возвращаться, Сева сунулся и туда. В пальцы вонзились крепкие шипы. Понял, что воткнулся пальцами прямо в рачью морду, где между глаз и под ними, как пики, выступал вперед острейший хитон. Большим и согнутым указательным пальцами Сева попытался схватить тварь прямо за пучок шипов и усов, но противник дернулся и ушел вглубь. Севе нужно было срочно дышать, но он только сунул руку дальше — до самого плеча — и снова достал его, грамотно забившегося в самый угол. Пещера шла под поверхностью дна на глубине полуметра.

У Сева потемнело в глазах, легкие стали неконтролируемо сокращаться, пытаясь вдохнуть, но вся его жизнь сейчас ушла в ноющие кончики пальцев, пытающиеся ухватить колючую морду. Вот, ухватил, потянул, нет, понял, что не сможет волоочь добычу через весь подземный коридор. Сознание впало в панику от нехватки кислорода, движения стали судорожными, предсмертными, разрушительными. Он мог погибнуть прямо здесь, в единоборстве с одним единственным раком. И это был его выбор. Не выпуская колючую морду, Сева плечом, как рычагом, проломил глинистую поверхность пещеры, сокращая путь добычи к поверхности земли. Показалось, что голову сейчас разорвет. Вот разлом дошел до предплечья — и он вытянул рака, мгновенно оттолкнулся от дна обеими ногами и вылетел на поверхность с шумом, почти по поясу, будто подтопленный на время буй.

Рак был мелким, и Сева с досадой его выбросил.

Остановившись отдышаться, он почувствовал, что раздражен. С одной стороны, тем, что ему сопротивлялись, с другой — тем, что на пустом месте повел себя как упрямый баран. «Это меня когда-нибудь убьет», — подумалось отчетливо.

Резко выдохнув, набрал полную грудь и снова нырнул. Взял двоих, один из них — мягкий. К концу июня рачьи панцири обычно уже затвердевают, а этот, видимо, как-то припоздал линять. Его хитоновый покров был чистого голубоватого оттенка, но на ощупь броня была как целлофан — держа его в руках, становилось страшно за содержимое. Сева выбросил рака — он не дотянет даже до рынка, сородичи задавят в сумке.

Минуты полторы Сева просто плыл под водой. Вокруг было красиво и страшно. Он никогда не видел особенной красоты в гниющей падали. Но здесь мир был чужим, непригодным для его жизни, и потому то, что казалось бы отвратительным на суше, здесь было на месте, элементом иного мироздания, в котором ему — Севе — удалось проникнуть. Мироздание всегда прекрасно, если наблюдать его со стороны.

Готовясь к завершению полета, Сева сунул руку в куст, мимо которого он уже проплыл. В ладонь лег крупный бульжник панциря. Сева с удивлением почувствовал необычную для рака тяжесть. Рука дернулась, когда тот ударил мощным хвостом. «Ого! Царь раков», — мелькнуло в голове. Сева всплыл и достал добычу из воды. А затем поднял на лоб маску, чтобы разглядеть поближе.

Таких больших раков Сева не только никогда не ловил, но и не видел. Он был черен, хотя нигде вокруг не было черного дна. Наверное, приполз с моря. Это был самец с огромными — величиной с Севину ладонь — клешнями и сужающимся задом. Сева разглядывал и не мог оторваться от этого красавца, подаренного зачем-то морем.

Он нырнул вновь и маской чуть не ударился в рачью морду — тот аж подлетел на месте от внезапности атаки и был схвачен в своем прыжке. Вылетев из облака пыли, Сева оказался в компании еще двух крупных особей и схватил их одновременно. Поднял голову, увидев идущий поперек его пути след. Справа, обтекаемые плывущими по инерции клубами пыли, виднелись болотного цвета сочленения. Сева ухватил очередного большим пальцем и мизинцем. Уже подобрав ноги для всплытия, он налетел на пятого, стоящего в бойцовой позе прямо перед ним, но свободных пальцев уже не было. Тогда Сева распорядился руками, как культами, зажав противника с двух сторон. Он всплыл с кишасим клубком в руках и сразу двинулся к берегу — завернуть все это в трусы было невозможно. Увидел, что на него смотрят несколько рыбаков, а парочка, пришедшая на побережье позагорать, изумленно поднялась на локтях.

Возвратившись после третьего заплыва, пересчитал раков — пятьдесят два. Решил, что достаточно. Достал из кроссовки часы — первая серьезная вещь, купленная за свои деньги. Полвторого. Хорошо — рано управился, еще бы продать быстро.

Он сел на куст травы, чтобы пообедать и обсохнуть. Резким движением смахнул крупные капли с гусиной кожи плеч и вынул из нагретой сумки целлофановый пакет. Переложенное хлебом сало растопилось, стало прозрачным и особенно смачным. Вдохнув запах простой человеческой пищи, впился в горбушку влажным от мгновенной слюны ртом и раскусил полный соленого тепла зубец домашнего сала.

Он ел, и ему казалось, что с каждым глотательным движением возвращается его человеческий облик, о котором на несколько часов забыл. Он ел то, что должны есть люди. Он ел так, будто долгое время был лишен тепла и уюта, будто по дну реки, когда он на две минуты задерживал дыхание, он на деле проплывал через неизмеримо большую толщу времени, в холоде и одиночестве.

Сева надел брюки поверх сыроватых трусов и пошел к остановке. В троллейбусе он уселся к окну и привалился к стеклу.

Герою нечего сказать.
Ему хватает мало знать.
Герой копает огород.
Он слеп, как крот.

Он штыковой лопаты раб.
Он ее не выбирал.
Он, не умея быть другим,
неумолим.

3

Вскоре после исчезновения отца появился отчим. Это был светловолосый детина с большим сломанным в молодости носом, двумя золотыми зубами и казацкими грубоватыми манерами. Ему было тридцать с небольшим, но он выглядел на сорок, был разведен, где-то у него росла дочь, которую никто никогда не видел. Мать Сергея Анатольевича тетя Зоя была знакомой Татьяны Геннадиевны по ЖЭКу, работала на соседних дворах. Познакомились они той самой зимой, когда семья осталась без отца. Сергей приходил помочь своей матери убрать снег, однажды помог и Татьяне Геннадиевне. Потом пришел еще. Скоро он появился и у них в доме. Сева держался с «дядей Сережей» настороженно, хотя и видел, что мама как-то вдруг превратилась в хохотушку. Сестра Настя приняла дядю Сережу как нового хозяина и с таким удовольствием лезла к нему на колени, что Татьяна Геннадиевна приходилось ее одергивать.

Сева сразу понял, чем Сергей понравился маме. Он был бесстрашен, силен и горяч — отцу Татьяна Геннадиевна отказывала в этих качествах. Мама признавалась детям, что никогда не чувствовала себя такой защищенной.

Весной она сообщила, что в их семье ожидается пополнение. Сергей устроился водителем грузовика, хотя один глаз у него не видел — в молодости он разбился на мотоцикле. Проработал месяца два и уволился. На конец сентября была запланирована свадьба. В ноябре маме рожать. Однажды вечером в сентябре дядя Сергей накричал на Татьяну Геннадиевну: она попрекнула его тем, что он понапрасну ругается на свою мать. Кричал он невиданно, выяснилось, что он здесь всех кормит, что Сева, здоровый бугай, сидит у матери на шее. На следующий день сцена повторилась, но в каком-то кошмарном перевертыше: дядя Сережа кричал на мать, чтобы она не смела рта разевать на тетю Зою, которую он сам вчера обкладывал. Татьяна Геннадиевна рассвирепела. Сева сидел в спальне, пока не услышал, что дядя Сережа бросился на мать с кулаками. Он выскочил и, не глядя, влепил ему кулаком в зубы. Брызнула кровь. Получив в ответ, Сева упал. Мать с плачем бросилась разнимать — и все утихло. У Севы была большая

ссадина на переносице и лбу. У Сергея Анатольевича были выбиты два передних зуба и порвана верхняя губа. Его рубашка была залита кровью. Мама не знала, что делать. Губу нужно было зашивать. Дядя Сережа, прежде чем ехать в травмпункт, попросил водки. Появилась водка. Он махом выпил граненый стакан. Губу зашили. А дядя Сережа запил, чего не делал, как говорили, несколько лет. Татьяна Геннадиевна пьющими считала тех, кто регулярно пьет. Дядя Сережа пил нерегулярно. Он пил один раз в два-три месяца. Продолжалось это полторы-две недели. Весь этот срок дядя Сергей ползал по полу, блевал, ходил под себя. Ему чудилось то, чего не было, он мог тысячу раз повторить «дай на бутылку», он требовал разговора по душам, просыпался и тут же требовал отчета в отношении к нему, оскорблял детей, рожденных от другого мужчины, уходил куда-то, а потом бился в трещащую дверь, не различая дня и ночи. Только после нескольких лет мама научилась выгонять своего мужа жить на время запоя к его матери. Но первые разы она прошла от звонка до звонка в надежде, что нового мужа, с которым они все-таки расписались в сентябре, можно убедить или вылечить. Запой кончался в наркологическом диспансере, когда он уже не мог донести рюмку — так сильно тряслись руки, а когда доносил — тут же ее сблевывал.

У семьи началась новая жизнь. Здесь больше никто не смеялся. На свадебной фотографии муж получился с распухшей губой и пьяными глазами, а мама — с заплаканным лицом, на котором читалось отчаянье. В ноябре Татьяна Геннадиевна родила девочку, ее назвали Светланой. Любая работа, на которую устраивался дядя Сережа, заканчивалась вместе с запоем. Сева дрался с ним еще трижды. Отчим грозился его убить. Несколько раз Сева с Татьяной Геннадиевной разрабатывали планы по выпроваживанию супруга. «Мама, нужно решить один раз, только реши», — говорил Сева. Она его выгоняла, но он всегда возвращался, приезжал к ней на работу или каждый день ходил к дочке. Они постоянно мирились. Мирились месяца на полтора, потом начинались ссоры, за ними следовал запой. Татьяна Геннадиевна, конечно, ничего подобного до сих пор не видала. Временами казалось, что из него начинает течь яд — и этот процесс не мог остановить никто. Мама нападок на детей не прощала и выгоняла нового мужа снова. Они оба нападали. Своими спорами дядя Сережа, как паук, оплел жену, незаметно затащив ее в дыру своего гнилого сознания, в котором каждое слово должно было ранить, где твое доверие не просто могло быть, но обязательно будет использовано против тебя, — сознания, которое не умеет уважать, которое не принадлежит само себе и пожирает только близких, потому что остальные не подпускают его на пушечный выстрел. Татьяна Геннадиевна чувствовала его злобу и отбивалась, и нападала сама, но это и был его способ существования, который она поневоле разделила.

Года через полтора после ухода в этот дом заглянул отец. Он не узнал матери, а она смотрела на него, как на персонажа из детской сказки, которому непонятно что понадобилось в реальном мире. Изменения были уже необратимы. Маленькая Света лежала в колыбели.

А весной тетя Зоя купила своему сыну мотоцикл «Иж» с коляской, и тот начал регулярно выезжать на рыбалку и за раками. Несколько раз они ездили вместе с Севой. Выезжали обычно пораньше по юго-восточной дороге из Волгодонска. Эта дорога от остальных отличалась тем, что почти сразу за городом становилась грунтовой. Там начинались хутора, прилепленные, как экземы, к низким пыльным холмам, — Серебряковка, Петухи, Семенкин, Верховоломов... Сева сидел на заднем сидении, в мотоциклетной коляске лежала драга, тормасок, пустые ведра и мешок, одежда и обувь, в которых через полтора часа после отъезда они ползут в вонючую жижу, выделяющую пузырьки сероводорода, если в нее наступить. После нескольких таких поездок по телу пошла сыпь, а простой порез на голени загноился и не заживал около месяца. Дорогу Сева любил больше всего.

Ветер дико шумел в ушах, позволяя вслух петь песни без опасения быть услышанным.

Сева не разговаривал с отчимом месяцами. Даже на пустынном берегу, сидя в высокой траве над пакетом с харчами, они почти не говорили. Иногда случались мужские разговоры о деле — о том, куда лучше поехать, чем ловить, где зайти, но после возвращения домой отчим говорил матери про Севу гадости. Двуличная натура — в лицо сказать не может. И уже летом Сева стал ходить за раками один — туда, где только он мог их поймать.

4

Базара Сева не любил. Он чувствовал усилие, к которому его принуждает это пространство. Базар требовал участия, требовал вспомнить свой словарь, повторить ключевые фразы. И по мере того, как тело шло от автобусной остановки по асфальтовой дорожке и приближалось к забору, с которого начинался рынок и на котором торгоши развешивали пестрые ковры, Сева будто возвращал контроль над ним. Рынок делал из него пружину, готовую реагировать на каждое движение, готовую разжаться в любой момент с заданной силой.

Это был небольшой огороженный рынок, привлекающий в основном жителей ближайших микрорайонов. За ограду Сева не пошел — его место — краю — там, куда выплескиваются не вместившиеся или просто случайные торговцы. Лучшие места — на тротуаре перед рынком. Сюда шли все колхозники, дачники и вольные торгоши, нашедшие что продать. Кто-то подгонял сюда задом машины, которые едва протискивались мимо обтесанных бамперами кленов. Задний багажник открывался, и миру являлась та или иная рассыпуха.

Прямо перед рынком места Севе не хватило. Он прошел чуть дальше. Тротуар пересекала дорога, по которой машины въезжали на прибазарную стоянку. Торговый ряд продолжался и на той стороне дороги. Сева стал подсаженцем возле палатки, в которой бойко шла торговля овощами.

Поставил к бордюру открытую сумку.

— Почему рак? — спросили сразу двое.

— Пять тысяч десятков.

— Так мелкие! — возмутился один.

— Не мелкие, а крупные, — невозмутимо поправил Сева.

Сева знал, что крупнее, чем он, никто раков на этом базаре не продает. Ни сегодня, ни вчера. Крупных просто негде взять. Раколовы-коммерсанты за раками ездят на Сал. Ежедневно вдоль и поперек эта речка вычищается бреднями и драгами. Все пологие подходы к Салу засыпаны вытащенной на берег ракушкой и тиной. Но все знают, что раки в этой реке все же есть. Они считаются особо вкусными, потому что вода в реке солоновата. Но они мелкие. А у Севы даже мелкие — крупнее сальских.

Раки продавались по десять штук. В зависимости от размера можно было брать от двух с половиной до пяти тысяч за десяток. Сева сам удивлялся этим ценам — за пять тысяч можно было купить хороший кусок мяса или даже футболку. Еще в прошлом году он десяток продавал по тысяче, но цены на продукты росли особенно быстро. Севе было удивительно, что кто-то предпочитает мясу раков. «Я бы никогда не купил», — иногда, называя цену, думал он, но отгонял эти мысли.

Присев на корточки, он выложил наверх самых крупных. Картину портил гигант, рядом с которым все остальные мельчали. Сева сунул его в карман сумки, решив принести морское чудовище домой.

Подошел стриженный под машинку парень лет тридцати, в шортах, пляжных тапках. Одной рукой он прижимал барсетку, другой шелкал се-

мечки. Он присел возле сумки, поворошил в ней и спросил цену. Сказал, что возьмет три десятка. Тут Сева проморгал момент — покупатель начал сам выбирать раков. Он выбирал, а Сева почти стонал — выбрал, естественно, самых-самых. У оставшихся вид уже совсем не тот. Но три десятка ушло по хорошей цене.

Казалось, что солнце потрескивало. Последние полчаса цену никто не спрашивал. Время — пятый час. Сева видел, что пара тварей на солнцепеке уже сдохли. Ему хотелось пить, ноги гудели от перетаптывания на месте. Он сел на корточки в скудную тень саженца, решив, что подождет еще минут двадцать. Он невольно думал о том, что покупку никак нельзя предсказать. Можно принести на базар товар, отогнать тех, кто подбежал сразу и попросил уступить, а через четыре часа унести товар домой, не дождавшись больше ни единой поклевки. А потом продать его по пути домой случайному прохожему, который сам остановит и попросит уступить ему содержимое ведра. Иногда Сева даже менял места, всякий раз раскладываясь так, будто он только пришел, — это привлекает покупателя. Но в этот раз он не хотел переходить. Он потерял концентрацию, а с нею и ощущение, что он отсюда, что он здесь нужен. Он смотрел чуть поверх своей сумки и не хотел слышать шумящего вокруг мира. Но увидел, что с края раззявленной сумки кувыркнулся хитоновый панцирь — кому-то в сумке до сих пор не спалось. Сева встал.

Открыл глаза и увидел над собой человек пять. Они склонились над ним. Сева поднял голову и с удивлением осознал, что лежит на земле.

— Парень, ты как? — спросил мужик с брюхом, торговавший в палатке овощами.

— Да нормально, — не понимая вопроса, ответил Сева.

— Ну ты напугал! — совершенно не напуганно заявила тетка в фартуке. — Долбануться так! Ты бы шел домой.

— Солнечный удар! — сказал кто-то.

— Обморок.

— У меня не бывает солнечных ударов, — произнес Сева так, что никто не услышал.

Впрочем, рядом уже никого не было. С бутылкой воды подбежал худощавый мужчина. По торопливости было видно, что последний раз он видел Севу распростертым.

Он пес, грызущий свою кость.
И пусть весь мир хоть вкривь, хоть вкось.
Его то голод жрал, то долг,
чтоб он замолк.

Он яму роет под сортир.
И в этот путь в подземный мир,
когда чем глубже, тем страшней,
не взять друзей.

5

Всеволод шел домой по идущей через весь Старый город улице Ленина. Открытая кожа немного горела и пощипывала, внутри было нечто близкое к вакууму. Даже вдох, казалось, заполнял тело воздухом. Но его приходилось выдыхать — и внутри становилось еще более пусто.

Он увидел в какой-то момент себя со стороны: обветренного, с колющими от сотен порезов ладонями, с выгоревшими ресницами и бровями. В одежде, в которой можно без потерь валяться на земле. Сейчас даже тело казалось чужим, навязанным ему, не выражающим его. Но чем более чужим оно казалось, тем острее было ощущение запертости в нем. Как будто солнце, вода и ветер, ежедневно старящие его, загоняли нечто на-

стоящее в нем еще глубже — туда, где шансы на разделенность стремились к нулю. Взрослый мужчина, он иногда чувствовал себя как сказочная принцесса, заточенная в башне, из которой ее должны выволочить. Но при этом все, что он делал до сих пор, было старательным возведением и укреплением этой башни. А принцесса-душа где-то в полной темени за девятью кордонами черствой кожи тихонько напевала, каждый миг одинаково готовая к счастью и горю.

Навстречу прошел парень из параллельного класса. Они чуть не коснулись друг друга плечом, но не поздоровались, хотя в школе такого не бывало. Сева увидел, что, скользя по нему взглядом, школьный знакомый его просто не узнал, — и тоже прошел мимо. Для того чтобы потеряться, остаться только с самим собой, достаточно неброско одеться, держаться поближе к земле, где никто не поднимает глаз до уровня лица.

И все же была в этом ощущении острая нота свободы. Она пело о том, что ты можешь быть кем угодно. Каждое движение лицевых мышц рождает образ какого-то нового человека. Один непрестанно прищуривался на солнце, как ковбой, другой капризно выкатывал нижнюю губу, на лице третьего застыла возмущенно заломленная бровь, пятый был кремень с напряденными скулами... А сколько возможностей дает одежда — на каждую вещь свой образ. Некоторые образы были Севе неизвестны и любопытны. И это многообразие легко выводило на чувство, что в этом мире он, лично он может все, он может быть кем угодно. А в этом человеке, который его не узнал, Сева такой способности не чувствовал. Нет, он его не узнал, потому что этот сверчок знает свой шесток — и дальше не хочет или не способен ничего видеть. А у Севы нет никакого шестка. Он способен занять практически любой, Сева подумает еще, какой именно. Он еще был никто, возможно, еще даже не человек, а так, персть, исходный материал для человека. Но в ней уже была жизнь, пульсация сознания, орган зрения...

Улица Ленина была двумя полосками дороги, между которыми тянулась обсаженная тополями аллея. Движение транспорта здесь было ограничено, поэтому люди свободно могли гулять по широким автомобильным полосам. Могли, но не гуляли. Метрах в тридцати перед Севой неспешно топали три здоровенных детины с массивными шеями, в футболках, обнажающих широкие плечи. Но вот послышался редкий на этой улице рев двигателя. Вишневая «девятка» шла так, будто прохожих здесь не было. Когда она проносилась мимо внушительных ребят, раздался несильный хлопок — автомобиль задел зеркалом за руку крайнего. Метров через сорок «девятка», заскрипев тормозами, встала и тут же с проворотами дала задний ход. Поравнявшись с парнями, автомобиль с темными стеклами остановился. У того, кто распахнул дверь, времени не было.

Таких людей практически нельзя увидеть на улице. Они не ходят среди смертных — они приходят за ними в основном по ночам. Его чудовищные мышцы сократились, выбрасывая тело из «девятки». Это была особь уже какого-то другого вида. Быстрые движения столь большого тела в майке-борцовке создавали ощущение нереальности. Дядя в три шага подошел к парню, коснувшись его автомобиля, и нанес боковой удар в челюсть. Севе показалось, что уже в момент соприкосновения с кулаком жертва потеряла сознание. Послышался тупой удар тела об асфальт. Царь-рак коротко глянул на оставшихся, убедился в их оцепенении, быстро сел в машину и ударил по газам. У Севы стучало сердце от понимания, что он — как и любой — мог бы быть на месте павшего.

«Когда он успел так накачаться?» — невольно подумал Сева.

Бум дворовых бригад, рэкета и крыш для бизнеса начался, в общем-то, недавно. В городе открылось десятка два подвалов, где бойцы тягали «железо». Боксерские, борцовские секции, где ранее готовили спортсменов, быстро получили массовые заказы на подготовку быков и убийц. Помимо них, через пару лет после показа в этом городе первых видеофильмов с эффектными восточными единоборствами, открылись секции тхэквондо,

каратэ, ушу, айкидо, кунг-фу и просто рукопашного боя. О спортивной карьере в этих секциях уже никто не думал. Все готовили себя — одни к защите, другие к нападению. Но все это началось совсем недавно. А чтобы отрастить такие мышцы, нужно много лет не вылезать из спортзала.

Только что было так приятно быть незнакомцем даже среди знакомых. Так много обещало умение растворяться в толпе, принимать ее серый цвет, пряча свое всемогущество, быть на три шага впереди каждого, чьим объектом внимания ты можешь стать. Только что казалось, что найдена формула безопасности, некое текучее состояние, в котором ты постоянно оказываешься неопознан, остаешься никому не обязанным. Но у этого состояния была и совсем другая, очень приземленная сторона — полное отсутствие тыла. Если тебя найдет злая сила — а это может произойти так же случайно, как это только что было на улице, — ты перед нею будешь беззащитен. Город расчерчен по зонам влияния уличных банд. У каждой зоны свое название — Ливерпуль, Париж, Тридцатник, Дворянское гнездо. Встретить лихого человека, который бы никого не представлял, было сложно. Столкновение с ним — это не бой один на один, это вызов вполне определенной организованной группе. Победить в этом единоборстве в одиночку шансов почти не было. А если не в одиночку, значит в составе другой группировки. Любой здоровый парень проходил через этот выбор.

— Пойдем, я тебя познакомлю.

Из-за железных дверей пахло подвалом. Пригнув голову, чтобы не задеть за трубу со стекловатой, Сева шел по темному коридору вслед за Кольком. Вошли в освещенную комнату. На пыльном, но подметенном полу стоит разбитый коричневый диван, перед ним самодельный столик — доска на двух ящиках. Ярик, Димон и Стас играют в козла. Ярик сидит в пидорке на макушке, Димон в азарте закинул на общий диван ногу с грязным ботинком, Стас держит карты двумя руками, в зубах сигарета.

— Ногу убрал! — входя, орет Колек и тянет руку здороваться. — Это — Сева.

— Да мы знакомы.

Сева тут впервые, но на него сразу смотрят иначе, чем раньше наверху, — как на своего: раз порог пересек, значит уже наш.

Знакомы, действительно, все лица. Все — из одной школы. Со Стасом так и вовсе из одного класса. Но с большинством не разговаривал никогда. А Стас не знает о нем ничего, кроме того, что парень Сева крепкий, смысленный и серьезный. Ценный может оказаться кадр. Для серьезных дел.

Димон переводит стрелки — говорит, что они утром в мусорном ведре видели грязные тампоны — вчера на этом диване кто-то драл сосок, у кого-то из участников явно была течка. Оказывается, что Ярик знает, кто тут был. Сева между делом отмечает, что соски — это Настя из второго подъезда и Лиза с двадцать второго квартала. Он не общался с ними, но об их существовании знает с раннего детства и даже может вспомнить, как они выглядят. Настя всегда казалась домашним ребенком, Лиза — взрослой и деловой женщиной. Но, как выражается Ярик, девочки по глупости попали — и их наказали. «Как они будут выглядеть завтра?» — думает Сева.

Он молча слушает и сходит за своего. Входящие сюда оставляют жалость к лохам снаружи. Здесь территория сильных жестоких хозяев жизни.

Сева видит, что ребятам, к которым он даже никогда не присматривался, настолько они не вызывали интереса, нравятся их роли. Одна коллективная роль на всех. Им уютно здесь, внутри маленького роя, где разрешается пихаться локтями, ржать, обзывать, но — не сомневаться в своем праве наказывать.

В глубине комнаты штанга на стойках, под ней скамья для жима лежа. Несколько гантелей, в углу боксерский мешок, подвешенный на крюке. Сева не может понять, кто же тут занимается — уж точно не эти клоуны.

Сева примеряет этих людей к своей жизни. Он зашел сюда понюхать воздух мужского мира. Он явственно чувствует скуку, но сохраняет настороженность в чужом месте. Он вспоминает себя идущего по парку с Валентиной, у которой в руке букет желтых кленовых листьев. Валить надо было эту соску, — подсказывает готовое решение здешний спертый воздух. Сева про себя усмежается: всего делов-то.

Подсаживается Стас, в партии его заменил Колек. Пока остальные огрызаются, тихо говорит:

— Правильно, что пришел. А то ходишь без дела...

— Не без дела, Стас.

— Ну да, ну да...

— Сюда кто-то из наших приходит еще?

— Юрец бывает. Ну и Артем. Но это как бы уже не наш уровень.

— Ты о чем?

— Он со старшими уже. Два киоска по городу лично контролирует. Не наш уровень.

— А вы чем занимаетесь? — Сева разговаривал, не глядя на Стаса, чувствуя, что тот не отрывая глаз от его лица.

— Ждем сигнала.

Сева поднял на него глаза и всмотрелся долгим взглядом. Стас гримасой пояснил: речь именно о том, о чем ты подумал.

— Да, ждем сигнала, Сева.

— А чего ждать-то? Часто он приходит? Кто еще сигналы подает?

— Сюда заходят только он и Тарас.

— Что — в долю не берут?

— Даже не заикайся об этом. Артем не любит этого страшно. Обязательно тебя потом так подставит... Там уже яйца железные надо иметь.

Смотрит на часы — он здесь уже почти час. Какое знакомое ощущение: время замерло. Оно куда не идет, потому что никто куда не идет. «Мы здесь сидим и ждем, когда хоть что-нибудь наполнит нашу жизнь, — подумал Сева. — Какая неожиданная покорность для бандитов».

Артем и Тарас зашли совершенно бесшумно — и позы сразу стали напряженными. Тарас — здоровый высокий детина, школу окончил два года назад. Молча прошел в угол и ударил с правой — тяжелый мешок сорвался с крюка и грохнулся о стену. «Отработанный спецэффект», — отметил Сева. Рядом уже стоял Артем — руку он жал рывком, мгновенно сжимая, сминая чужую ладонь. Но Сева эту манеру знал. Артем был тихим человеком, ростом еле достающим ему до плеча. Русоволосый, бледно одетый, очень спокойный, он мог сойти за невзрачную, незаметную фигуру. Но Сева знал, что он гораздо беспощаднее открытого Тараса, кулаком ломавшего кирпичи. Артема в семь лет отдали на борьбу, потому он остался низок. В двенадцать он переключился на бокс, два года назад выиграл областные соревнования в своем весе. Он имел идеально развитое атлетическое тело, которое выглядывало только на уроках физкультуры — еще в те времена, когда он на них ходил. Артем лишь скользнул по Севе взглядом — ни одной эмоции не прибавилось в пустых серых глазах. Это был хороший взгляд — в нем не было презрения.

Здесь было совсем другое строение общества, чем в школе, — оно преобразало каждого из них. Было сейчас забавно вспомнить о том, что еще не всем исполнилось по шестнадцать. Никакого детства давно уже не было, этому поколению его не хватило.

Тарас сразу взялся за дело.

— Так, братва, если я еще раз почувствую запах дыма — буду жестоко иметь. Всем ясно? Слушай команду. Сейчас по этому двору проходит некто Анатолий, одно нам знакомое чмо. Задача: перехватить и немножко нахлобучить. Вперед, а то замерзнете.

Все четверо сорвались — не дотушив бычка, не убрав карты. Стало пусто секунды за три. Сева остался сидеть на диване. Он еще ничего не

воспринимал на свой счет, не ощущая себя частью роя. Возникла пауза, наконец Сева хрустнул пальцами.

— А ты чего не пошел? — громко спросил Тарас.

— На хер оно мне надо, — медленно проговорил Сева и заскучал лицом.

Тарас смотрел на него, но ничего не говорил.

— Ты же по Олегу знаешь ситуацию — какой объем огурцов у него в сезон можно взять? — солидно, взрослым баритоном спросил Артем.

— Обычно они засевают два поля — килограмм двести точно, — ответил Сева. Он не знал точно ни про два поля, ни про двести килограмм.

— А если больше надо?

— Надо с ним говорить, у него вся родня в этом деле.

Артем пошарил в глубоком кармане кожаной куртки, вынул большой ключ. Сева только теперь заметил еще одну железную дверь, сделанную заподлицо. Артем повернул ключ, вошел в темноту и включил свет. Он оказался ярким — и осветил почти идеальный спортивный зал с резиновыми плитками на полу.

— Сильно, — сказал Сева. — Откуда такое оборудование?

— Трофейное, — усмехнулся Тарас.

— Ты с нами? — произнес Артем.

Вот он, момент выбора. Прямой путь к старшим, через голову всей этой шушеры. Серьезные люди, серьезные дела.

— Не сегодня, — сказал Сева.

Артем даже не глянул на него, Тарас посмотрел внимательно.

— Ты приходи. И на мальчиков не смотри. Артем тебе все скажет.

— Я приду, — ответил Сева, зная, что не сделает этого ни в коем случае. Он точно еще не понимал почему, но хорошо чувствовал, что второй раз отсюда так просто будет не выйти.

Была определенная выгода в том, чтобы не быть ни с кем, быть пустым местом, о котором точно никто не знает, что оно пустое, — чтобы жить той жизнью, которой ты хочешь жить.

6

Дома была только мама с маленькой Светой. Настя гуляла во дворе. Она подбежала к брату, когда он заходил в подъезд, и попросила передать маме, что она еще часик погуляет. Дома про обморок он говорить не стал. Показал рака-гиганта. Рекорд хотелось как-то зафиксировать. Раков меряют двумя способами — от морды до хвоста либо между клешнями. Сева нашел большую линейку и раскинул своей добыче в сторону лапы. Между клешнями вместились сорок семь сантиметров. Очень неплохо — такое расстояние нестыдно и руками показать.

Татьяна Геннадиевна смотрела на гиганта так, как будто он должен что-то сказать о сыне, о том, где тот лазит.

Сева сунул оставшихся раков в поддон холодильника, сверху положил чудище, помыл с мылом руки, чтобы не воняли тиной, и налил себе борща.

— Сева, я хотела с тобой посоветоваться, — сказала Татьяна Геннадиевна, вешая на крючок кухонное полотенце. — Я думаю, не попробовать ли мне жарить семечки на продажу. Вон тетя Зоя вообще живет на этих семечках.

— А как их продавать? — механически спросил Сева.

— Да тут, на пяточке. Там же сейчас стоят, торгуют.

Внутри у Севы будто что-то защемило: показалось, что если мать туда уйдет, то сделает еще один шаг от него. Тетя Зоя была матерью отчима — бойкой, любящей и несправедливой матерью, всю жизнь работающей на своих гулящих детей, не видящей их пороков. Сева понял, что мама уже приняла решение, что муж ее уже обработал как он умеет, когда не ему самому нужно будет жар загребать.

— Мам, если ты туда пойдешь, ты оттуда уже не вылезешь.

— Не поняла. А что в этом такого? Я вообще-то сейчас на своей основной работе мусоропроводы чищу — и ничего.

— Поищи что-нибудь другое. Зачем сразу браться за самое...

— А что я еще могу? Институт я так и не закончила. Куда меня возьмут?

— Я не хочу, чтобы ты продавала семечки. Мы же и так прожить сможем.

— А что мы видим? Насте к школе нужна обновка, да и что у нас холодильник пустой? Вы у меня растете, ничего не видите! Мне тоже иногда хочется чего-нибудь вкусенького.

Татьяна Геннадиевна подошла с бутылочкой к кровати, по которой ползала маленькая Света. Когда мама взяла ее на руки, та немедленно открыла рот и, поторапливая, взмахнула рукой, в которой сжимала погремушку. Сева присел на кровать рядом с матерью и стал смотреть, как малышка ест. Мама тоже замолчала. Это была минута безмятежности. Сева смотрел на чистое личико, на светлые кудряшки, которые было жалко срезать, на такие сосредоточенные сейчас серые глазки. Поднял взгляд на маму, она тоже взглянула на сына с редкой нежностью, для которой в их жизни почти не оставалось места. Ее глубокие темно-серые глаза, так легко туманящиеся, сейчас были ясны. Они встретились взглядами и невольно, без причины улыбнулись друг другу.

— Севка, какой ты у меня большой вырос, — произнесла Татьяна Геннадиевна.

— Да, — просто ответил Сева.

Он встал, прошел их маленький зал, напротив телевизора поставил гладильную доску и включил тяжелый утюг. На диване лежал огромный ком высохших пеленок.

Окончив кормить, мама утерла Свете ротик и снова пустила ее на кровать. С краю лежали большие подушки, через которые восьмимесячный ребенок не смог бы легко перебраться.

— Где эта Настька бегает? — вспомнила мать и подалась к окну.

— Я ее видел во дворе — она сказала, что через час придет.

— А ты сегодня дома?

— Поглажу и пойду на тренировку.

— Откуда у тебя силы берутся.

Белье пересохло, Сева пошел на кухню и набрал стакан воды, чтобы распылить ее губами. В зале мама включила телевизор.

7

Эта повседневность требовала концентрации на себе. Иначе утонешь, продешевишь, попадешься под горячую руку, собьешь дыхание, не добежишь, вляпаешься, будешь растоптан и унижен. Еще три года назад Сева был трусоватым фантазером, который боялся ходить по вечерам в темноте в общий душ на первом этаже, потому что ему чудился за стенкой лежащий на кафельном полу в черном пальто мертвый человек. Вечером, отворачиваясь перед сном к стенке, он убаюкивал себя нескончаемой историей про спасение самой симпатичной одноклассницы от индейцев, обнаруженных на необитаемом острове. Индейцы изъяснялись на ломаном французском, который Сева только начал учить, а вооружен молодой человек был малокалиберной винтовкой, из которой полгода учился стрелять на стадионе «Труд» — первой его постоянной секцией было военно-прикладное многоборье. Его называли впечатлительным мальчиком. Однажды родители взяли его с собой на фильм «Кинг Конг жив» — и Сева, не такой уже и маленький, выскочил из зала после первой же сцены расстрела большой обезьяны. Потом ночью он говорил во сне. Любое прикосновение искусства было слишком сильным разрядом, который либо уносил, либо травмировал его.

Отец лепил. На стене висела композиция стоящего на фоне скал и звезд Водолея — папа увидел открытку, изображающую в образной форме астрологический знак, под которым родились и папа, и мама, — и перенес ее в пластилин, увеличив в масштабе раз в пять. Изделие было покрыто лаком и повешено на стену. Это было первое искусство в жизни юного Всеволода. Он мог ее разглядывать подолгу. Как он передал скалы, как он почувствовал естественность их углов. Как неожиданно поверх легли звезды, их размазанные сильным уверенным пальцем лучи. Натуралистичность мускулистого тела Водолея как-то сочеталась с волшебством текущего поверх его бедер млечного пути. Сева впитывал не столько мозгом, сколько глазом. Отцу был дан какой-то первозданный дар подражательства. Он мог вылепить практически все. Он смотрел на изображение и перерисовывал его один в один. Он только не мог придумать, что именно лепить или рисовать. У него не было и, главное, не могло быть идей. В этом отсутствии идей была природа его неосознанного дара. Сева же в том, что глубоко между делом выходило из-под рук отца, видел не столько подражание, сколько преобразование, он видел, как чужое и мертвое становилось живым и своим. Уже в девять лет у него был настоящий фанерный ящик пластилина. В нем ночевали русская и немецкая танковые армии. У каждого танка размером со спичечный коробок были по-отдельности вылеплены колеса, гусеницы, пулеметы, люки, топливные баки. У каждого солдатика были вылеплены нагрудные карманы и награды, головные уборы и погоны, сапоги. Этот мир был гораздо значительнее реальности. Но реальность наступала. Дважды мама выбрасывала весь этот ящик по той причине, что Сева замазал палас. Один раз Сева сумел начать все сначала, а второй не сумел — подступала новая жизнь. Отчим первым делом повесил на стене толстый пресс из газет, сверху сбитый двумя рейками, — чтобы набивать кулаки. Это произведение искусства было повешено как раз на том месте, где раньше висел пластилиновый Водолей.

И Сева набил кулаки.

Он научился не задавать лишних вопросов и не лезть никому в душу. Он никогда ни у кого ничего не спрашивал, не просил совета, пресекал поучения и бесплатные рекомендации. Он знал, как разговаривать с людьми и уходить от их влияния, как молча идти к маленькой цели, не умея оценить того, что вообще имеется возможность идти к цели. Он как-то выучил и принял, что никто ему ничем не обязан: общество не обязано его искать и занимать, друг не обязан дружить, любимая — любить, родители — оберегать. Изначально, как в математической задачке, ничего не дано. Сева был новый, только-только народившийся вид. Вид, лишенный исторических травм. Он вызрел там, где мерцало звенящее марево, а ребенок сидел на корточках на обочине грунтовой дороги и неторопливо выковыривал семечки из свежесорванного на чужом поле подсолнуха. Броня этой бессобытийности защитила его, не дала бросить в топку слабым и незрелым. А быть глупцом не так страшно.

В школе не было коллектива, ученики общались по два-три человека. Класс был моделью нового общества, где нужно уметь договариваться, чтобы не вести войну против всех. Если кто-то не умел говорить так, чтобы всем остальным не хотелось его заткнуть, никто ему не сочувствовал, когда дело доходило до расправы — моральной, а если надо, то и физической. О многих своих одноклассниках по окончании школы Сева знал лишь то, какие оценки они получали, например, по математике, — и ничего больше. Для предыдущих поколений это было бы дикостью, да и теперь пахло какой-то бытовой неререфлексируемой жестокостью, но — она очень дисциплинировала.

Сквозь эту броню прорвалась только песня. Ненародный голос рока — героического эпоса нового времени. Это был эпос о борьбе за свободу — человека с демонами, вызывающих демонов — с обезличенной толпой. Рок на самом деле звучал странно. Когда Сева вслушивался в слова альбомов

«Шестой лесничий» или «Группа крови», он ощущал, что он уже из другого времени. Где нет никакого «мы», которое пришло, чтобы «действовать дальше». Где трудно объяснить, что это за страшный образ такой — «лесничий». Где смехотворным кажется весь советский абсурд «Тоталитарного рэпа». Где слова «И вот мы делаем шаг / На недостроенный мост — / Мы поверили звездам, / И каждый кричит: „Я готов!“» звучали наивно. Но что-то откликалось. Откликалось, как ни на что другое. Потому что по другую сторону были воровская фея и просоветченные школьные педагоги. Поле настоящей борьбы обнаружилось — оно было внутри. Если ты не знаешь, когда и от чего я умру, — а ты не знаешь! — значит ты не подозреваешь, какой выбор и почему меня мучает, — и оттого ты не имеешь ни малейших прав в моей ничтожной жизни. Такова рабочая логика. Но она залегала где-то очень глубоко — добраться до нее, заподозрить само существование этого ядрышка внутри конкретного Всеволода Калабухова было затруднительно. Сева сливался с внешней средой. Он не возмущал своим присутствием пространства, осторожно входил в него, не вызывая на себя не только огня, но и внимания. Он чувствовал язык пространства, чувствовал регистры речи. Он обезьянничал. Порой ему самому казалось, что пространство могло сделать из него другого человека. И чужие люди — они тоже были частью пространства, закреплены за ним. Поэтому с ними не стоило соревноваться — им надо было всего лишь соответствовать. Насмешнику надо вернуть шутку, гаркающего прораба — поставить на место, с университетским преподавателем — завести диспут, с девочкой — говорить глупости. Разве от Севы убудет? Это же он к ним пришел, а не они к нему. Куда к нему вообще можно было прийти? От какого места себя отсчитывать, Сева не знал — не назовешь же таким местом песню.

Хотя можно и назвать. Только не любую песню — свою. Первые свои были еще в школе, но они были случайными вариациями из небогатой копилки мотивов. Когда появилась первая по-настоящему своя, он понял это сразу. Когда она появилась, он пел ее много дней — не десятки, а сотни раз. Пел с гитарой и без нее, шнуруя ботинки и чистя зубы, поглощая самодельный борщ и погружаясь в сон. Он обкатывал ее, он разглядывал с ее помощью себя, вертел так и эдак, будто не мог на себя насмотреться. Мелодия победила голос, в остатке он зазвучал ровно настолько, чтобы могла раскрыться мелодия, и без каких-либо намеков на свои собственные возможности. Его собственная интонация оказалась неожиданно спокойной. Но это было спокойствие не идиллии, а драмы, лабиринт которой был прост и гармоничен.

Милая моя,
 мои звери меня съедят.
 Мои звери
 голодно воют.
 Мои звери
 боятся тебя.
 Но ты
 не со мной.

И как ни менял он голос, интонацию, как ни варьировал напряжение — песня оставалась плоть от плоти его самого. Это было новое чувство.

8

Тренер Виктор Сергеевич жил в соседнем подъезде, но встречались они только на стадионе. У Севы сегодня была индивидуальная программа — кросс. В похожей на гараж конуре с железными воротами, выбитой у администрации стадиона под раздевалку, он переоделся в выцветшее синее

трико, натянул полукеды. К выходу из вечно пустого стадиона двинулся пешком, разминаясь перед забегом.

Если бы кто-то спросил Сева, любит ли он бегать, он бы, не задумываясь, ответил «нет». Сказал бы, что бег мучителен, вспомнив, как иногда на длинных дистанциях немеют от усталости ноющие конечности, как трудно выплюнуть после финиша свалевшийся в горле комок тягучей слюны. Но этого вопроса Сева никто не задавал, поэтому и ужасы изнурительного бега оставались неосознанными.

Он вышел из ворот стадиона и потрусил в сторону хлебозавода. Маршрут был давно проложен. Несмотря на утренний заплыв, Сева чувствовал, что свеж — тело, чьи незадействованные силы потревожили, будто само рвалось вперед, стремясь перепрыгнуть препятствие, а не обежать его. Но Сева придерживал себя, зная скоротечность этой легкости. Он помнил свои первые забеги, помнил, как быстро легкость сменяется свинцовой тяжестью в ногах и ломотой в суставах. Если дать себе волю, значит — не добежать никогда, слохнуть в кустах, сипло отхаркиваясь и держась за печень.

Виктор Сергеевич говорил, что профессионалы отдыхают на лету, когда обе ноги в воздухе. Сева старался не сбить дыхание, нащупавшее паровозный ритм.

Возле хлебокомбината он свернул и перебежал через дорогу — на улицу Советскую, которая выведет к парку «Юность». А если бы Сева никуда не сворачивал, он выбежал бы к детскому садику «Маяк», куда брали только детей, родители которых работали на «Атоммаше». Отец сумел когда-то пристроить своего сына в расположенный на окраине города «Маяк». Дорога к нему была главным ритуалом детства. Каждое утро, рано-рано, отец и сын начинали свой пеший путь туда, куда не ходит общественный транспорт. В один из таких походов Сева впервые отчетливо подумал. То есть зафиксировал в голове первую самостоятельную мысль. Это было столь новое ощущение, столь значительное событие, что мысль запомнилась на всю жизнь. Он, в частности, подумал тогда примерно следующее:

— А кто это, интересно, смотрит сейчас через мои глаза? Почему я их не вижу, как вижу глаза всех остальных людей?

Маленький Сева тогда поднял голову на папу. Папа был высок, с чернявой копной волос, но рыжими усами, с большими глазами, в красно-коричневой болоньевой куртке. Такой красивый и стремительный снаружи, тогда как он, Сева, изнутри такой бесформенный и жалкий.

Что это за существо, какое оно? Пока что оно умело только смотреть из глаз маленького неловкого мальчика, которого так настойчиво тянут за руку, что приходится семенить. Сева семенял, подпрыгивал, бежал всю дорогу — и никогда не уставал. Золотое было время.

Кроссы Сева бегал регулярно уже три года. Отчасти потому, что быстро понял: его конек — короткие дистанции. Еще в двенадцать лет тридцать метров он бежал на второй юношеский разряд, на старте обгоняя гораздо более взрослых соперников. Старты ему давались: он умел мгновенно набирать скорость. Дистанцию в шестьдесят метров он бежал на третий юношеский. А результат по стометровке уже не претендовал ни на что. Сева мог много раз взрываться, выкладываясь в полную силу за несколько секунд. Но с перерывами. Глоток воздуха — и он снова мог потерпеть. Это был его, едва-едва ухваченный сознанием, личный способ жить, побеждать — выдерживая любое количество коротких подходов. Это он умел, этому не нужно было учиться. И потому он бегал кроссы — заставляя себя терпеть.

Сегодня ему предстояло бежать около восьми километров.

Он бежал по обочине старого парка «Юность», раскинувшегося напротив главпочтамта — здания, с которого начался этот город. Он прислушивался к своему дыханию, шум которого не давал прибиться ни одной мысли. Либо бежать, либо думать. Либо смотреть, либо помнить. По прямой он выбежал к центральному рынку, который в это время стоял пустой. Пробежал

это пространство насквозь, перебрался через невысокую насыпь железной дороги, остановился перед шоссе, пропуская машины, и нырнул в лесополосу, прошитую тропинками. Это был небольшой прямоугольник земли, заросший акациями и теперь заброшенный их темными сухими стручками. Сзади и справа остался город, слева через сотню метров начинались дачи, но Сева бежал прямо — к дамбе.

Она была широка — здесь могли разбегаться автомобили. Она была высока — и создавалось ощущение, что все водохранилище, как чашу, она держит над городом и степью. Сева взобрался наверх и глянул через парашет. Отсюда был виден застывший местный порт с грязно-зеленым элеватором. Внизу, у подножия крутых откосов, выложенных бетонными плитами, лежала смиренная темная вода. Она продолжалась до самого горизонта. Дамба тянулась до самого Цимлянска. Сейчас по ней бежала одинокая фигурка, на которую налетали порывы степного ветра. Дыхание уже было сбито подъемом, икры постепенно наливались булыжниками. Но Сева бежал, движимый болезненным волевым усилием по безвольному миру, и время от времени сплевывал на растрескавшийся бетон. Состояние было терпимым, он пока что правильно рассчитывал силы.

В шуме ветра и дыхания терялся смысл того, что он делает. Зачем бежит? Зачем все это? Стихли все городские шумы, остался лишь сип выдохов и сыпь шагов. Он выбегает туда, где дует ветер, а на его стороне лишь воля двигаться. Он хочет стать сильным? Вот еще. Он учится бегать? Правильно держа торс, активнее поднимая колени и ритмичнее дыша. Нет, Севу не интересовал спорт. Он презирал саму идею соревнований. Как-то глупо чувствовать себя побежденным, проиграв, и победителем, победив. Тогда зачем?

Два года назад он мог бы ответить, что за компанию. Здесь были друзья — Леша, Вадик и Миша. Они долго тренировались вместе, перешучивались, дурачились. Они были взрослее его, но принимали его. Он даже иногда обгонял Мишку на коротких дистанциях, хотя тот старше почти на три года. С Лешей они почти год каждый вечер ходили на турник возле политеха. Никто их не заставлял — они это делали вместе, сообща, на равных. С Вадиком Сева был не так близок, но это потому, что Вадик вообще держался в стороне. Возможно, из-за плохого зрения — он постоянно щурился, фокусируясь на лицах. Вадик все делал медленно и методично, начиная с переодевания. Он был добр, невспыльчив и очень вынослив. Он был стайер — ни во что не вмешивался.

Сева пробежал шлюз, где из водохранилища в степь вытекал широкий оросительный канал. Чуть дальше на его берегу располагается городской пляж. А перед ним железнодорожный мост, куда его маленького возил на рыбалку отец. Он поднимал его в четыре часа утра и сонного усаживал боком на раму высокого взрослого велосипеда. Сидеть на узкой трубе было неудобно, зад немел, но возможность держаться за руль, будто сам ведешь железного коня, перевешивала — Сева никогда не жаловался. Они приезжали на мост, и отец спускался на основание бетонной опоры, стоящей прямо посреди канала. Здесь была довольно просторная для рыбака площадка. Но Сева оставался вверху, наблюдая за движениями отца. В этом месте было сильное течение, ловил папа «на кольцо». На дно по течению опускается на толстой леске кормушка с сухарями, кашей, макухой, а по этой леске ходит кольцо, через которое пропускается также нить с поводками — они опускаются к кормушке, и течение ими играет. Это незрелищный вид ловли, нет поплавок, поклевку должен различить указательный палец, через который перекинута леска. Сева знает, что это такое. Однажды отец его все-таки спустил вниз и дал подержать снасть. Сева был в восторге, когда рыбина ударила по пальцам. Накануне таких поездок они с отцом готовили приманку. Иногда — крутили через мясорубку жареные семечки, облизываясь от вкусного запаха промасленного подсолнечника. «Сам бы ел», — приговаривал папа.

Во рту от усиленного дыхания стоял отвратительный запах кишечника. Теперь оставалось километра полтора по прямой — до судоходного канала, оборудованного двумя ступенями шлюзов. По этому каналу сухогрузы попадают из водохранилища в Дон. Не было видно, как суда подходят к шлюзу, — каменная стена уходила далеко в море и венчалась маяком. За этой стеной было основное море, Сева видел лишь его безбрежный просвет.

Около судоходного канала с дамбы полукругом спускалась асфальтированная дорога. Здесь чаще всего и заканчивалась первая часть кросса. Сам полукруг тоже использовался для тренировок — после небольшого отдыха полагалось сделать несколько ускорений вверх по склону. Такие ускорения мальчишки проходили и на стадионе, но там для повышения сопротивляемости использовалась крышка от грузового автомобиля, к которой была привязана цепь, цепь вела к ремню, ремень лямкой одевался на пояс.

Здесь он и нашел своих спортивных товарищей два года назад. Он тогда опоздал на тренировку, и они убежали вперед. Ребята уже заканчивали ускорения. Они привычно поздоровались, состоялся обычный мальчишеский треп, что-то вроде:

— Здорово, Мишка.

— Привет, крендель.

— На кого батон крошишь?

— Да писюн тут прибежал один...

— У тебя проблемы с этим писюном?

— Да какие могут быть проблемы с этим писюном?

— А с каким у тебя проблемы?

— Ни с каким!

— А хорошо бы бегалось — без писюна-то!

— Я тебе когда-нибудь двину.

— Пойди побегай. Тебе понадобятся годы тренировок.

— Вот говнюк! — Миша, смеясь, сделал ложное движение — будто бы рванулся к Севе. А Сева чуть отступил:

— Но-но! — и игриво стал в развязную боксерскую стойку.

И Мишка принял предложение поиграть — подняв руки, он стал ими дергать, как бы готовя смертельный удар. Началась немая сцена. Они в шутку кружили. Миша полез, не сжимая руки в кулаки. Сева отбил его правую руку и легко махнул левой. Рука с растопыренными пальцами сделала крюк и легко хлестнула Мишку по щеке.

После чего Сева получил прямой жестокий удар кулаком в нос. Чтобы никто не видел вспышки в его голове, он закрыл лицо сжатыми кулаками. Через них он увидел Мишу — он пылал злым гневом и не опускал рук, готовый вновь пустить их в дело. Вадик стоял в стороне. И Сева услышал задорный Лешкин голос:

— Ногой его звездани!

Леша кричал не ему.

Из носа потекло на руки. Сева попятился к обочине, опустил руки.

— Все?! — гневно выкрикнул Миша.

— Все, — сипло подтвердил Сева.

Он отвернулся: глаза от попадания в нос слезились, было больно, текла кровь. Утерся горстью и стал шарить по земле в поисках какого-нибудь лопуха — чтобы не пачкать одежду. Увидел какие-то листья, сорвал их не глядя и скомкал в грязных ладонях. Потом снова утерся и закинул голову к небу, почувствовал, как в горло потекли тошнотворные густые капли. По небу быстро летели облака, в которых не было ни просвета.

Сглотнув очередной раз, Сева двинулся к дамбе и побежал. Оборачиваться не стал. И люди исчезли, как морок. Тренировка кончилась — пошла жизнь.

Миша, конечно, ненормальный. Но обиды на него почти не было. Гораздо глубже проник тот задорный злой голос... Сколько их было — товарищеских тренировок, деловитых разговоров, встреч на переменах в общей школе, когда они втроем, разговаривая ни о чем, чувствовали объединяющую их сопричастность большому спорту. «Ногой его звездани!» Сева в какой-то момент прослезился от обиды, утерся горстью. Он чувствовал, что прощается с этими людьми. Это было высказывание на каком-то другом языке. Оно пустило в него, Севу, свой варварский яд. Было горько оттого, что мелкое предательство отъело кусок прошлого. Как будто длинная дистанция завершилась позорным финишем. Столько бежал — и напрасно, потому что не с теми. Не рассчитал силы, не был готов к нагрузкам...

Это было через два месяца после того, как он впервые подрался с отцом. Все как-то совпало. Он выпадал из всех отроческих коллективов.

И вот теперь он бежал один. Миша быстро бросил тренировки, он был все же по-своему честным человеком, Леша скоро был замечен в группе, взимающей мзду за охрану на рынке «Олимп», у Вадима начались проблемы с сердцем, он завершил спортивную карьеру.

Сева бежал один. Причин делать это не существовало. Воля, проснувшаяся в нем в какой-то момент, загоняла его в свой собственный тупик. Он не мог остановиться, не мог пройти, когда становилось тяжело. Что-то запрещало ослаблять хватку. Воля брала его на слабо. И принцессе, заточенной в высокой башне, это очень не нравилось. Раками ее было не насытить.

Но вот герой однажды — мертв.
Хотя, казалось бы, так тверд.
И труп его смакует червь:
«зачем? зачем?»

Нет, он не мертв, он только спит.
В нем что-то есть, что говорит,
бесцельно ходит в красоте,
а та — везде.



ЛЮБОВЬ КОЛЕСНИК



СМОТРЕТЬ И НЕ РЖАВЕТЬ

* *
*

В. П.

Мы это видели вдвоем
из разных городов, а впрочем,
невзрачен так же оком,
подзвученный гудком рабочим

и над тобой, и надо мной,
синеют облачные гроздя.
Промзоны короб жестяной,
здесь люди, крепкие, как гвозди,

что от звонка и до звонка
ишачат, чтобы вдруг не спиться,
и называют ЖСК
как европейские столицы,

стесняясь мира и труда,
висящего чугунным грузом.
И Ленин шлет нас в никуда
помятым гипсовым картузом.

* *
*

Не к пивняку, не к магазину
седой, растративший цвета,
идет старик, несет корзину —
в корзине стынет пустота.
И, остановленная жутью,
смотрю ему вдогонку я:
там, на сплетеньи мертвых прутьев —
ни яблока и ни белья,

Колесник Любовь Валерьевна родилась в 1977 году в Москве. Публиковалась во многих журналах и альманахах. Автор четырех книг стихов. Лауреат и дипломант нескольких литературных конкурсов и премий. Живет в Ржеве. В «Новом мире» публикуется впервые.

ни воздуха и ни пространства,
 ни даже смерти взаперти.
 Спрошу его, как не бояться
 невыносимое нести.

* *
 *

На мосту через Далбайку,
 около Култук-Монды
 остановим таратайку,
 желтой зачерпнем воды.
 Полустынет полустанок,
 путь из нечто в никуда.
 Зачерпнем, но пить не станем —
 это мертвая вода,
 притаившая заразу.
 Стынет битум на лице.
 Дохлый номер — строить трассу
 в точку Бэ из точки Цэ.
 На мосту через Далбайку
 только мертвых ставить в ряд,
 мертвых с косами, чтоб в байку
 вплел их друг степей бурят.
 Горько волк за горкой плачет
 по стране СССР.
 Слышишь? По асфальту скачет
 ослепительный Гэсэр.

* *
 *

Так пляшет смерть.

«Сруб»

бабка моя говорила что жизнь трагедь
 по-цыгански гадала
 подбухивала тайком
 бабка моя показала как пляшет смерть
 человек под ней карточным дураком
 плоским лежит на покрытой сукном доске
 бабка моя наплясалась и так легла
 внучка послушай церква стояла в песке
 да в одночасье под воду и ушла
 бабка шептала
 я видела белизну
 мелких песчинок ссыпающихся в часах
 встань говори со мной не покидай одну
 церкву оставь утонувшую
 смерть и страх

* *
*

Ф. Ч.

Не заржавеет, не окислится,
не корродирует за мной.
Лиственница стоит как виселица,
мотив качается блатной,

и гроба железобетонного
нетленен параллелограмм.
Далекий гул станка стотонного
велит принять на грудь сто грамм,

не слушать музу заунывную,
себя не вкалывать в цеха
и деятельность безотрывную
забросить к черту в потроха.

Не горбиться и не сутулиться,
суть не разменивать на медь.
Смотреть на лиственницу, улицу
и не ржаветь. И не ржаветь.

* *
*

Иду фотографировать насосы.
Ворота цеха выдыхают пар.
Начальник мят с утра и стоеросов —
ворчит, что КТУ — не божий дар,
и мы в конторе жизни не видали,
не нюхали тосол и креозот,
а то, что мне хороший фотик дали, —
так дуракам, как водится, везет.
Киваю молча, щелкаю затвором
на брак железа и людскую тьму.
Тьма ширится. Нас подытожат скоро
по метрике, неведомой ему.
Я знаю точно: будет ближе к раю
не тот, кто сделал план по корпусам,
не он, не я, не труд, идущий к маю,
но белый пар, летящий к небесам.



ОЛЕГ ХАФИЗОВ



КОЛОННА БРЮЛЛОВА

Рассказ

Время обнимать, и время уклоняться
от объятий...

Екклесиаст

В конце XX века у нашего городка появился немецкий город-побратим — маленький, но с очень длинным двойным названием, которое я сначала не мог запомнить, а потом забыть, хотя этот город с нами разбрался. Оттуда к нам на день города приезжал духовой оркестр — такой нарядный, толстый и старательный, какой только может быть в кукольном немецком городке. Затем в нашем музее открылась выставка их картинной галереи. И наконец прибыла делегация ветеранов Второй мировой войны для того, чтобы обустроить и освятить участок старого городского кладбища, называемый «немецким».

Я работал в городской газете и пришел на кладбище, чтобы осветить это мероприятие. Могилки к этому времени были прополоты, холмики поправлены и украшены деревянными крестами, между ними проложены дорожки. На табличке по-немецки и по-русски значилось, что здесь похоронены военнослужащие германской армии 1941 — 1945 годов. Немецкие ветераны и их близкие приехали на двухэтажном туристическом автобусе с зеркальными стеклами и пошли через мемориал советского Безымянного солдата, который ремонтировали к празднику. Один ветеран был калека, но другие выглядели бодро в своих стерильных белых панاماх, шортах и носках.

Немцы возложили цветы на наши и немецкие могилы. Пастор в обычном темном костюме с белым стоячим воротничком произнес речь и прочитал по-немецки «Отче наш». Кто-то всплакнул. После минуты молчания мы отправились назад к автобусу, и я стал приглядывать собеседника для интервью.

На одного из немцев невозможно было не обратить внимание. Он был на голову выше меня — под два метра ростом, прямой и спортивный. Личико востренькое, румяное, с ярко-голубыми глазами — жизнерадостными и, как бы это сказать, рьяными. Весь его вид словно приглашал: давай, поговори со мною, я только этого и жду. Так, наверное, выглядел Тур Хейердал. По возрасту немец, однако, казался ровесником моего отца, которому не хватило одного года для участия в последнем военном призыве, и я усомнился, что он мог воевать под Москвой.

Я обратился к нему по-английски, и он, как любой немец, отчетливо говорил на этом языке. Звали его Вольфганг. Он был директором картин-

Хафизов Олег Эсгатович родился в 1959 году в Свердловске. Окончил Тульский педагогический институт. Прозаик, печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов» и др. Автор книг «Только сон» (Тула, 1998), «Дом боли» (Тула, 2000), «Дикий американец» (М., 2007), «Кукла наследника Какаяна» (М., 2008). Живет в Туле.

ной галереи, искусствоведам, специалистом по древнерусскому искусству, автором научных трудов по русской иконописи.

— Я свободно читаю по-русски и понимаю большую часть слов, но не решаюсь говорить, — рассказывал Вольфганг. — С экспедициями я объездил все монастыри русского Севера и, простите мою нескромность, знаю о древнерусском искусстве побольше некоторых русских коллег. И вообще — я большой русофил.

Глядя на баскетбольную фигуру этого русофила, я подумал, что он мог в былые годы положить немало наших отцов. И наконец решился:

— Вы выглядите молодо. А вы тоже принимали участие...

— О да, — отвечал Вольфганг с меньшим оживлением. — В сорок первом я был лейтенантом саперного батальона. Мы находились неподалеку от того места, где происходило знаменитое сражение с татарами в Средние века.

— Poboishte? — подсказал я.

— Oh, yes, the Poboishte! — обрадовался немец. — Если вы зайдете в мой номер, то я покажу вам кое-что интересное, имеющее отношение к тем событиям, и расскажу любопытную историю, которая со мной произошла.

Мы сели рядом в автобусе, и я, по пути в гостиницу, показывал ему достопримечательности, избегая при этом военных тем, хотя применительно к нашему оружейному городу это затруднительно — не твердить же без конца, что здесь жил Лев Николаевич Толстой?

Мы поднялись в номер. Вольфганг достал из шкафа большую папку, в каких хранят рисунки, и положил передо мною на стол. Печально вздохнув и пробормотав что-то по-немецки, он раскрыл папку и начал передавать мне одну за другой акварели, выполненные с отменным вкусом и изяществом. На акварелях были изображены русские церкви в разное время года. На некоторых не было крестов или куполов, фундаменты заросли бурьяном, сквозь брешы в стенах виднелось небо, на крышах росли кривые деревца — и от этого они выглядели еще печальнее, еще милей в окружении скромного русского пейзажа. Листы акварелей пожелтели и были местами подмочены, но краски сохранили всю первоначальную свежесть и воздушность, так что у меня, что называется, глаза на лоб полезли при виде даты в их нижнем углу: 1941.

Впрочем, среди рисунков попадались не только храмы, но и руины городов, и немецкие солдаты на марше в грязных белых маскахалатах, заросшие и веселые, и тела русских артиллеристов, разбросанные перед изуродованным орудием.

— Это ваши работы? — спросил я от удивления по-русски, и Вольфганг как ни в чем не бывало отвечал на английском:

— О, да. Я возил в своей машине маленький этюдник и, при возможности, писал виды старинных русских церквей в тех местах, которые мы... оккупировали. Я также собирал в заброшенных храмах и домах иконы, которые казались мне наиболее древними и ценными в художественном отношении, чтобы с оказией переправить домой, но все они сгорели вместе с моей квартирой при отступлении. Должен с сожалением заметить, что в большинстве случаев не мы привели все эти церкви в такой плачевный вид...

— Это мы знаем, — отвечал я.

— Ах, вот, я уже боялся, что не взял его с собой! — воскликнул Вольфганг, бережно доставая из папки рисунок знаменитого чугунного монумента в честь великого московского князя, ставшего, так сказать, одной из визитных карточек нашей страны.

— Вы и здесь побывали? Я читал в детстве, что нога немецкого оккупанта не ступала по священному полю.

— Как видите, ступала — совсем недолго, — печально отвечал Вольфганг. — И об этом я хотел вам рассказать.

Мы беседовали больше часа, и я записал наш разговор на кассету. Однако в газете было слишком мало места для такой длинной истории. И вот, спустя много лет, я восстановил ее по памяти, что-то дополнил из других источников, а что-то и присочинил, как положено писателю.

— В юности я был долговязый, нескладный, в очках, — рассказывал Вольфганг. — За глаза солдаты называли меня «студентом», ворчали, что я занимаю место в машине своими «дровами» — то есть иконами, и удивлялись, как можно использовать драгоценные минуты отдыха на рисование каких-то развалин, вместо того чтобы перекусить, подремать или перекинуться в карты, как все.

Оригинальное увлечение Вольфганга было известно по всей дивизии и не было тайной для командира батальона, которого мой собеседник называл на русский манер *kombat*.

— Однажды в декабре *комбат* вызвал меня и поручил задание «по благу», как выражаются русские, — рассказывал он.

— Это от немецкого *das blatt* — просьба на листочке бумаги, — возразил я.

— Мне и в голову это не приходило: век живи — век учишь! — удивился Вольфганг. — Как видите, у наших народов много общего.

Итак, от местных жителей *комбат* узнал, что километрах в двадцати от поселка, который они занимали, находится древний храм. От храма к памятнику на холме ведет подземный ход, где русские якобы укрывались от татар во время нашествия Чингисхана или татары спасались от русских во времена Ивана Грозного — черт их разберет. Вольфгангу надлежало обнаружить этот подземный ход, если он действительно существует, и выяснить его пригодность для военных целей. Если подземелье для этих целей непригодно, его следует взорвать или засыпать. Мы не татары, от нас не спрячешься. Если позволяет расположение, в храме оборудовать долговременную огневую точку для контроля дороги и соседней деревни. Ах, да, памятник взорвать.

— Взорвать памятник? — переспросил Вольфганг.

— Памятник представляет собой тридцатиметровую металлическую колонну и служит прекрасным ориентиром для артиллерии, — отвечал *комбат*. — А кроме того, ценность вашего рисунка на аукционе после этого значительно повысится.

— Вам поручили взорвать исторический памятник! — воскликнул я.

— А что вас удивляет? — возразил Вольфганг. — Любой военный начальник поступил бы так же. При помощи такого ориентира можно было держать под обстрелом дорогу и деревню. Я же интересовался не колоннами, а храмами и с энтузиазмом отправился на задание, чтобы пополнить мою коллекцию экзотических видов.

Погода была морозная, но солнечная. Снег сверкал так ярко, что я, помнится, прикрепил на очки темные фильтры в виде этиких крышечек. Было градусов двадцать по Цельсию, но я отлично утеплился и несколько не мерз. Как это говорят у вас в Сибири: мерзнет не тот, кому холодно, а тот, кто плохо одет? На мне были белые валенки с калошами, рукавицы, овчинный полушубок и шапка-ушанка. Словом, я выглядел не как офицер вермахта, а скорее как *mouzhik* из колхоза. Мороз мне даже нравился, а миллионы алмазных пылинков так сверкали и переливались в воздухе, что дух захватывало от красоты.

Небольшая немецкая колонна обгоняла табор беженцев: сани, набитые узлами, поверх которых сидели дети, старый дед, ведущий под уздцы такого же старого коня, и несколько баб, закутанных и замотанных настолько, что невозможно было различить их возраст и внешность. Последней тащила женщина городского вида — в пальто и шляпке. Женщина везла за собою на санках девочку лет четырех. При виде немецких машин беженцы пугливо посторонились и замерли как вкопанные. Вдруг Вольфганг попросил шофера притормозить и выпрыгнул в сугроб.

Как художник, он не раз замечал у некоторых русских детей такие типы лиц — несомненно европейские и даже, так сказать, арийские, — какие можно увидеть на сусальных рождественских открытках. Но если на открытках они кажутся несколько вычурными, слащавыми, то в жизни, среди грубости войны, такая красота была поразительна. У белокурой девочки, которую везла за собою дама в шляпке, были такие огромные, скорбные, иконописные глаза, что Вольфгангу захотелось сделать ей что-нибудь приятное. Он полез по хрустящим сугробам навстречу девочке, путаясь в полах своего тулупа, люди шарахались от него, как от зачумленного, и проваливались в кювет, старик снял шапку.

— Мне и в голову не приходило, что, возможно, в их глазах мы выглядим вовсе не так привлекательно, как в своих собственных, — признавался Вольфганг. — Наконец, смешав весь строй этих несчастных и перепугав их до полусмерти, я добрался до прекрасной девочки и подарил ей шоколадку. А после того как я таким же образом, мешая всем, вернулся к машине и забирался в кабину, я услышал детский плач. Как только я отошел на достаточное расстояние, мать отняла у девочки шоколадку и выбросила в снег.

— Может, она думала, что вы дали яд? — предположил я.

Вольфганг набрал воздуха, чтобы ответить на мою реплику, но нахмурился и ничего не сказал. После минутного молчания он продолжал.

Храм показался ему невероятно древним. Именно такие простые, грубые храмы с мощными башнями и узкими окнами-бойницами должны были, по его мнению, строить в жестокие времена монгольского нашествия. Каково же было его удивление, когда он узнал, что на самом деле эта церковь была построена в двадцатом веке, а освящена уже в 1918 году, после прихода к власти большевиков. Притом автором ее проекта был тот самый архитектор, который строил мавзолей Ленина в Москве.

Как все храмы, какие ему довелось рисовать с начала кампании, этот был запущен, загажен и местами разобран, но поскольку он находился в отдалении от населенных пунктов, то его по крайней мере не использовали в качестве склада. Зато в военном отношении он представлял собою идеальную придорожную крепость — этакий огромный каменный танк с двумя башнями, амбразурами и стенами такой толщины, что их можно было разнести только прямым попаданием тяжелого снаряда.

Вольфганг осмотрел помещение и набросал его план. Он распорядился устроить жилье в алтаре, отделенном от главного зала *ширмой* с дверцами. Железные ворота храма необходимо было снять или выломать, чтобы в дверном проеме установить орудие. Чугунные решетки на окнах — срезать автогенном, чтобы вести огонь из ручного оружия и пулеметов во всех направлениях. На звоннице устроить наблюдательный пункт.

Солдаты приступили к работе, когда унтер-офицер доставил из деревни «языка» — местного попа. Это был дородный моложавый мужчина с длинными волосами и бородкой, в обычном суконном пальто с меховым воротником и барашковой шапке корабликом. Он впервые видел немцев и разглядывал их с каким-то изумлением, как страусов или папуасов. Вольфганг допросил попа при помощи унтер-офицера Гюнтера-Расторопски, свободно говорившего по-русски.

— Этот Гюнтер-Расторопски был самым «старым» в нашем отряде — немного за тридцать, — рассказывал Вольфганг. — Он родился и жил в России и закончил русскую школу. В России его считали немцем, а в Германии — русским. Это был очень своеобразный тип, который никогда не улыбался, но говорил при этом уморительные вещи, и поэтому невозможно было разобрать — то ли он невероятно остроумный, то ли дурак. Он был для меня незаменим, поскольку не только говорил на русском не хуже (а пожалуй, и лучше), чем на немецком, но и, главное, знал, как *обращаться* с простыми русскими людьми, и мог достать все, что угодно, и где угодно.

Вольфганг через унтер-офицера стал расспрашивать попа про подземный ход, но тот никак не мог уразуметь, о чем речь. Татары, Чингисхан, Иван Грозный... Он решил было, что немецкий офицер увлекся местным фольклором и хочет найти сокровища татарского хана, спрятанные в подземелье.

— Если вы ищете драгоценности, то их здесь нет. Всю ценную утварь описали и вывезли в прошлом году, после закрытия храма, золото с окладов смыли, а остальное выбросили и пожгли, — рокотал поп густым актерским баритоном.

Наконец Гюнтер-Расторопски вспомнил подходящее слово «катакомба», и попа осенило. Он повел немецких военных на улицу и за углом раскопал из-под снега низкую окованную дверцу. Крутые ступеньки вели в просторный подвал, заваленный мусором до самого потолка. Из этого топливного подвала, где раньше хранились дрова, по стенам храма расходились шахты для передачи горячего воздуха от печей. И их, при некотором усилии воображения, действительно можно было принять за лабиринты.

— В детстве мы считали, что в этих ходах древние люди спасались от татар, — сказал поп. — Но взрослый человек сюда не поместится. Да и с какой целью?

— Передавать донесения? — предположил Гюнтер-Расторопски без малейшего намека на улыбку.

Ничего любопытного в подвале не обнаружилось, если не считать детских рисунков, фигурок из глины, макета и карты-плана какого-то сражения. Очевидно, после закрытия храма здесь размещалась историческая выставка или музей. На одном из рисунков были изображены рыцари, скачущие навстречу друг другу с копьями наперевес. Один, явно «плохой» рыцарь был в синих шароварах, зеленых туфлях с загнутыми носами и меховой шапке с хвостом, а другой, «хороший», в алом плаще и золотом остроконечном шлеме. У «хорошего» была русая борода, у «плохого» — черные усики. Вольфганг свернул картину в рулон, чтобы повесить ее на стене, и захватил с собой из горы макулатуры книгу на немецком языке с оторванным переплетом — справочник для архитекторов конца XIX века.

— Отправляясь на задание, я предполагал, что памятник представляет собой советскую безвкусицу, посвященную вождям мирового пролетариата, — рассказывал Вольфганг. — Каково же было мое изумление, когда я увидел этот колоссальный *минарет*, словно заброшенный в чистое поле по прихоти безумного джинна из «1001 ночи», и рассмотрел вблизи все его изысканные медальоны, рельефы и надписи, достойные лучших европейских мастеров классицизма. Оглушенный, не замечая шипков мороза, я несколько минут любовался этим сооружением и не мог понять (да и теперь, признаться, не понимаю), как должен был мыслить человек, затеявший это сооружение и бросивший кучу денег рублей на фараонов труд в том месте, где им могут любоваться в лучшем случае какая-нибудь отбившаяся от стада коза да подвыпивший сторож с дувстволкой.

— Возможно, он рассчитывал на вас? — вырвалось у меня.

Оказалось, что в теле колонны имеется чугунная дверца, как в топке паровоза. Изнутри же колонна представляет собой полую трубу, как бы набранную из огромных чешуй. Достаточно было небольшого взрыва, чтобы нижний ярус этой конструкции разлетелся и вся она осыпалась, как столбик домино. Вольфганг приказал заложить изнутри взрывчатку, а сам, пока не поздно, побежал за этюдником.

— Мне особенно дороги работы, написанные в каких-то необычных условиях, — рассказывал он. — Глядя на такую картину, я вспоминаю прежде всего те обстоятельства, при которых ее писал. И вдруг все прошлое вспыхивает передо мной в малейших деталях, я чувствую тот же азарт, головокружение и даже аромат мороза и дымка от полевой кухни в ноздрях.

К счастью, солдаты были настолько опытны, что и сами прекрасно знали, что и как делать наилучшим образом. К тому же они старались без крайней необходимости не беспокоить своего юного гения в минуты его творческого экстаза. Вольфганг был настолько увлечен, что не замечал, как то и дело немеет нос. Вода в баночке и на кисти мгновенно замерзала, и он отогревал ее специально заведенной для этой цели спиртовкой. Он не чувствовал голода и отказался идти к обеду, после чего Гюнтер-Расторопски на цыпочках подал ему еду на каком-то церковном приспособлении, напоминающем барный столик. Унтер-офицер и оказался первым ценителем картины.

— Очень похоже, — похвалил Гюнтер-Расторопски после того, как они выпили по глотку жгучего рома и закусили салом. — Точно как в русском учебнике истории.

— Вы изучали этот памятник в школе?

— Не этот памятник, а битву русских и татар, которая здесь произошла.

— Вот как? Что же они не поделили? И чья взяла?

Они закурили по сигарете. В конце концов, для человека в тулупе, который периодически выпивает, пресловутая русская зима оказывается сущим пустяком. Вдруг Гюнтер-Расторопски посмотрел на Вольфганга внимательно, набрал в руку пригоршню снега и, пригнув командира левой рукою за затылок, правой стал втирать ему в лицо колючий снег.

— Какого черта! — Вольфганг пытался отбиваться от цепкого унтер-офицера, но это было бесполезно.

— Так делают русские, когда отмерзает нос, — объяснил он, подал Вольфгангу платок и приступил к своей исторической лекции.

— Александр Македонский был великий полководец. Представьте себе, что его армия в одних сандалетах, плиссированных юбках и жестяных жилетах прошла пешком от Египта до Ташкента, — и вы поймете, что я имею в виду. Но они не просто шли, они сражались с варварами, не имея ни танков, ни самолетов, ни даже легкого стрелкового вооружения. Их секрет прост. Александр Македонский строил своих солдат в несколько длинных рядов, называемых «фалангой». Первый ряд держал в руках копия длиной полметра, второй — один метр, третий — два, и так далее, до пяти метров, так что наконечники пик из заднего ряда торчали перед щитами переднего ряда. Представляете? На врага маршировал этакий железный еж, и голые дикари, накальваясь на копья, издыхали, как бабочки. Персидский кайзер пытался пускать на фалангу слонов, но и это ни к чему не привело. Уколовшись о копья, слоны побежали назад и растоптали своих дрессировщиков. Именно так старине Алексу удалось сколотить самую большую державу в мире, в которую входили Египет, Турция, Иран, Ирак, Индия и Узбекистан, не говоря о Греции. Однако Македонский злоупотреблял алкоголем и вскоре скончался от белой горячки, не успев насладиться своими завоеваниями.

Печально вздохнув, Гюнтер-Расторопски плеснул в кружки еще рома.

— Все это очень мило, но при чем здесь татары? — справился Вольфганг.

— А при том, что по сравнению с Чингисханом этот Александр был просто маменькин сынок. Чингисхан был таким завоевателем, у которого сам Цезарь подбирал бы окурки, Ганнибал чистил картошку, а Наполеон стирал кальсоны. Чингисхан — это...

И Гюнтер-Расторопски прибавил какое-то запутанное русское выражение, среди которого Вольфгангу пока было известно только слово «мать».

— Чингисхан завоевал Китай, который, между прочим, больше, чем вся Европа и США вместе взятые. Он завоевал Сибирь до Ледовитого океана, весь Индокитай до самого Цейлона, Корею, Персию, Индию и множество еще таких стран, которых и название не выговоришь. Проще было сказать, что он еще не завоевал, и это были Россия и Германия. Однако перед

самым нападением на СССР Чингисхан, к сожалению, скончался от ранения ядовитой стрелой.

— Стало быть, его здесь не было?

— Минуту терпения. У Чингисхана был сын Батый, весь в папашу. Он напал на Россию точно так же резво, как мы, но с восточной стороны, и через пару месяцев все было кончено. Батый взял Рязань, Москву, Смоленск, Киев, Минск, Харьков, Севастополь, Одессу, взял бы и Ленинград, но его тогда еще не построили. Все эти города Батый разрушил, а их население истребил. Затем он разгромил Венгрию, Болгарию, Румынию, Польшу и остальную мелочь и остановился лишь после того, как его встретили наши рыцари, у которых все, вплоть до причиндал, было спрятано под броней. Такого вооружения у Батыя, конечно, не было. И ему пришлось возвращаться.

Русские тем временем организовали партизанское движение и сильно мешали татарам в тылу. Их возглавлял царь Москвы Дмитрий — Дмитрий Первый, потому что кроме него у русских были еще Лжедмитрий, Лжедмитрий II и, возможно, Лжедмитрий III. Надо было что-то делать, но Батый к тому времени скончался, и русскую проблему пришлось решать его сыну Мамаю.

— Вы, кажется, говорили, что Москва была разрушена, а все ее жители убиты. Откуда же взялись в таком количестве партизаны?

— Не знаю, герр лейтенант. Для меня это было загадкой в детстве и остается сейчас, когда я нахожусь примерно в том же положении, что и фельдмаршал Мамай. Я только излагаю факты, а факты — упрямая вещь.

Мамай пришел сюда из Польши тем же самым маршрутом, что и мы: Брест, Киев, Смоленск, Калинин, Вязьма и так далее. Казалось, до Москвы рукой подать, но тут им в тыл из того самого леса бросается целая дивизия бородатых типов с крестами, топорами, косами и такими зверскими воплями, что и у самого хладнокровного солдата сыграло бы очко. Мамай драпнул. Это было здесь, на том самом месте, где мы с вами стоим.

Гюнтер-Расторопски бросил окуроч на снег, растоптал его и, подбежав к колонне, стал выразительно переводить надпись на ней:

«Dem Sieger über die Tataren, dem Großfürsten Dmitri Iwanowitsch Donskoi — die dankbare Nachkommenschaft. Achtzehn hundert acht und vierzig Jahr anno Domini»¹.

В это время со звонницы, где находился наблюдательный пункт, ударила пулеметная очередь. Среди кроткой тишины, в которой был слышен треск сучьев, лопающихся от мороза в дальнем лесу, грохот выстрелов был таким бешеным и оглушительным, что ром выплеснулся из кружки Вольфганга на снег и целое люфтваффе ворон каркающей тучей взлетело со всех куполов и деревьев.

Часовой объяснил, что стрелял по «казаку», скачущему туда-сюда по опушке леса. У него не было приказа открывать огонь, но этот «казак» так долго и нагло разбегал у него под носом, словно издевался или напрашивался на пулю. И часовой решил его прочить.

— Казаков не существует. Ты прикончил Деда Мороза, — мрачно заметил Гюнтер-Расторопски.

— Никак нет, это был настоящий казак. Да вот же он опять!

Действительно, среди длинных синих теней ранних зимних сумерек, на опушке леса показался человек на лошади. Конник прокатился по опушке в одну сторону, затем в другую, погарцевал на месте и остановился. Его движения казались какими-то странными и механическими, как у Петрушки в кукольном театре. Рассматривая всадника в бинокль, Вольфганг увидел, что это не казак, а скорее древний русский богатырь в алом плаще и острокопечном шлеме — точно такой, как изображен на детском рисунке. Богатырь

¹ «Победителю Татар Великому князю Дмитрию Иоанновичу Донскому — признательное потомство. Лето от Рождества Христова 1848» (нем.).

попрыгал на месте и снова не торопясь игриво поехал вдоль леса. Вольфганг явственно различал каплеобразный щит в его руке, синие шаровары и алые сапожки с загнутыми носами. Однако на месте лица находилось что-то странное, наподобие пробела или круглого пятна. В голову Вольфганга, еще не вполне проветрившуюся после рома, толпясь, полезли какие-то бредни, от человека-невидимки, который исчезал по мере удаления с себя одежды, до готических историй с призраками, которые приключались с путниками в заброшенных тавернах из старинных испанских романов.

— Если не ошибаюсь, это ваш приятель царь Дмитрий, — сказал Вольфганг, передавая бинокль унтер-офицеру.

— Скорее Лжедмитрий, — отвечал Гюнтер-Расторопски, рассматривая всадника.

— А что у него с физиономией?

— Это всадник без головы.

— В каком смысле — без головы?

— Когда я учился в русской школе, среди мальчиков была в ходу книга одного американского писателя под названием «Всадник без головы». Я вижу, что она и сейчас не вышла из моды в СССР. Прикажете доставить этого типа сюда?

— Сделайте одолжение.

Гюнтер-Расторопски вскочил в седло своего мотоцикла и исчез, оставив за собою волну треска и бензиновой вони.

Не уверенный в своем английском, я переспросил собеседника:

— Я правильно понял, вы увидели древнего русского рыцаря на коне?

— Древнее некуда.

— Вы шутите?

— Нет, и никогда не шутил.

— Если бы я работал в желтом издании, то тут же написал бы, что призрак князя Дмитрия явился вас покарать.

— Вы были бы недалеко от истины. Но жизнь всегда сложнее, интереснее и таинственнее, чем выдумки мистиков. Нас прогнали не НЛО или призраки, а Вани, Алеши и Коли в шинелях и обмотках, с винтовками XIX века, что гораздо удивительнее.

Через несколько минут унтер-офицер вернулся с «пленным». Призрак царя Дмитрия на поверку оказался раскрашенной фанерной фигурой древнего всадника с овальной прорезью на месте лица, какие используют фотографии на пляжах и в местах отдыха. Возможно, двумерный витязь был одним из экспонатов выставки, и об этом свидетельствовал инвентарный номер на крупе его белой в яблоках лошади. В нескольких местах тело Дмитрия было пробито пулями. На его позолоченном щите крупными детскими буквами было выведено: «СМЕРТЬ ФАШИСТАМ!» Снизу к лошади был прибит шест, за который злоумышленник, спрятавшись в кювете, «оживлял» всадника.

— Это дети, юные пионеры Ленина, — сказал Гюнтер-Расторопски, бросая пленное пугало к ногам офицера.

Отныне и навеки солдат, подстреливший картонного казака, становился легендарным посмешищем всего батальона.

— В приказе говорится, что местные жители, оказывающие сопротивление вермахту, должны быть расстреляны без суда, независимо от возраста, — напомнил часовой в ярости.

— Это не ваше дело, — отвечал Вольфганг. — В рапорте будет указано, что вы открыли огонь без приказа и раскрыли противнику свою позицию.

Составив рапорт обо всем, что произошло в этот день, включая и визит всадника без головы, Вольфганг отправил унтер-офицера на мотоцикле в штаб и только после этого вспомнил о колонне. Он решил оставить фейерверк до утра, чтобы не привлекать еще большего внимания. И не напрасно: перед самым закатом над храмом появился советский самолет-разведчик. Самолет без выстрела полетал над холмом и улетел. А вскоре с юго-запада

равномерно забúхало, застучало и засверкало. Советский стрелковый полк начал наступление на районный центр.

С минуты на минуту Вольфганг ожидал на дороге появления войск — своих или советских. Это ожидание было противнее тяжелой работы и даже самого боя. Свободные от службы солдаты спали, зарывшись во все тряпье, какое только нашлось в чулане церкви. Другие играли в карты, переговариваясь тихо, как в доме с покойником. Часы на руке Вольфганга тикали, и секундная стрелка ползла, но минутная решительно стояла на месте. Для того чтобы хоть как-то отвлечься, он стал листать в свете фонарика немецкий справочник архитектора.

Первая страница, которую он раскрыл наугад, была вкладка с гравюрами. Гравюры были выполнены с удивительным мастерством и тонкостью. На них были изображены колонны и монументы разных эпох, от древнего Египта до Европы XIX века. И тут же ему в глаза бросилась та самая колонна князя Дмитрия, которую он сегодня рисовал. Под рисунком значилось: «Колонна великого московского герцога Дмитрия, Россия, 1848 год. Архитектор Брюллов».

— Я вскочил с лежанки как ошпаренный, — рассказывал Вольфганг. — Уже тогда я не веждой в русском искусстве и восхищался картиной «Последний день Помпеи». Но я не знал, что у художника Карла Брюллова был не менее талантливый брат Александр, архитектор. И вот я решил, что мне предстоит своими руками уничтожить шедевр мирового уровня, и чей — того самого БРЮЛЛОВА!

Накинув на плечи тулуп, Вольфганг выбежал на улицу. Ночь была ясная, на небе дрожали косматые звезды, и от снега было так светло, что можно было читать. Канонада в поселке прекратилась, и теперь он пылал. На фоне зловещего зеленоватого зарева, словно из приоткрытой адской топки, колонна склоняла над Вольфгангом луковку своей головы и разглядывала этого человечка с брезгливым недоумением.

— Брюллов! Какая мощь. Германский гений русских полей. Какой колоссальный эффект объединения немецкого духа с русской стихией. И какая нелепость! Русский исполин с крошечной немецкой тыковкой на вершине, вымерший чугунный динозавр среди колхозного поля... а если бы он взлетел?

Среди суматохи мыслей Вольфганг наткнулся на идею неизвестного ему Циолковского. Он стал фантазировать насчет того, что было бы, если бы взрыв от заряда в основании этой гигантской трубы не разрушил ее, но, сужаясь кверху, развил небывалую силу, сорвал маковку и унес ее к высотам солнечной системы. Если же в этом снаряде оборудовать кабину со всем необходимым...

— Гагарин? — подсказал я.

— О ja, Gagarin! — обрадовался немец.

Вдруг Вольфгангу померещилось, что за деревом как будто что-то пошевеливается и побрякивает. Он пригляделся: и точно, там стоял кто-то большой и осторожный. Волосы зашевелились под шапкой Вольфганга: свой ремень с пистолетом он оставил возле лежанки.

— Кто там? Пароль! — крикнул Вольфганг как можно более грубым голосом, сорвавшимся на писк.

— Их бин русиш падре! Их бин хенде хох! — отвечал некто, приближаясь из-за дерева с поднятыми руками.

Это был тот самый священник, которого Вольфганг допрашивал насчет подземного хода.

— Что вы здесь делаете? — спросил Вольфганг, чувствуя, что его руки дрожат.

— Я молюсь, — отвечал священник.

— Столбу?

— Я молюсь Богу.

— Молитесь Богу у себя дома. Здесь вас могут убить.

— Меня? МИХЬ? — произнес священник с таким выражением, словно эта мысль показалась ему весьма оригинальной и даже забавной.

— Пошел! Пошел! — Вольфганг замахал на священника рукой, как на курицу, забежавшую на чужой участок, и тот побрел в чистое поле, что-то бормоча себе под нос и осеняя себя крестным знамением.

Вольфганг почувствовал холод и страшную усталость, от которых он буквально содрогался. Он вернулся в церковь и забрался на колокольню, где часовой сидел неподвижно, как истукан, и смотрел перед собой широко раскрытыми глазами. Вольфганг включил прожектор и прошелся лучом по полю. Все оно было покрыто белыми буграми, напоминающими спины лежащих людей в маскхалатах. Вольфганг выключил прожектор, и сквозь расходящиеся в глазах фиолетовые круги ему показалось, что сугробы начинают пошевеливаться, приподниматься и подползать. Он снова включил прожектор, и снежные спины замерли. Они только притворялись сугробами и могли лежать без движения часами, но, как только выключат свет, они оживут и придут сюда со своими страшными длинными штыками. Вольфганг чувствовал себя Макбетом, на которого наступают безжалостные, неотвратимые снежные воины.

А после этого с Вольфгангом произошло то, что можно считать галлюцинацией или так называемым тонким сном: видение настолько яркое и осязательное, что его невозможно отделить от реальности. И действующее на психику гораздо сильнее, чем любая, самая страшная реальность.

— Я считаю себя агностиком, — рассказывал Вольфганг. — И все же я не спешу иронизировать, когда читаю о том, как Чингисхан прекратил индийскую кампанию, встретив в степи говорящего зеленого единорога, а Тамерлан остановил наступление на Русь после того, как ему явилась Богородица. Если нам не встречалось какое-то явление, это не значит, что оно не существует. А если оно нам не понятно, это лишь доказывает ограниченность нашего разума.

Слезая по лестнице из наблюдательного пункта, Вольфганг сверху оглядел зал церкви и заметил перед хорами люк, на который почему-то не обратил внимание при осмотре здания. Спустившись, он подергал люк за стальное кольцо — люк со скрежетом открылся. Из люка доносился сырой запах земной утробы и пробивался тусклый желтый свет. Так значит, священник его обманул и подземный ход находился у него под самой лежанкой! И из него в любую минуту, как призраки, могли явиться белые советские автоматчики.

Осторожно нашаривая ногами ступеньки под собой, Вольфганг стал спускаться в люк по железной лесенке. Спуск оказался довольно глубоким. Наконец Вольфганг вытянул вниз ногу, нащупал под собою пол, включил фонарь и обернулся. Перед ним открылось длинное узкое помещение, напоминающее общий вагон поезда, по стенам которого сидели и стояли многочисленные люди самых разных возрастов, внешностей и типов и даже разных эпох. На одних были обычные европейские пальто и шляпы, на других шубы, кафтаны, косматые шапки, картузы и даже лапти с онучами. Люди не издавали ни малейшего звука, и, если бы они не начали вставать при появлении немецкого офицера, их можно было принять за восковые музейные экспонаты. Военных среди них не было, и Вольфганг решил вести себя как можно уверенней.

— Что вы здесь делаете? — спросил он строго, протискиваясь по коридору и задевая всех своим громоздким тулупом.

— Verbergen uns vor dem Einfall², — отвечала ему учительница немецкого языка в городской шляпке и пальто.

— Скрываться от нашествия запрещено, — напомнил Вольфганг.

Пройдя каменным коридором до конца, Вольфганг свернул, но и за поворотом находился точно такой же узкий коридор, заполненный без-

² Скрываемся от нашествия (нем.).

молвными людьми, и за вторым, и за третьим поворотом — точно такие же коридоры. «Когда же это кончится?» — подумал Вольфганг и тут же увидел перед собой дубовую дверь, обитую железными полосами крест-накрест.

— Что там? — спросил он Гюнтера-Расторопски, который сидел перед дверью в очереди.

— Отец русских. Руссиш падре, — был ответ.

— Отлично, — отвечал Вольфганг, стараясь не выдавать своего волнения, и толкнул дверь.

Посреди круглой комнаты горели свечи и стоял на возвышении гроб. В гробу лежал седой старец в длинных одеждах, вышитых золотыми крестами. На груди старец держал икону шестнадцатого века с изображением всадника с копьем, в алом плаще и золотом шлеме. «Наконец-то я ее нашел!» — обрадовался Вольфганг и подошел к гробу. Но в это время старец стал медленно подниматься.

— Я видел достаточно ужасов, — рассказывал Вольфганг. — Я видел горы трупов не в переносном, а в буквальном смысле, когда из тел убитых складывали штабеля высотой с дом. Но никогда в моей жизни — ни до, ни после — я еще не чувствовал такого леденящего, парализующего ужаса.

Направив на Вольфганга икону, старец громовым голосом произнес: **ПОШЕЛ! ПОШЕЛ!**

Вольфганг завопил и очнулся. На краю его лежанки сидел Гюнтер и тер ему уши руками, пытаясь привести в чувство. Все его небольшое напуганное войско теснилось вокруг.

— Мне жалко было вас будить, но вы так бились во сне... Со мной такое тоже бывало, — сказал унтер-офицер, вскакивая с лежанки.

Вольфганг не был уверен в том, что его видение не произошло на самом деле, но его постель и все вещи вокруг были разложены так, словно он никуда не выходил и только что прекратил чтение. И на месте люка был ровный плиточный пол.

— Мы отступаем. Через несколько часов здесь будет очень много Ванек и Колек с длинными штыками, и все они будут просить автограф у известного немецкого художника, — докладывал Гюнтер-Расторопски.

За время его отсутствия началась катастрофа. В окрестностях поселка появились разъезды *казаков* — не картонных рыцарей, а обычных красных кавалеристов. Командующий эвакуировал свой штаб, и вскоре поселок был обложен русскими частями, прибывающими, по слухам, из самой Сибири и оттого будто бы особенно выносливыми и свирепыми. После артиллерийской подготовки и бомбежки с воздуха русские пошли на приступ волна за волной, но попали под артиллерийский огонь и остановились. Несколько часов они лежали в снегу, на двадцатиградусном морозе. Затем немецкий корректировщик артиллерии замолчал — наверное, сибирский охотник на белок выследил его и попал точно в лоб. Русские снова пошли вперед и ворвались в Казачью слободу — предместье городка.

Тем временем другой русский стрелковый полк, вместо того чтобы маршировать под окнами церкви, превращенной в крепость, пошел далеко в обход, по льду реки, и перед рассветом показался с противоположной стороны городка. Если бы он был в состоянии с марша перейти в бой, то вся немецкая дивизия оказалась бы в кольце. Немцы стали отступать.

— Нашему саперному батальону было приказано сжечь в городе все, что горит, а остальное взорвать, — рассказывал Гюнтер-Расторопски. — Я только успел забрать с вашей квартиры самые необходимые вещи, прежде чем весь дом запылал. К сожалению, ваша коллекция дров в мотоцикл не поместилась.

Увидев расстроенное лицо лейтенанта, Гюнтер-Расторопски попытался утешить его тем, что до Сибири еще далеко и он наберет ему целую тонну самых древних, тухлявых икон. Вольфганг пришел в себя, побрился, приказал солдатам сделать утреннюю гимнастику, позавтракать и отступать.

— Так значит, вы нарушили приказ и не стали взрывать колонну? — напомнил я моему собеседнику.

Для закругления очерка было бы удобно, если бы Вольфганг, как истинный художник, почувствовал угрызения совести и отказался разрушать прекрасное произведение архитектуры другого немецкого мастера.

Вольфгангу показалось, что он ослышался или неправильно понял мой вопрос.

— Я не мог не выполнить приказа. Военные всегда выполняют приказы, — ответил он с недоумением.

— Но колонна стоит на месте, — возразил я. — Не далее как вчера у ее подножия проходил фестиваль народных промыслов.

— Я не имел возможности ее взорвать, — сказал Вольфганг. — Когда мы заняли место в укрытии и сапер открыл дверцу колонны, чтобы установить взрыватель, выяснилось, что мины в ней нет.

— Куда же она делась?

— Ну, как это у вас принято говорить, мину skommunizdili — то ли поп, то ли юные пионеры Ленина. Запасной взрывчатки у нас не было. Вот и вся моя история.

Перед уходом я стал фотографировать разложенные на столе акварели Вольфганга и все никак не мог разобрать замысловатую подпись в нижнем углу, рядом с датой: то ли Бюлоу, то Бюлуа...

— Вы могли бы прислать мне по почте вашу статью, когда она будет опубликована? — справился Вольфганг, подавая мне карточку с адресом. На карточке значилось: WOLFGANG A. BRULLOW, KUNSTDOKTOR.

— Ваша фамилия Брюллов? — удивился я.

— Разумеется, Вольфганг Амадей Брюллов. Разве я вам не сказал? — отвечал Вольфганг. — Сначала я шутил: в мире всего два великих Брюллова: Карл и Вольфганг. Но потом я стал шутить: в мире три великих Брюллова: Карл, Александр и Вольфганг. Это отличная шутка, потому что я великий только в смысле роста.

Итак, мы распрощались. И если бы мой очерк был опубликован вскоре после интервью, то он бы заканчивался именно так. Но материал, что называется, «зарубили». Визитка Вольфганга долго служила мне закладкой для книги и наконец затерялась. Снимки его картин валялись в стенном шкафу нашей редакции среди вороха других ненужных иллюстраций, пока их не выбросили на свалку во время ремонта. Не стало ни редакции, ни людей, способных подтвердить мою историю.

А тем временем отношения между людьми и целыми народами стали меняться. И вот на глаза мне попадает один документ, в котором та же история показана с другой стороны. В советской оперативной сводке штаба армии говорится: «Войска армии в течение 16.12.1941 уничтожали части прикрытия противника. Противник, отходя, сжигает населенные пункты и отравляет воду в колодцах. Фашисты полностью сожгли деревни Даниловка, Хворостянка, Козинки, Моховое...»

Деревня через дорогу от колонны называлась Моховое. В боевом комплекте немецкой саперной роты, кроме мин и взрывчатки, имелись горючие вещества и три комплекта огнеметов, выпускающих языки пламени на 20-25 метров. Улики, как говорится, налицо. После завтрака Вольфганг Амадей сжег деревню.



ИЛЬЯ ФАЛИКОВ

*

РАЗУМЕЕТСЯ, ОПЛАЧЕНО

Это мол

Это мол, это кладбище катеров,
прошай, матушка родина, будь здоров,
неродной отец, кочевой монгол,
это мой глагол, мой мол,
это город гор, это сто погод,
за живой водой непустой поход,
этот город гол,
это мол,
это шаткий стол на краю реки,
старики ушли, говорят, с тоски,
да и ну их, сват, да и ну их, брат,
пусть говорят,
это банду мертвых морских гуляк
на моем молу сторожит маяк,
это красный глаз,
это высший класс,
это Божий глас
у причальных касс,
это было мечетью, а стал маяк,
над часовней стелется донный мрак,
это чаек души, а не тела,
заржавевшие катера,
это стая белых китов вдали
пролетает вокруг земли.

Живопись

Трубит труба, и громом не напиться,
и в небесах развернуто оно —
ножом безумного иконописца
обезображенное полотно.
О, старый мир, треклятые закаты
проеханных Европ,
и влажный холст, распоротый трикраты,
и трех дорог известный автостоп.

Фаликов Илья Зиновьевич родился в 1942 году во Владивостоке. По образованию филолог. Автор десяти книг лирики, четырех романов в прозе, двух сборников эссеистики и трех книг в серии «Жизнь замечательных людей» (издательство «Молодая гвардия»). Лауреат нескольких литературных премий. В «Новом мире» печатается с 1971 года. Живет в Москве.

Пользуясь случаем, поздравляем нашего автора с юбилеем.

Кисть Репина достаточно жестока,
и вкривь пошла народная тропа,
и царь Иван лицом похож на Блока
в том возрасте, когда трубит труба.

* *
*

Боинг собственностью набух
в тяжелеющих облаках, —
сумка с денежкой, ноутбук,
да и сам я — в твоих руках.
Град ударит — небесный путь
превратится в опасный лед.
Если пальцев не разомкнуть,
оправдается перелет.

Еще не факт

Еще не факт, что означают зиму
сугробы облаков,
хотя резонно — выбросить в корзину
сезон черновиков
с километража птичьего полета
на позабытом «Ту»,
где, низкая минутой раньше, нота
лизнула высоту,
а там закат отложен в долгий ящик, —
в небесной синеве
лежат снега, в которых много спящих,
как летом на траве.

Еще не факт, что выйдешь на прогулку
без каторжных вериг
и перейдут из почвы на шкатулку
зеленый змеевик,
тигровый глаз и яшма, — и по факту
отправятся с тобой
в тайгу времен по каторжному тракту
колонна и конвой,
и небо неизвестного формата
возникнет над бугром,
где новым танком — кажется, «Армата» —
стальной прокатит гром.

Сибирской язве практики хватало,
и радиоактивна тишина,
и блеском драгоценного металла
гора освещена,
и в черных шахтах высветятся мощи,
нетленные внизу, —
остаточно березовые рощи,
спаленные в грозу,
и по кварталу вдоль пятиэтажек
в расщелине хрущоб

продрогший мальчик выишет овражек
и вырастет в сугроб.

Посверкивают щит и меч державы,
изделя хороши,
себя не прячет мальчик сухощавый
за дымом анаши,
и выпотрошит скифскую подпочву
залетный бугровщик*,
и колокол свою авиапочту
отправит напрямик, —
гудит эфир — какая ни помеха,
нас хлебом не корми,
а только б отловить осколок эха
у храма-на-крови.

Москва — Екатеринбург
2016

* *
*

Хорошо пошло оно,
виноградное вино.
Хорошо прошла она
в забегаловке, житуха.
В иглах хвои, в перьях духа,
смешанные времена.
Память — море, южный зной.
Все охвачено, все схвачено
виноградною лозой.
Разумеется, оплачено.

* *
*

Перед тем, как принести на опору причала
двуединое тело,
на подходе к Юрзуфу борта раскачало
и в снастях просвистело.
Перед этим успела волна подавиться
восхитительной парой —
Аландары накрыла заморская птица,
как десницей беспалой.

По скале пробежала несвежая рана,
отпечаток пучины,
это узенький след татарчонка Османа
и расписка Марины.
На отдельной скале насыпается пепел,
эта куча могуча,
и бейсболкой глядит маяковское кепи —
безразмерная туча.

* Бугровщик — грабитель курганов (бугров) — (сиб.).

А откуда ты здесь, настоящая дура,
настоящая литература?

Что касается нас, то касается тихо и мельком,
типа нежных медуз и моллюсков двустворчатых: welkom.
Жили в трещине, в яме, в нормальной пещере,
в циклопической шкуре,
набегали валы, исчезали печали,
доставались акуле.

Ну, зашли, осмотрелись, уселись,
сидеть до заката в пещере б, —
не разбей изнутри о скалу, моя прелесть,
серафический череп.

* *
*

Прощай — это сильно сказано,
достаточно — до свиданья.
Опознано, да не скачано
письмишко из мирозданья.

На бреющем ходит ласточка,
она же береговушка,
на похоронах — горласточка,
на свадьбах — побирушка.

Звук окрика большевицкого,
отрывок хита бандитского,
возвратная зона риска,
откуда-то из Багрицкого
развратная гимназистка.

Гомеровская агрессия
протяжной волны, однако
давно уже эта Греция —
сиртаки, а не Итака.

Мы оба ее прохлопали,
обоих она обула
на рейде Константинополя,
точнее сказать — Стамбула.

Стих вытек, как нефть из танкера,
из вечнозеленой роши
у дачи барона Врангеля,
кормившегося у тещи.



АЛЕКСАНДР СНЕГИРЕВ



ФОТО В ЧЕРНОМ БУЦЛАТЕ

Рассказ

Сильный удар в лоб едва не сбил его с ног. Чертыхаясь и растирая ушибленное место, он то кланялся, то искал глазами причину неожиданного нападения. Скоро он разглядел металлическую трубу, приваренную поперек калитки как раз на уровне его лба. Проход явно не предназначался для высокорослых.

— Я же предупреждал, — с сочувствием и насмешкой сказал проводник. Он шел впереди и предусмотрительно наклонился.

В село приехали затемно. Езда по горной дороге хоть и была по здешней традиции быстрой, но даже местные лихачи не могли перекрыть эти километры меньше, чем за три с половиной часа. Фонари вдоль шоссе горели только на равнине и совершенно пропали по мере подъема. Один раз они остановились, чтобы полюбоваться на гладь затопленного ущелья возле новой электростанции.

Выбравшись из автомобиля, он сразу увидел темную громаду горы. Полтора года назад русские солдаты карабкались на нее, штурмуя последний оплот имама. Он засмотрелся и получил трубой по лбу.

Проводник тем временем уже колотил в железную дверь и кричал цокающие и харкающие местные слова. Лязгнул замок, в проеме света показался женский силуэт.

— Принимай гостей, хозяйка, — сказал проводник по-русски, и они вошли внутрь.

Просторный зал, широкая лестница на второй этаж, длинный стол, уставленный блюдами. Пригласив садиться, женщина юркнула на кухню, устроенную в соседнем помещении, и тотчас вернулась, дымя переполненным круглым подносом.

— Это наша новая гостиница, — гордо сказал проводник, обводя рукой пустое пространство. — Сезон кончился, ты — единственный турист.

Они устроились за столом друг напротив друга, в предвкушении потеряли ладони и принялись нагребать на свои тарелки аппетитные куски. Гость кивнул на бутылку, вопросительно взглянув на проводника.

— Угощайся, — сказал проводник.

— А ты? — спросил гость.

— Не пью, — ответил проводник.

— Совсем? — уточнил гость.

— Совсем, — вздохнул проводник и добавил: — С прошлого Нового года.

Гость задумчиво посмотрел на бутылку, собрался уже было скрутить зеленую крышку, но передумал и вместо этого приложил оттаивающее стекло к ушибленному лбу.

Александр Снегирев родился в 1980 году в Москве. Окончил Российский университет дружбы народов. Лауреат премий «Дебют» (2005), «Звездный билет» (2014), «Русский Букер» (2015) и др. Финалист премии «Национальный бестселлер» (2009, 2015). Автор нескольких книг прозы. Живет в Москве.

— Вот это правильно, — одобрил проводник, воодушевившись неожиданной трезвеннической солидарностью гостя. — Кушай, остынет.

Они взялись за вареные куски теста и мяса, приготовленные одним из многочисленных способов, стали закусывать красными помидорами и зеленой кинзой, заедать белой лепешкой и запивать абрикосовым напитком из плодов, собранных в горных садах. Женщина сидела у края стола и, подперши голову, с наслаждением наблюдала за едоками.

Утолив первый голод и одновременно забыв о набухающей шишке, гость огляделся по сторонам. Стену украшала обширная картина со старинным кораблем, рассекающим волны на всех парусах. Заметив взгляд гостя, проводник с гордостью сообщил, что это работа его сына, что парень учится изобразительному искусству и не случайно учится.

— Гены, — многозначительно произнес проводник, и стало ясно, что отпрыск унаследовал способности именно от него.

Гость спросил у проводника, рисует ли он сам. Ответом послужил полный достоинства кивок и целый рассказ, раскрывший заодно и причину алкогольного воздержания проводника.

Давным-давно, двадцать пять, а может быть даже двадцать шесть лет назад проводник только окончил школу и слонялся без дела по пыльным улочкам села. Мечтой его была служба в военно-морском флоте, дома на почетном месте висели фотографии отца и деда в бескозырках и черных бушлатах. Попасть на флот было непросто — желающих много, отбор строгий. Особое внимание уделялось не только физическому, но и нравственному состоянию призывника. И вот, накануне визита в военкомат, герой рассказа подрался. Этот недостойный моряка поступок можно было бы скрыть, если бы не рука, которую он в пылу драки сломал. Сломанная рука напрочь перекрывала дорогу на флот.

Тут-то впервые и проявилась смекалка проводника — он отправил на медосмотр товарища. Системы идентификации личности в те времена были не так совершенны, как теперь, и подлог остался нераскрытым. Пока дошло до призыва, кость срослась, и наш герой оказался на противоположном берегу моря, на базе Краснознаменной Каспийской флотилии.

Служба пошла своим чередом; днем бег в трусах и сапогах по плацу, ночью рейды по кишашим арбузами бахчам. Оказавшись на судне, получил завидное место кока. Белоснежный передник, накрахмаленный колпачок, продуктов завались. Назначение, однако, не радовало — не мужское это дело у плиты стоять. Подал рапорт. Сначала не отпускали; честный кок — редкость, но потом нашли замену и просьбу удовлетворили — с кухни перевели матросом на спасательно-поисковый катер. Белоснежный колпачок сменился на черную бескозырку. К чинам не стремился; чистые погоны — чистая совесть. На Новый год доверили почетную обязанность — переодеться в шапку, варежки, тулуп и бороду Деда Мороза и поздравить экипаж.

Тем временем в Баку начались непонятки — разразился армянский погром. Для разделения нападающих и гонимых осуществили ночную высадку. Ночью подошли на эсдэкашках — средних десантных кораблях — и попрыгали прямо в воду. А сезон не купальный — январь месяц. Мокрые выбрались на пляж, окопались. Местные боевики были вооружены, ожидалась провокация. И вот лежат они в песчаных ямках, дрожат от холода, а вставать нельзя — только вскочишь попрыгать, чтоб хоть как-то согреться, командир сразу по каске прикладом — матрос, лежать!

Потом обсохли и приступили к патрулированию города и вывозу армянских семей. Адресно по квартирам ходили, долго уговаривали открыть, после чего везли на корабли. Матери писал как велели политруки: все нормально, гуляем по парку, кушаем мороженое. Последние месяцы службы провел погружившись в заработок — варганил дембельские альбомы. Тут-то и проявились хваленые гены: он и переносил картинки по трафарету, и отпечатывал оттиски, и обтягивал обложки бархатом, и, конечно, рисовал. Особенно удавались корабли. Зарабатывал на альбомах, как министр. Из одной бархатной

скатерти получались две альбомные обложки. Скатерть стоила десятку, альбом уходил за сто пятьдесят. Делал регулярные переводы домой, отцу справил новую канадку — офицерскую кожаную куртку на меху.

Когда со службы вернулся, смутные времена в самом начале были. Бойня в Баку уже ничего хорошего не предвещала, а тут вообще сплошной негатив начался. Занимался чем придется, тем, этим, спортом в том числе. Он лукаво подмигнул гостю, и тот квалифицировал упоминание о спорте как намек на участие в преступных группировках, состоявших зачастую из спортсменок. Когда все утряслось, он остепенился, теперь возглавляет местный комитет по культуре и туризму, занимается духовно-нравственным воспитанием молодежи, принимает гостей со всего мира. Заняв должность, он вспомнил свой флотский опыт и завел традицию — объезжать праздничной ночью все села района.

И вот на прошлый Новый год он нарядился в шубу Деда Мороза, напялил расшитую шапку, натянул огромные рукавицы и повесил на шею бороду. Постоянно быть в накладной бороде невыносимо жарко, особенно если под накладной у тебя еще своя настоящая. Он взял в одну руку посох, в другую — мешок, сел в свою «Волгу» цвета «серебристый металл» и отправился в путь. В мешке лежали подарки для неимущих семей, для одиноких жителей, для одиноких матерей и стариков, а на самом дне — для своих: набор петербургской акварели для сына, синеглазая кукла для дочери и увлажняющий крем для тела жены. Родное село стояло последним в его новогоднем маршруте, вернуться он планировал аккуратно к бою кремлевских курантов и радовался возможности весь вечер таскать с собой подарки для самых близких.

Сначала все шло по накатанной: в первом, самом отдаленном селе он надвинул бороду, поздравил собравшихся на площади жителей, вручил подарки, в том числе и придурковатой Хадиже, пришедшей с пожилой матерью, выпил обязательную рюмку и уехал. Во втором селе сказал речь, поздравил, подарил, сдвинул бороду, выпил, закусил хинкалом. В третьем поздравил, подарил, выпил прямо через бороду, уехал. И так вплоть до пятого села, где его встретили встревоженные жители.

Оказалось, что буквально за полчаса до его появления на площадь приехали религиозные фанатики, заявили, что деды и прадеды Новый год не отмечали, что Новый год — грех, а елка воплощает всю глубину духовного падения современного человека. После этих слов фанатики закинули в грузовик лесную красавицу, украшавшую площадь, и увезли в неизвестном направлении.

— И тогда я приказал назвать имена, — сказал проводник тоном падишаха.

Гость слушал, не отрываясь, женщина вздохнула.

Жители села сначала не решались выдать похитителей елки, но, выслушав убедительные аргументы, назвали двоих.

— Район маленький, все друг друга знают, — усмехнулся рассказчик. — Третий был чужаком, а двое оказались местными.

Ему выдали не только имена, но и снабдили номерами телефонов. Решив, что разговор требует личного присутствия, мужественный рассказчик не стал звонить, а направился напрямик домой к тому преступнику, который прожил ближе. Несколько мужчин вызвались сопровождать его, но, не желая никого подвергать опасности, он пошел один.

После продолжительного стука в ворота ему открыла строгая женщина, которая процокала и прохаркала, что сына дома нет. По второму адресу его ждала похожая картина, с тем лишь отличием, что ворота открыл мужчина, заявивший, что не видел своего паршивца с позавчерашнего утра.

Тогда он решил звонить.

Голос в трубке был взволнованный и запыхавшийся.

— Я его сразу спросил, куда он и его дружки дели елку, — сказал проводник. — Он сначала отпирался, но недолго. — Проводник многозначитель-

но посмотрел на гостя, и тому стало ясно, он умеет вести допрос быстро и эффективно. Даже по телефону.

— Вам чуду не нравится? — спросила у гостя женщина.

— Что?

— Чуду, пирог, — сказал женщина и переложила на его тарелку увесистый сегмент здоровенного пирога.

— Очень нравится! — воскликнул изрядно переевший гость.

— Тогда почему не кушаете? — спросила его женщина тем тоном, каким говорят с провинившимся школьником.

Гость прилежно принял за чуду, а проводник вернулся к рассказу. Похититель елки быстро скис и сообщил ему свое и поделщиков местоположение. Через считанные минуты он, проводник, в распахнутом тулупе, в расшитой шапке, в рукавицах, при бороде и с посохом, прибыл на место.

На уединенной поляне на склоне горы пахло гарью. В центре пятна, чернеющего в свете фар «Волги», горел остов елки. Грузовика не было. Поблизости топтались двое. У одного стремительно набухла разбитая губа. Без слов стало ясно — по телефону говорил именно этот.

Первым делом Дед Мороз выхватил огнетушитель, но тот вместо спасительной струи выжал из себя лишь жалкий плевок. Тогда Дед Мороз набросил на огонь свой тулуп. Пламя удалось сбить, но зрелище представилось печальное. Большая часть веток успела сгореть, мишура скукожилась, пластиковые шары оплавилась, красная звезда-наконечник потекла.

— Сейчас вы двое найдете новую елку и поставите ее на место, — сказал Дед Мороз понурившимся негодьям и сунул бороду в карман — такое было пекло.

Те, однако, выполнить приказ отказались.

Тогда он спросил, имеют ли они что-нибудь лично против него, Деда Мороза и председателя комитета культуры и туризма всего района?

Негодяи ответили, что нет, против него лично они ничего не имеют.

Тогда он спросил, не настроены ли они против его отца?

Ни в коем случае, его отец — почетный житель района.

Уж не затаили ли они зло на его дядю-участкового?

Нет, дядя-участковый — всеми уважаемый человек.

Тогда, может быть, им чем-то не угодил другой его дядя, начальник леспромхоза?

Оказалось, что и другой дядя пользуется у негодяев непререкаемым авторитетом.

— Я сказал им, что, когда пробьют куранты, в селе должна стоять елка. — Проводник выразительно посмотрел на гостя и даже поднял вверх указательный палец.

— И что они?

— Побежали искать елку, до Нового года оставалось сорок пять минут, — ответил проводник.

— Успели найти?

— Нет, — проводник выдержал торжественную паузу и добавил: — Я их остановил.

Он дал негодьям команду «отставить», потому что понял — негоже племяннику начальника леспромхоза портить в праздничную ночь зеленые насаждения. Он решил поступить иначе.

Они привязали обгорелую елку на крышу «Волги» и погнали в село. Одного из негодяев, который еще не до конца раскаялся, он посадил сзади, а другого — с разбитой губой — рядом. Ремни безопасности, разумеется, не пристегнули — по тамошней традиции, новорожденных принято туго пеленать, поэтому они всю жизнь ненавидят любые пуги.

Когда они прибыли в село, площадь почти опустела, только несколько стариков сидели на пеньках, служащих скамейками. Елку оперативно установили на прежнее место, и жители собрались вокруг. Выглядело все, однако, совсем не празднично. Обгоревший скелет с редкими иголками и

жалкими остатками игрушек. Среди пришедших пробежал шепоток, что, мол, позорно такой уродиной украшать село в государственный праздник. Перемазанный сажей Дед Мороз залез по лестнице на самую верхушку, достал из кармана бороду и стал оттирать скособоченную звезду. Очистить звезду он не смог и тогда просто надел на нее свою переливающуюся серебряными нитями шапку. Последовав его примеру, одна смелая женщина, про которую говорили, будто она живет с четырнадцатилетним, сняла с головы платок и повязала на ветку. Тут из радио донесся бой кремлевских курантов, и жители села принялись поздравлять друг друга, а чумазый Дед Мороз подошел к негодяям с полиэтиленовым пакетом и велел переложить в него все деньги из карманов. Когда карманы были опустошены и даже вывернуты, пакет под общее одобрение был передан одинокой вдове, у которой дочь училась в институте.

— На сессии пригодится. — Проводник снова подмигнул гостю. Задабривание экзаменаторов — обычное дело в том краю.

Деда Мороза пригласили за стол, он поел и выпил рюмки две или три. А может быть, шесть. Перед возвращением домой ему осталось побывать в одном единственном селе. Ехал он аккуратно, небыстро. Когда добрался, его сразу принялись угощать. Он что-то говорил, поздравлял и вручал. Потом заметил красивую девушку и сказал, что он ее похищает. Ему напомнили, что он женат, на что он возразил, что похищает красавицу для друга. Красавица между тем оказалась строптива и наотрез отказалась быть похищенной...

Женщина вышла из-за стола. Посмотрев ей вслед, проводник продолжил.

Получив тогда отказ от красавицы, он отдал ей свой посох, а сам собрал со стола скатерть вместе с яствами, стянул наподобие узла и объявил, что это компенсация. Домой вернулся утром. Из наряда Деда Мороза осталась только левая рукавица и мешок. Костяшки на правом кулаке были разбиты. Когда он полез в мешок за подарками, за акварельным набором, за куклой и за кремом, то обнаружил только осколки тарелок, бараньи кости и размокший кусок лепешки.

— С тех пор не пью, — сказал проводник. — Хорошо, жена у меня добрая, простила. — Он кивнул в сторону кухни, где женщина заваривала чай.

После ужина проводник достал гармошку и, подыгрывая себе и глядя поверх гостя, принялся петь очень длинную и очень красивую песню.

Гость провел в селе три незабываемых дня. Он видел руины дома религиозного фанатика, убитого во время спецоперации. В местном музее видел потрепанное знамя имама. Знамя раздваивалось, и кончики были окрашены красным. Смотрительницей в музее работала приветливая женщина в черном. Погибший фанатик приходился ей единственным сыном. Гость видел кладбище с торчащими наперекосяк, как плохие зубы, длинными камнями. И, конечно, он видел гору, взятую когда-то штурмом, но по сей день закрывающую половину звездного неба.

На ступенях монумента, посвященного именитому местному уроженцу, гость поддел ногой целый пласт палых листьев. Листья никто не подметал, ими было засыпано все вокруг.

— Ничего, школьники соберут для гербария, — нашелся проводник и добавил: — Я стараюсь мыслить позитивно.

На прощанье проводник, он же глава департамента культуры и туризма, он же Дед Мороз, подарил гостю кружку с видом горы и сказал, что, вдохновившись воспоминаниями, поговорил с отцом и тот признался: ни он, ни дед во флоте никогда не служили. Просто одалживали красивую черную форму специально для фотографии.



ВИКТОР КОВАЛЬ



НАСТАВКИ И УМУДРЕНИЯ

Хорошуй хорошо

Хорошенько хорошуй хорошо.
Плохо само уплошится, а хорошо хорошения требует,
хорошевания.

Без хорошевания
хорошилось хорошо, да и схорошилось в порошок.
Плошневеет хорошо — без хорошевания.

Без хорошевания
хорошуги всего хорошего
лежат плошнивьём обросшие
и хорошилово — как плошилово
уплошает плохца паршивого.

Без хорошевания,
хошь-не хошь, плохнет хорш.
А из плошного хорша
вырастает хворьша.

Люди спрашивают:
— Как хорошуете? — и отвечают:
— Хорошует во плохах как в лопухах.
Или: — во плохах, как в облаках.
А ты говори:
— Помаленьку хорошую хорошению большую,
пока плохница сама не заглохнется.

Общее место

Слышу поверх симфонической музыки голос
проводника — по местному радио:
— В нашем поезде нету воды, а в соседнем — возможно —
на Лабьтнанги.

Надо успеть. Вот и бегу я туда; баклагу
вижу в окошке вагона — с водой питьевой. — Пить! — говорю я беззвучно.

Коваль Виктор Станиславович родился в 1947 году в Москве. Поэт, прозаик. Окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график. Входил в состав поэтической группы «Альманах». Автор четырех поэтических книг. Живет в Москве. В «Новом мире» публикуется впервые.

— Вот! — достаю из горсти монету — один фунт стерлингов.

— Нет, всё отдавай! — говорят из окна.
Это значит — надо немедленно выкрикнуть — визг отходящего поезда перекрывая: — Нет, это ты — всё отдавай! — Ты, чего материшься? — сказала жена, — пить надо меньше.

Это надо запомнить: сколько ступенек ведут из бассейна с ныряющей статуей в 27-ю квартиру. До второго дойду этажа — сбиваюсь со счета — и вниз — с чистой доски — всё начинается заново.
— А ты на другой бок повернись! — шипит матюгальник Я. Протазанова.

Перевернулся —

бабушка Анна Петровна по маминой линии: — Да, мы спаслись, но отец твой когует. Тут — вторую семейку завёл! — доносит, затягиваясь, — в диадеме лучистой, украшенной спицами, как в «Аэлите» Юлия Солнцева, но — с едим своим «Беломором».

Его дымовая завеса — густая — на нас надвигается, нарастая, так неестественно быстро, что все на площадке едва успевают матом покрыть пиротехника за перебор средств — магния и алюминия.

Понимаю: изморозь, иней.
Стою в парах парафина и нафталина, слышу, как неразборчивый ропот над седой пролетает водой — тудой-сюдой;
кажется, каждое слово: паёк, ложка и кружка — падает — ёк — в вязкую мглу без всплеска.

Вспышка: вот это место общее! — надо запомнить — Обь!
Вот этот берег высокий навис над провалом в Обь —

на стыке Сибирской платформы с Древним Уралом.

Неявка сюда невозможна, явка — невыносима.
Это надо записывать: «Здесь техника молодёжи, нет — знание-сила — сосредоточена у Хусаинова, нет — Харсаима!..»

Наставки и умудрения

1

Щупл тощ в худобе своей, да жив, пока костн и мршав.
 Обло облако; тучно, улечучно.
 Вот и ты — взыскивай, да не взыщи,
 говори ежеутренне: — Вздравсь!
 Хмурую думу уволь, вдохни бодровитую!
 Скажешь так — вздравсь тебя вдохновит и воздравит.
 А скажешь с усмехом дерзким, как дитя неразумное: — Вздришь! —
 вздришь тебя вздрит.

2

Спящий храпит — взнузданный
 разнуздиться не может. Разнузда ему помогай.
 А кто разнузду уздить будет? Взнузда. Зови и взнузду.

Прямень и кривень во сне кричат —
 хорошо поработали.
 Ясень и смутень во сне плачут —
 растут.

3

Корми работников своих, как ешь сам,
 ибо вместе ходите.

Околонь ходит по кругу, привязанный к колу,
 одрынь — к дрыну,
 охлуд — к хлуду.
 Из каких ты пошел — из одрынцев, из околоней или из охлудов —
 всяк говори:
 — Такая вязовина не мною связана, да мною сваз движется.

И в небе есть песть — чад своих пасет,
 а чады песть пестуют, пестунью свою.

4

Где умудренноглавые ходили, блюди их вытопки —
 там не топчи.

Отвергай куковину, вразумляй кукшу.
 Кто куку кому вскрючит, того кукшей зови.
 Не назовёшь — сам скрючишься.

Обнимай гнездоту, да щупай гнездливых:
 всё ли тут гнездно и годно?

Чуй да чувай!

5

Посади чад вокруг едалища.

Скажи:

— Всю едовину не уешь. А она — тебя?

Ответят:

— Целует в уста, едовина ненасытная. Снедает, снедаема.

Каждому дай его едло, едолю его.

И неедальцам — также.

6

Крохи собери со стола — для сорницы побирухи.

Скажи:

— Побируха сорница рубаху шьет —

всегда недошитую и криво тканную,

и дыро пряденную —

из пыли и сора, что по углам собирает

сорница, побируха.

Побируха сорница озорница, попрядуха,

ветреница, веретенница,

без рубахи по дороге идёт, пыль столбом подымает:

— Вот оно — веретено!

Кто увидит — блеск того взнищит!

7

Лысый валун булыга-лыбуга

в желвах лежит, в морщах да в лишаях.

Вот и ты — лишнего не скажи,

говори: — Молчу! Мало ли чего алчу,

глыба-улыба.

Как страх нападёт, не бубучь, не гукай.

Встань-встынь, говори:

— Я тут внучок Стоерос, в землю врос.

А ты проходи, дедушка Столбелей!

Как пройдёт — не заметишь.

Пройдёт и тётка икотка,

и долгочих — дядька завстрялый.

8

Разумей толчки да тычки свои.

И худо дело — втычено,

и любо дело — втолчено.

А ты не тыч, как быч и не толч, как волч.

9

Мрозьке, зьмуке-зьмушей,
не говори «мрза лютодрыжная».
Скажи: — Дево льдивое! Бледное. На другой бочок
перевеснись! Да не задави
всяку лежмяку.

Уж такое это дело делдое —
простое надло, строгое требло —
люто перелютовать до увесневения,
да в ярах отъяриться и приосениться —
во благах, как в облаках.

А там и томь — льнёт. Лилеет томильце.
— Не притомиться ли? -
Подумал так — в томилице впал.
В томилице впалый отверсту зовёт.
Ты не зови!

Не почитай адтулину
как красотулину.

10

Не говори всуе: «Суя». Пустое множить — отверсту звать.
А ты зовёшь.

Прямо гляди. Зыркобокий ко кривде клонится,
кривень блюдёт.
А ты прямень прями, да ему не подобься!
Не всё правда, что прямо. Обод — гнут, да катится.

Кривду всуе не хули, ибо хула — суть кривда.
Хулотворцев не хулом выхуливай, но возмозговывай.

Выползниц крючекрылых
и перепончатопалых выползней из отверсты кипелой —
отгнезди.
Вдвинь им мудрь в дурь.
Вжучь им добра в пыск.
Взстыди их живот угрымзами своести.
Укори их в ямку ядрёмную — твардой кроткостью.
Говори: — Хороша
редька драния, а не дрянная!

Не взъярясь, говори: — Гнездно и годно!

11

Блюди даху свою.
Что даха даст — то и взяха возьмет.
А ты выпестуй зижду —
вот радость!

Даху и взяху — превозмоги через невмоготу.
Превозневмоготою зижда воззиждется!

12

И ежевечерне:
— Мрей!
Уложи меня ладно во Встреку-реку мрееву,
да ладно выплынь оттуда ко здравсю.
А скажешь с усмехом дерзким: — Мрись! —
мрись тебя смрит.

Чу, гук: выл вук.
Кто выл? Вылк.
Кто был? Былг.



ЕГОР ФЕТИСОВ



ВЕСЕЛЫЕ КАЗНИ

Рассказ

Л. К.

(Э) *ти несколько минут до эфира не за что любить, а я их люблю. Вот только не надо философии, да она сюда и не уместится. Четыре, три, два, один, плавный взмах рукой —)*

Здравствуйте, дорогие господа. Сегодня мы читаем и понимаем рассказ

ВЕСЕЛЫЕ КАЗНИ

(Да, тут, конечно, никаких условий для чтения. Ни журнального столика, на который можно положить ноги, устроившись в глубоком кресле, ни самого кресла, ни гамака, наконец, упруго натянутого между деревьями в саду, ни шезлонга на берегу шумливых волн... Ну да ладно, работа есть работа, глоток кофе, и поехали...)

В салоне жара, никак не сочетающаяся с зябкой хлябью улицы. Молодой шофер с восточной внешностью забрасывает два моих чемодана в багажник и садится рядом.

— Добро пожаловать в Шымкент!

Его русский почти лишен акцента.

— Вырубай свою Африку, — говорю я. — И радио тоже. Лучше поговорим.

Он с видимой охотой выключает магнитолу.

Восточные люди любят поговорить.

Слегка перефразируя Козьму Прутков, я сформулировал бы так: не разговаривайте с таксистами — эти разговоры бессмысленны и опасны. С другой стороны, в обстановке угрюмого молчания таксист, как своего рода дальнбойщик, может уснуть за рулем. Рекомендуемая мера — дозированное обсуждение маршрута и Путина.

В действительности всю дорогу до аэропорта говорит он, время от времени прерывая свой рассказ, чтобы сплюнуть в специально приготовленную бутылочку.

— Не на улицу же харкать, — говорит он.

Я киваю. Да, на улицу харкать нехорошо.

Фетисов Егор Сергеевич родился в 1977 году в Ленинграде. В 1999 году окончил немецкое отделение филологического факультета СПбГУ. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Печатался в журналах «Арион», «Октябрь», «Волга», «Нева», «Номо Legens», «Новый Берег», «Литература» и др. Финалист Международного Волошинского конкурса в номинации короткого рассказа (2015). Автор книги стихов «Лишь часть завета из ниоткуда...» (СПб., 2012), романов «Пас в пустоту» (СПб., 2014) и «Ковчег» (СПб., 2016, лонг-лист премии «Национальный бестселлер»). Переводчик. Редактор журнала «Новый Берег». С 2013 года с семьей живет в Копенгагене.

Не спрашиваю, что вынуждает его это делать. Он поясняет сам, непри-
нужденно, как будто мы расстались вчера как раз на этом месте и теперь
просто продолжаем разговор.

В бутылочку он сплевывает от нервов. Точнее говоря, от острого гастри-
та, который, в свою очередь, разыгрался от нервов. А нервы, само собой, от
любви и предательства.

— Не могу простить предательство, — говорит Джамшид.

— Что значит имя Джамшид? — спрашиваю я.

— Подарок, — отвечает он. — Точнее, нет, не подарок. Приз. Награда.

Я киваю.

— У меня прозвище Оскар, — говорит Джамшид и, не надеясь на мою
понятливость, добавляет: — Это в честь этой... статуэтки, которую за кино
дают. Тоже награда. Шутка такая, — добавляет он и сплевывает в бутылоч-
ку. — Это иранское имя, — продолжает Джамшид, — персидское. У меня
дедушка — перс, отец — тоже наполовину перс. Деда Мумин звали. Тоже
персидское имя.

Я не спрашиваю, что значит Мумин.

— Дед Мумин был учителем истории. Я им, знаешь, очень горжусь, —
добавляет он и бросает на меня взгляд.

Я спрашиваю, какая разница между иранским именем и персидским.
Джамшид говорит, что никакой. «Иран» значит «страна ариев», а греки
называли ариев персами, потому что в центре Ирана была область Парс.
Парсы, персы, арии, иранцы — все одно, говорит Джамшид.

Прервемся на пару минут. Я представляю себя пассажиром этого такси. Мне
нечего сказать. Лирическому герою нечего сказать. Мне как читателю нечего
сказать. Это характерное последствие ситуации, когда тебе в мозг без долгих рас-
спросов влили порцию так называемой «объективной информации» типа «рост
Наполеона 163 см». Опыт показывает, что влитая в ваш мозг объективная инфор-
мация не годится ни на что, кроме как при случае слить ее в мозг собеседника и
насладиться минутой молчания, потому что ему нечего будет на это сказать.

— Дед меня в честь персидского царя Джамшида назвал. Хороший был
царь, веселый. Ну как, веселый, — поясняет Джамшид. — Он казни, знаешь,
веселые устраивал. Так что народу нравилось. И еще он придумал вино.

На первый взгляд, граждане, и на взгляд автора, веселая казнь — это дикость.
На второй — дикостью является казнь как таковая, а если уж казнь не обсуждается,
то особенно нелепа унылая казнь — как, впрочем, любая тавтология.

Я киваю. Вино придумать не каждый может.

— Много времени уже прошло, — объясняет Джамшид. — Тысячи лет
прошли. Семь или восемь. Дед рассказывал. Джамшид очень любил вино-
град и хранил его всегда в кувшинах. И вот однажды виноград испортился,
и он велел написать на кувшине слово «яд». А какая-то женщина, знаешь,
проблемы у нее были, голова болела, да, выпила этот типа яд, и так хоро-
шо ей сделалось, что придумали и дальше виноград портить в кувшинах.
Я очень горжусь, что меня в честь этого царя назвали.

Я киваю.

— Так значит, не Джамшид придумал вино, а какая-то женщина? —
спрашиваю я.

Он смотрит на меня неодобрительно и сплевывает в бутылочку, на этот
раз именно чтобы плюнуть.

— Я в Питер не так давно приехал, — возвращается Джамшид к своей
истории, и голос его опять смягчается. — Из-за девушки. Отыскал ее через
«Найди меня». Спустя восемнадцать лет. Такая вот любовь, сильное чув-
ство, — добавляет Джамшид. — Когда настоящая любовь, тут время ничего
не может сделать, — говорит он.

— Как ты ее потерял-то, восемнадцать лет назад? — спрашиваю.

— Её отец, тесть мой, настоящий мужик, кстати, — говорит Джамшид. — Летчик высочайшего пилотажа, самолеты проверяет новые, как у них, все ли в порядке и так далее.

— Летчик-испытатель, — говорю я, но Джамшид не замечает моих слов.

— Он кем только не был, военный, знаешь, и начальником гарнизона был, столько ответственности, знаешь, на нем, и за все годы ни одного седого волоса. Я им горжусь, своим тестем, — говорит Джамшид.

Я киваю.

Ловлю себя на том, что и я киваю.

— Его в Питер перевели, и жену, конечно, тоже, и дочку его, с которой я тогда в одном классе учился. В военном городке, — добавляет Джамшид. — Мы жили в военном городке...

— Да, — говорю я, чтобы что-то сказать.

(Это правильно. Например, если скажешь «нет», обязательно придется сказать еще что-нибудь в развитие и объяснение. А «да» самодостаточно.)

— И вот столько лет спустя я ее нашел.

— Удивительно, — говорю я.

— Я же не знал, какое в этом предательство окажется, — вздыхает Джамшид.

Я жду про предательство.

— Они мне ничего не сказали про ее эпилепсию, — говорит Джамшид, и в его голосе обида и ожесточение. — Знаешь, скрыли от меня. И теща скрыла, знаешь, чтобы я на ее дочке женился, вроде чтобы в хорошие руки отдать. Не захотела говорить. А жена думала, что я ее, может, разлюблю, если узнаю про припадки.

Он чуть не плачет.

— И как ты узнал? — спрашиваю я.

— Когда она уже беременная была. Поначалу все спокойно было, не догадывался даже. А на седьмом месяце началось, да, — говорит он.

Я киваю.

— И знаешь, во мне как будто что-то сломалось. Я раньше шесть лет в МЧС работал, на такие глубины спускался, в водохранилище людей спасали, один раз целый табун лошадей в грозу потонул, на высоту поднимался, ничего не боялся. Теперь всего боюсь. Высоты боюсь, за руль долго боялся садиться, в ванной боюсь мыться, всего боюсь! — в отчаянии говорит он.

Я киваю.

— Я восточной гимнастикой уже занялся. Часами, знаешь, сидел на твердом полу и смотрел в одну точку. Старался не моргать даже. Чтобы сосредоточиться.

— Помогло? — спрашиваю.

— Геморрой высидел, — говорит Джамшид. — А потом еще вот этот начался, гастрит, врач говорит, на нервной почве. Как какая кошка мимо пробежит, мне уже кажется, что у кого-то припадок.

Я молчу.

А я киваю.

— В общем, ушел я от них. От жены и ребенка. Не мое это дело. Обманули они меня, она и теща моя, нехорошо это, но Бог им судья, — говорит Джамшид. — И вообще, я хочу в Шымкент вернуться. Климат здесь плохой.

Здесь я, дорогие слушатели, в некотором недоумении возвращаюсь к началу рассказа. Мне казалось, что мы в Шымкенте и едем из аэропорта («Добро пожаловать в Шымкент»). Ну, или с вокзала. Что противостояло этой информации? Зябка

хлябь улицы? Но я, например, не такой специалист по горячим точкам советского юга. Может быть, так у них там выражается зима? Далее Джамшид говорит, что не так давно приехал в Питер, — но ведь потом он сбежал от жены и дочери. Так, может, сбежал и из Питера? Вживаясь в новую реальность, я соображаю, что «Шымкентом» таксист называет перегретую внутренность салона. Но что бы тогда герою не подхватить эту игру и не сказать: «Выключай свой Шымкент»? Его Африка (третья географическая привязка при неназванной первой) окончательно сбивает с толку бедного читателя, а хотя бы и меня. В итоге ближе к концу я понимаю, что герой пока что двигался в Питере откуда-то к аэропорту. Куда он летит, боюсь спросить.

Так ревностно оберегая географическое ривасу, автор сильно дозирует контакт между мной и лирическим героем. Я элементарно не знаю, опаздывает он на рейс — или у него вагон времени, летит он к любимым людям или от любимых людей. Его внутренняя жизнь для меня опечатана. Автор как бы переводит стрелки: я закрыт — он открыт. Интересуюсь Джамшидом.

Но при этом я интересуюсь Джамшидом с сиденья авторского героя. Я не могу интересоваться сильнее, чем он. (В этом отношении очень трогательно реклама великолепных, с чудовищным разрешением, телевизоров. По замыслу, ее наблюдают обладатели гораздо худших телевизоров, чтобы был стимул менять. И муж орет жене на кухню: «Валя, беги сюда! Глянь, как показывает телевизор внутри рекламы! Не то что наше говно!» Поясняю свою мысль: телевизор внутри рекламы не может показать больше, чем тот телевизор, по которому показывают рекламу.) А авторский герой интересуется не сильно. Видно, что нравственная система таксиста ему не близка. Геморрой, который Джамшида несколько угнетает, нас с вами несколько смешит. В общем, я был готов прослезиться и даже заготовил 50 г слез, но автор не дал мне шанса их пролить.

С другой стороны, на каждый рассказ не наплачешься. Тут мы с вами улыбнулись — и на том спасибо. Так ведь?!

— Северный климат, — говорю я.

— Да, плохой климат, — говорит Джамшид. — В Шымкенте сейчас тепло, — почти ласково говорит он.

— Когда уезжаешь? — спрашиваю я.

— Через два года, — говорит Джамшид. — В 2018-м. Чемпионат мира по футболу посмотрю и поеду.

Мы подъезжаем к недавно отстроенному зданию нового аэропорта.

— Скажи, Джамшид, — спрашиваю я. — А как же большая любовь? Против которой время бессильно?

— Главное, не должно быть обмана! — Джамшид смотрит на меня с вызовом. — Вот у меня друг недавно женился, так ему теща сразу сказала, что невеста к полноте склонна и толстая может сделаться со временем, как тетя ее. Вот это хороший поступок и никак любви не мешает, — говорит Джамшид. — И она дочку свою отдала в хорошие руки, потому что честно призналась.

Он садится в машину. На четверть перс. Или парс. Или иранец, ариец, какая разница.

Интересно, как ее зовут, его бывшую жену — с эпилепсией и малышом на руках. Я не знаю никаких персидских имен. Только Джамшид и Мумин. Я знаю даже двоих Джамшидов. Второй устраивал веселые казни, давно, правда. И придумал вино. Несколько тысяч лет назад. Шесть, а может быть, семь. Прекрасное лекарство от любви и измены.

Что ж, дорогие мои, неплохой рассказ. Можно даже сказать, весьма неплохой.

Помню, ехали мы с товарищами на такси по (разумеется) Москве через несколько дней после триумфальной посадки Матиаса Руста на Красную площадь. И таксист всю дорогу вкусно ругал наше военное начальство, а закончил так: «Был бы жив Сталин, дал бы ему (Русту) две звезды, а потом к стенке поставил».

Примечательное заключение. За один только народный зачин таксист лишился чаевых, что придало бескорыстности всей его эмоциональной речи. Сталин предстал чисто маркесовским персонажем. И почему именно две звезды?

Отчего-то мне вспомнился тот таксист, который вез нас к Киевскому вокзалу — а вот зачем, уже не восстановить... Своего рода веселая казнь — при свете двух геройских звезд? Нет, это позднейшая параллель, так, для красоты. У вас таксист — и у нас таксист. Наверное, так.

Бензиновый душок, бессмысленный смех на заднем сидении, закат коммунизма, рябь воды в Москва-реке, тупая молодость и все настоящее еще впереди.

До свидания, мои дорогие слушатели литературы. До новых встреч с чешуйками нашей жизни, понемногу складывающимися в чешую.



АМАРСАНА УЛЗЫТУЕВ



КАК МНЕ ЭТО СПЕТЬ

Бывают такие девушки

Весной вместе с вербными делами
Выясняется, что существуют такие девушки —
Саморожденные, как древесные лягухи или богини,
Сошедшие словно с рисовой бумаги Утамаро или Ши Тао,
С ума сошедшие будто с полотен пуантилиста,
Высеченные огнем,
Вырезанные клыком,
Выловленные волосатыми руками Пана из древнегреческих рек и озер,
Настолько совершенные, с законченными формами и вздернутыми носиками,
Над суетой парящие,
Наст белоснежный взрывающие моего воображения,
Что я не могу себе представить,
Что их вообще кто-то рожал, строгал, сочинял, откладывал, сносил в
потугах и муках,
Их мохнатых родителей,
Крылатых, усатых, сопатых, сохатых и даже слегка ноздреватых...
Действительно, если бы мы знали, из какого сора, ила, рожна
Делается лягуха-весна...
Из какого абсурда, несбыточных снов, бредовых мечтаний
Образуются Маши и Тани...

Калининград прекрасный вижу

Щука, выловленная в Балтийском море, треска из озера, судак из реки,
Счастья полные штаны, федеральный судья с гармошкой,
Трубочист в прикольном цилиндре, не бывавший ни разу в трубе,
30 лет не писавший стихи, бывший директор завода «Миг»,

Рассказы, вбирающие как янтарь, о Кафедральном Соборе,
Восставшем из детского плача и пепла сожженных английской авиацией,
«Последние солдаты вермахта» — деревья-убийцы вдоль узеньких автодорог,
Пламенеющая готика прибрежных дач — неогерманский юген-стиль,

Русский поэт, с тоскою поющий о прусских кирхах,
Архитекторы, взывающие к властям о реставрации немецкого замка,
Призывающий, я, вслед индейцам навахо, у Могилы Канта
Звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас:

Улзытуев Амарсана Дондокович родился в 1963 году в Улан-Удэ. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковался во многих журналах и альманахах. Автор четырех поэтических сборников. Живет в Улан-Удэ и в Москве. В подборке сохранена авторская пунктуация и орфография.

— Красота да пребудет впереди меня,
 Красота — позади меня,
 Красота — надо мной, красота — подо мной
 Красота да пребудет вокруг меня...

Встретил я здесь нежданное чудо — неизвестного друга отца,
 Фотографа из моего сиротского детства и семейных альбомов,
 В 86 еще бодр — показывает эмблему Европейского Литэкспресса,
 Свой черно-белый шедевр — колесо от бурятской телеги...

Ире Васильевой — королеве митьков

Как приехал я однажды я в Санкт-Петербург,
 Как не знаю кто весь простуженный,
 Да как отпаивала меня королева митьков
 Душистым собственных рук — глинтвейном.

А еще с нами был коллега ее —
 Офигенных гравюрных дел мастер,
 А хозяйка-красавица баиньки уже ушла,
 А мы болтали до утра да варили пельмешки...

Так об чем у нас был с ним разговор —
 Как я в Лувре однажды видел гравюры Гойи,
 А он мне понарасказывал про их дела —
 Офигенные их гравюрные титанические дела...

Там на кухне голубь на излечении жил не тужил,
 В такой коробке картонной —
 Он выглядывал в дырку и всевидящим оком косил,
 Ну прям — Ленин из броневика...

Ну, я целу неделю стихи там читал —
 У Арсена, у Мякишева с Ингой, с Умкой, у Либуркина,
 Мою благодарность всем — кто бы приютил? —
 Молча, как голубь бьет крылом о стенки черепной коробки...

Я обратно уехал я в азиатскую Москву родну,
 Чтоб сон разума не рождал чудовищ...
 Как во сне побывал, революции колыбель покачал,
 Как бы глянул в окно — как бы в черный квадрат Европы...

В краю непуганых псковитян

За рекой, за Великой, в Завеличье,
 Где трава особенно зелена, свежееумыта,
 А коровы на ней особо домашние — уютные, самодостаточные,
 А молоко у них желтое от одуванчиков,
 Все поют Скобаря Под Драку, в пляс пускаясь под крики «Асса!»
 И в центре града, который, действительно, брат мой Семин, прекрасней,
 когда небо над ним в облаках —
 Свет моих очей, Храм Василия на Горке,
 С колоколами, будто опущенные орудийные стволы чугунных пушек,
 Выглядывающие из древних бойниц...

Точь-в-точь Мария с младенцем сидит такая нарьянмармочка,
 Тут же ненецкая лубяная зыбка, и русоволосая старшенькая —
 от первого мужа,
 А приютила их ярангу и чум во дворе какая-то московская школа,
 А сегодня в гостях у них индейцы из Эквадора — поют и пляшут...

И вождь юкагиров сегодня пришел к их гостеприимной стоянке,
 И нивхская поэтесса говорящая мне, что она нивха, а слышится нимфа,
 И я, читающий ей мое юношеское стихотворение Идущий на север,
 Их, танцующеликих, стараюсь как следует запомнить...

Их белым снегам, их тундрам,
 Оленям пасущимся в них,
 Полярной звезде, что утром,
 Последний увидит нивх,

Я говорю: тоскую
 По вашим тугим шатрам,
 Что жителями целуя,
 Не возвратятся к нам...

И сдерживая рыданье,
 Я говорю прости,
 Их северному сиянью,
 Что не успел спасти....

Совершенство

Как Чингисхан со сгустком крови, зажатым в кулаке,
 С кошмарной тягой к совершенству,
 Как с бритвою в руке,
 Я, кажется, родился...
 Вечность раскосыми и жадными очами смотрит в душу, а я печалюсь —
 Вечно собою недоволен...
 Великий и могучий
 Волнуй, волнуй мне бабочку поэтиного сердца и щекочи уста...
 Кругом такая красота, аж скулы сводит,
 Как мне это спеть,
 Какими соловьями, семирамидами, каким пером неистовым,
 Как сумасшедший с бритвою в руке...
 Возможно, кто-то беспощадный в генах,
 Волшебство вернуть,
 Выклевывает, рвет мне печень,
 Вспорхнув на грудь...
 Орфея перепеть хочу, миры слагать по новой,
 От пенья моего чтобы у лошади слеза катилась,
 у женщин животы взбухали, у двух Медведиц начиналась течка,
 Офелия не утопилась,
 Орда не прекратилась — чтоб даже девственница могла на край земли
 нетронутой проехать...



Н О В Ы Е П Е Р Е В О Д Ы

ШЕКСПИР И ДРУГИЕ



ВЛЮБЛЕННЫЙ ПИЛИГРИМ

Перевод с английского, предисловие и комментарии Сухбата Афлатуни

В 1599 году в Лондоне вышла книга «Влюбленный пилигрим. Сочинение У. Шекспира» (*The Passionate Pilgrim. By W. Shakespeare*).

Это был сборник любовной поэзии — товар, ходкий во все времена. Четырнадцать сонетов в первой, не озаглавленной части; еще шесть во второй — «Сонеты на различные мелодии» (*Sonnets to sundry notes of Music*). Чтобы книжка казалась толще, стихи были напечатаны только на одной стороне листа.

Издателем «Влюбленного пилигрима» был Уильям Джеггард — сын брадобрея, сделавший успешную карьеру в книжном деле. Ко времени выхода «Пилигрима» он уже владел одной из крупнейших книгопечатных мастерских в Лондоне; его издания продавались во всех городских книжных лавках — в том числе у Джона Лика, что у собора Святого Павла. Там можно было купить и этот свежоттиснутый сборник — как и было указано на обложке.

Из двадцати стихотворений Шекспиру однозначно принадлежало лишь пять. Это варианты 138 и 144 сонетов, ходившие в то время в списках в дружеском кругу поэта. А также три пародийных сонета из «Бесплодных усилий любви»; изъятые из контекста, они вполне вписались в лирический «мейн-стрим» той эпохи.

Другие пять стихотворений были написаны современниками Шекспира — Марло, Барнфилдом, Грифффином, Делони, Роли. Авторство остальных десяти не установлено. Ни с кем из авторов Джеггард издание их стихов не согласовывал, но ни Шекспир, ни остальные протеста не выразили¹: понятие авторского права тогда только зарождалось.

В 1612 году сборник вышел уже третьим изданием. Джеггард — или кто-то из его подручных — добавил к новому изданию еще несколько стихотворений. В том числе девять, принадлежавших поэту и драматургу Томасу Хейвуду.

На этот раз все прошло для издателя не так гладко. Стихи Хейвуда выходили у Джеггарда тремя годами ранее в составе поэмы «Британская Троя» (*Troia Britanica*). Хейвуд был поставлен перед необходимостью защищаться — иначе он мог выглядеть плагиатором Шекспира. Это Хейвуд и сделал в том же 1612 году в послесловии к своей «Апологии актеров» (*Apology for Actors*). Поэт заявил о «явном оскорблении», нанесенном ему Джеггардом, который напечатал его стихи «под именем другого» (т. е. Шекспира). «У света может сложиться мнение, что я их украл... Но я должен признать, что мои строки недостойны покровительства того, под чьим именем они были опубликованы, и я знаю, что сам Автор был оскорблен мистером Джеггардом (ему совершенно незнакомым), который осмелился так обойтись с его именем».

«Трудно сказать, чем мог быть Шекспир оскорблен больше, — комментирует этот эпизод Дж. Шапиро. — Тем, что увидел там свои сонеты — что означало предательство со стороны кого-то из близких друзей, кто передал их

¹ Кроме погибшего шестью годами ранее Марло, все остальные «шекспиры» в 1599 году благополучно здравствовали.

Джеггарду? Или большее его раздражение вызвали „выданные” из контекста намеренно плохо написанные стихи из „Напрасных усилий любви”?»²

Шекспир мог опасаться и того, что сонеты, опубликованные Джеггардом, своими вольными намеками (см. ниже комментарий к сонету II) смогут вызвать обвинения в безнравственности³. Это было бы небезопасно, учитывая влияние в Лондоне пуритан. Впрочем, и большинство остальных стихов сборника написаны в довольно фривольной — даже на современный вкус — манере.

Из-за «пиратского» характера своего издания «Влюбленный пилигрим» долго пользовался у шекспироведов сомнительной репутацией. Дж. Стивенс (1780) называл его собранием «бессвязных обрывков»; А. Ч. Суинберн (1891) — «пустой книжицей ворованных и искалеченных [шекспировских] стихов, перемешанных с грязными и унылыми виршами».

Последние два-три десятилетия отношение к изданию Джеггарда изменилось. В отборе стихов, вошедших в него, и в их композиции шекспироведы все больше отмечают цельность и тематическое единство: противопоставление любви возвышенной и порочной, юности и старости, верности и измены...

Да и имя Шекспира, как теперь считается, было поставлено на обложке не так уж случайно. Большинство стихотворений сборника рассматриваются как подражания (и отнюдь не «унылые») наиболее известным в то время шекспировским произведениям. Это прежде всего его поэма «Венера и Адонис»⁴, успевшая к 1599 году выйти пятью изданиями. Во-вторых — шедшие с большим успехом «Ромео и Джульетта»: уже название сборника должно было напоминать читателям о Ромео, впервые встретившим Джульетту в костюме пилигрима. Наконец — сами шекспировские сонеты. Хотя они были полностью опубликованы лишь в 1609 году, известность приобрели уже к концу 1590-х⁵.

Несколько слов о самом переводе. Нельзя сказать, что с русским читателем «Влюбленному пилигриму» совсем не повезло. Он полностью переводился как минимум четыре раза: Николаем Холодковским (1880), Владимиром Мазуркевичем (1904), Валентиной Давиденковой-Голубевой (1948) и Вильгельмом Левиком (1960). Однако все эти переводы были сделаны в то время, когда еще преобладало пренебрежительное отношение к сборнику Джеггарда. Это, возможно, и объясняет некоторую небрежность переводчиков — как в стиле, так и в точности (о некоторых неточностях будет вкратце сказано в примечаниях).

Это и послужило толчком заново перевести «Влюбленного пилигрима» — его первую, наиболее важную часть — с учетом новейших комментированных изданий сборника⁶ и попыткой насколько возможно полно передать ритмические и смысловые особенности оригинала. Перевод также снабжен примечаниями.

Относительно названия сборника: здесь оно передано «Влюбленный пилигрим», а не «Страстный», как в предыдущих переводах. Эпитет «страстный» в русской литературе приобрел то вульгарно-романтическое звучание, которого не имел в шекспировскую эпоху. Пусть «влюбленный» тоже переэксплуатировано в массовой литературной продукции — оно звучит более нейтрально

² Shapiro J. 1599. A Year in Life of William Shakespeare. London, «Faber & Faber», 2005, p. 245.

³ См.: Шайтанов И. Шекспир. М., «Молодая гвардия», 2013 («Жизнь замечательных людей»), стр. 330.

⁴ Недавно заново переведенная Виктором Куллэ («Иностранная литература», 2016, № 10).

⁵ Впрочем, вопрос, что было написано под влиянием Шекспира, а что сам Шекспир писал под влиянием современных ему авторов, остается открытым.

⁶ Комментированное издание «Влюбленного пилигрима» в сериях «The Oxford Shakespeare» (Shakespeare W. The complete sonnets and poems. Ed. by C. Burrow. Oxford, «Oxford University Press», 2002), «The new Oxford Shakespeare» (Shakespeare W. The complete works. Modern critical edition. Ed. By G. Taylor, J. Jowett. Oxford, «Oxford University Press», 2016), кембриджское издание (Shakespeare W. Poems. Ed. by J. Roe. Cambridge, «Cambridge University Press», 2006) и др.

и точнее передает смысл заголовка (*passionate* означало и «влюбленный»). Вариант «Влюбленный пилигрим» встречается и в дореволюционной русской литературе о Шекспире — у С. Венгерова и Н. Стороженко; из современных авторов — у Г. Кружкова.

И последнее. В предыдущих переводах, при всем их различии, за образец был взят романтический канон — в том виде, как он сформировался в лирике Пушкина и его младших современников. Но, повторяясь из перевода в перевод, «пушкинизация» Шекспира превратилась в шаблон, омертвевшую схему. Лирика Шекспира и его времени, с ее жесткой риторичностью, метафизичностью, «плотностью» смыслового ряда, зачастую пропадает при передаче средствами романтической поэтики — подчеркнуто субъективной и аффективной.

В предлагаемом переводе за образец была взята русская лирика допушкинской поры. Сумерки русского классицизма стилистически ближе сумеркам английского Ренессанса, нежели поэзия романтиков. Да и в современной русской поэзии обращение к допушкинской парадигме уже не выглядит манерной стилизацией. «Реабилитация» поэзии XVIII — начала XIX веков и ее прививка современной лирике, начатая — с разных «концов» — Кушнером и Бродским и продолженная в конце 1990-х Дмитрием Полищуком и особенно Максимом Амелиным, сегодня уже вполне состоялась. Речь, разумеется, не о механической подгонке перевода под «штиль Сумарокова и Державина», но об общей оркестровке, позволяющей точнее передать поэтический язык шекспировской эпохи.

I

Когда Любовь вещает, что верна,
Я верую, хоть ложь едина в том:
Пусть юношей сочтет меня она,
Неискушенным в плутовстве мирском.

Пусть так я для нее пребуду млад,
Хоть дней моих закат удобозрим.
Устам медоречивым верить рад —
Любви обман усугублю своим.

Зачем я не признаюсь, что старик?
Зачем Любовь не скроет, что млада?
Прельстителен молодой Любви язык;
А Старость, полюбив, таит года.

Я лгу Любви, она в ответ мне лжет,
И прегрешеньям нашим равен счет.

II

Двум Гениям, услады и растравы,
Любовям двум душа подчинена.
Мой Ангел — светлый муж смиреннонравый,
Мой Демон — темновидная жена.

Чтоб свесть меня во ад, она готова
Растлить благого духа моего;
И хочет в Беса обратить Святого,
Красой надменной обольстив его.

Соделала его ли бесом злым —
 Не ведаю, сомнением объят.
 Их дружбу зрю, и ими сам любим —
 Но он, страшусь, уже сведен в сей ад.

И сведать как, пока мой Ангел в нем
 Не будет изъязвлен гнилым огнем?

III

С небесным Риторством очей твоих
 Вотще вступать земной юдоли в спор.
 Хоть клятву преступил я из-за них,
 Суровый тем не заслужу укор.

Пусть, женский пол презрев, я дал обет;
 Ты ж — Божество, отличное от жен.
 Зарок — земным был, ты ж — небесный свет,
 Твоим великодушием спасен.

Зарок — дыханьем был, дыханье — пар,
 Ты ж возблистала, точно солнца свет.
 Пары зарока поглотил твой жар:
 Твоя вина, что я презрел обет.

Какой глупец не предпочтет стократ
 Нарушить клятву ради райских врат?

IV

Сидела Киферея ясным днем
 С младым Адонисом подле ручья;
 Любовным истомленная огнем,
 Богиня, прелесть несравнима чья.

Сплетала басни сладкими устами,
 Чтоб слух потешить юного дружка;
 Чтоб сердцем завладеть его, перстами
 То тут, то там касалась слегка.

Но или плод молодой еще незрел,
 Иль не желал любви приять даренье:
 С улыбкой хладной он наживку зрел,
 Прекрасну повергал в недоуменье.

Решилась наконец, на спину пав...
 А он, глупец, бежал от ней стремглав!

V

Любовь нас нудит лгать; как ей давать обет?
 Лишь красоте верны, ее ярмо терпя.
 Я изменил себе; тебе же, дивной, нет.
 Себе я — мощный Дуб, но Ива — для тебя.

Твои глаза потшусь как книгу я прочесть,
 Где перечень блаженств и всех искусств итог.
 Чтоб знать весь мир — с тобой довольно дружбу свести,
 И тот язык учен, тебя воспеть что смог.

Невежда та душа, что зрит тебя бесстрастно,
 И доблесть вся моя — в смиренье пред тобой.
 Перуны Зевса — взор, и голос — гром опасный,
 Но гнев пройдет, и в них — музыка и покой.

Небесна ты, любовь; я ж грежу об одном:
 Почтить небесный дар на языке земном.

VI

Едва лучи сожгли росу зари
 И скрылись в благодатну тень стада,
 Как Киферея, млея от любви,
 Искать Адониса пришла сюда,

Под иву над ручьем, где охлаждал
 Он часто меланхолию свою:
 Был жарок день, но горячей пылал
 В ней жар надежды по пути к ручью.

И вот явился он и сбросил плащ,
 И, обнаженный, поспешил в поток.
 Был солнца взор полуденный палящ,
 Но взор богини яростнее жег.

Ее приметив, он поплыл скорей.
 Она ж: «О Зевс! Почто я не ручей!»

VII

Она мила, но более лукава:
 То Голубок, то вероломней Змея;
 То мягкий воск, то, как булат, прержава;
 Светлей стекла, его же непрочнее.
 Лилейный цвет в камке пурпуротканной;
 Любезней нет, опасней нет желанной.

Свои уста с моими сопрягая,
 Клялась в любви и в баснях ухищрялась;
 Мою любовь изменами пугая,
 Ее терять сама же устрашалась.
 Твердила «нет» с отъявленным упорством.
 Но клятвы, слезы были лишь притворством.

То жгла любовь, как пламень жжет солому,
 То в ней сама соломкой полыхала;
 Творя любовь, ее влекла к разгрому;
 Простилась с ней и вновь ее взалкала.
 Вся — двойственность, лукавство и измена:
 Дурна в любви и в лжи — несовершенна.

VIII

Коль стройная Музы́ка со Стихом
 Являют дружество сестры и брата,
 То наш союз упрочен их родством:
 Тебе одна, а мне другой — отрада.

Тебе любезней Доуленд, что едва
 Коснется струн, всех вводит в исступленье.
 Мне ж — Спенсер, чьи рифмованны слова
 Нас, смертных, превосходят разуменье.

Ты любишь Лютни Фебовой напев,
 Царицы мусикийской переборы;
 А я вкушаю сладость, коли Феб
 Поет стихи без Лютни и без хора.

Един бог двух искусств и Рыцарь их;
 В тебе ж Музы́ка явлена, и Стих.

IX

Рассветом дивным дивно Божество

Бледней голубки, ищет здесь того,
 Чья юнна жизнь в опасности изрядной.

С высокого холма тревожно зрит
 Адониса с рожком и песью свору;
 И, подступив к юнцу, ему велит
 Отсель не отходить к густому бору.

«Виденье было мне, — речет она, —
 Красавца, диким вепрем уязвлена
 В младые чресла, о печаль страшна!
 Зри, здесь вот...», — и раздвинула колена.

Юнец же, место раненно узря,
 Бежал от ней, зардевшись, как заря.

X

О Розан, рано сорванный, истлевший;
 Бутоном сорван и весной истлел!
 Восточный Перл, безвременно померкший!
 Лань юная, погибшая от стрел!
 Так сливы недозревшей кислый плод
 Ветр налетевший торопливо рвет.

Тебя оплакиваю, хоть тобой
 Не назван средь наследников числа.
 И все же мне завещано с лихвой —
 Ты более, чем я желал, дала:
 Прощенья ждал у гробовой черты,
 Мне ж все презренье завещала ты.

XI

Адонису, причине мук ее,
 Придумала Венера показать,
 Как Марс, воинственный супруг ее,
 К ней страсть свою изволил проявлять.

«Вот так бог-воин обнимал меня», —
 Рекла, Адониса коснувшись плеч.
 «Вот так он ризы совлекал с меня», —
 И плащ с юнца потщилася совлечь.

«Вот так лобзал меня победный бог», —
 Припав к устам любезным, изрекла.
 Но тут мальчишка, вырвавшись, утек,
 Оставив бедной вздохи без числа.

Ах, я б на месте оного юнца
 Сие ученье вынес до конца!

XII

Старость не живет с Младостью приятной:
 Младость — без забот, Старость гложет страх.
 Младость — утра луч, Старость — вечер хладный;
 Младость — летний цвет, Старость — зимний прах.
 Младость — столь резва, Старость — чуть жива;
 Младость — огонь, а Старость — персть;
 Младость — шум и звон, Старость — тишь и сон;
 Младость — жизнь, а Старость — смерть.
 Старость изгоню я, Младость воспою я:
 Ведь года Любви млада!
 О Пастух прекрасный, на призыв мой гласный
 Поспеш, что медлишь ты?

XIII

Что красота? Нестоек сей товар:
 Лак, что тускнеет, как тщета мирская;
 Стекло, что слабый сокрушит удар;
 Цветок, что вянет, лепестки теряя.
 Товар нестойкий, лак, стекло, цветок:
 Поблек, разбит, увял — был и утек.

Товар нестойкий продан без прибýtка,
 Вотще мастикой лак поблекший трут,
 Осколки склеивать — напрасна попытка,
 Цветок увядший срежут и сожгут...
 Так красоту, подпорченну хоть раз,
 Румянщик ли, портной — никто не спас.

XIV

«Спокойной ночи!» Так с улыбкой мне
 Покоя пожелав, его лишила;
 В сей хижине сомнения одне
 Мне, сирому, а не покой внушила.
 «Поешь, поспи и приходи с утра».
 Но сон нейдет, и хлебом скорбь была.

Прощальную — презренья ль, состраданья —
 Ее улыбку тшусь я разгадать.
 Желала ль высмеять мое изгнанье?
 Ждет, что, блуждая, возвращусь опять?
 «Блужданье»: для таких, как я, теней,
 Гонимых ветром, слова нет верней.

Как жадно я в восток вперяю взор!
 Часам не верю; предвкушенья дня
 Острил все чувства, сонны до сих пор:
 Не удовольствовавшись зреньем, я
 Внимаю Соловью, в слух обратясь, —
 И, мнится мне, то Жаворонка глас:

Ведь песней он приветствует зарю
 И злостраданье ночи сокрушит;
 Развеет мрак; надеждой возгорю,
 Желают очи зреть любимой вид.
 Скорбь сменит радость, тьму ночну — восход:
 Но на закате вновь разлука ждет...

С любезной ночь промчалась бы как миг,
 А ныне каждый миг как месяц длится:
 О день, приди! Не мне яви свой лик —
 Цветам яви, не могущим раскрыться!
 О день! Заимствуй долготу у тьмы,
 Чтоб долее не расставались мы.

Комментарии

I. Шекспир. Вариант сонета 138.

II. Шекспир. Вариант сонета 144.

«*Не будет изъязвлен гнилым огнем...*» В комментариях традиционно отмечается (и столь же традиционно игнорируется русскими переводчиками) двусмысленность, присутствующая в трех последних строках сонета: «I guess one Angel in another's hell; // The truth I shall not know, but live in doubt, / Till my bad Angel fire my good one out». В эвфуистическом словаре шекспировской эпохи *hell* означало и ад, и вагину (не без влияния сюжета о девице Алибек и монахе Рустико из «Декамерона»); *fire out* — и «быть изверженным», и «заразиться венерической болезнью».

III. Шекспир. Сонет из «Бесплодных усилий любви» (IV, 3).

IV. Автор неизвестен; вероятно, подражание «Венере и Адонису» Шекспира (вместе с VI, IX и XI).

Киферея (или *Цитерея*) — одно из имен Венеры, рожденной близ острова Кифера; ее любовь к юному Адонису описывается в Овидиевых «Метаморфозах» (X).

V. Шекспир. Сонет из «Бесплодных усилий любви» (IV, 2).

«*Себе я — мощный Дуб, но Ива — для тебя...*» Дуб в шекспировской драматургии был символом негибаемой крепости и могущества, ива — гибкости (в русских переводах передавалась как «лоза»).

VI. Автор неизвестен. Близкий сонету сюжет изложен актерами в прологе «Укрощения строптивой»: «Художество ты любишь? Вот картина: / Изображен Адонис у ручья, / И Цитерея скрыта тростником, / Что от ее дыханья нежно гнется, / Как будто с ним играет ветерок» (пер. М. Кузмина).

VII. Автор неизвестен.

VIII. Сонет Ричарда Барнфилда (1574 — 1627), подражателя Шекспира, из «Стихов на разные гуморы» (*Poems in Divers Humors*, 1598). Под «гуморами», в соответствии с модной в то время теорией, восходящей к античной медицине, понимались разные душевные состояния и темпераменты. В одном из недавних исследований (Daugherty L. William Shakespeare, Richard Barnfield, and the sixth Earl of Derby. Armherst, New York, «Cambria Press», 2010) предпринята попытка пересмотреть место Барнфилда и представить его стихи как один из источников шекспировских сонетов, а его самого — как упомянутого в них «поэта-соперника».

Сонет опубликован с посвящением «Другу, Мастеру Р. Л. В похвалу Музыки и Поэзии». Во всех известных нам русских переводах адресат стихотворения стоит в женском роде. Под «Р. Л.», как полагают, подразумевался поэт Ричард Линч, автор сборника сонетов «Диелла» (*Diella: Certain Sonnets*, 1596).

«Тебе любезней Доуленд...» — Джон Доуленд (1563 — 1626), лютнист, один из крупнейших английских композиторов-песенников.

«Мне ж — Спенсер...» — Эдмунд Спенсер (1552 — 1599), выдающийся английский поэт эпохи Возрождения.

«Ты любишь лютни Фебовой напев...» («Thou lovest to hear the sweet melodious sound / That Phoebus' lute, the queen of music, makes»). В елизаветинскую эпоху лютня считалась эквивалентом лиры (которая и присутствует в русских переводах этого сонета) — инструмента Аполлона. Например, «веселая лютня Аполлона» («bright Apollo's lute») в «Бесплодных усилиях любви».

«Бог двух искусств — один и Рыцарь их...» («One God is God of both, as poets feign; / One Knight loves both, and both in thee remain»). Под «Рыцарем» (в русских переводах отсутствующим) подразумевался сэр Джордж Кэри (1547 — 1603), который покровительствовал Доуленду, а через свою жену Елизабет был связан узами родства со Спенсером. Существуют и другие версии.

IX. Автор неизвестен. Вторая строка не сохранилась.

X. Автор неизвестен.

XI. Сонет Бартоломео Гриффина (ум. 1602), из его цикла сонетов «Фидесса» (*Fidessa*, 1596).

XII. Сонет Томаса Делони (1540 — 1600?), в чьей книге «Венок доброй воли» (*Garland of Good Will*, 1628) он был напечатан — как часть стихотворения «Выбор некой Девы между Старостью и Младостью» (*A Maiden's Choice twixt Age and Youth*) — и помечен 1593 годом.

XIII. Автор неизвестен.

XIV. Автор неизвестен. Представляет собой вариацию на сцену прощания Ромео с Джульеттой («Уходишь ты? Еще не рассвело. / Нас оглушил не жаворонка голос, / А пенье соловья...» Пер. Б. Пастернака). В некоторых сборниках — а также в русских переводах — разделен на две части (вторая начинается с «Как жадно я в восток вперяю взор!»). В современных комментированных изданиях стихотворения это разделение не принято.

Сухбат Афлатуни (Евгений Абдуллаев) родился в 1971 году в Ташкенте. Окончил философский факультет Ташкентского государственного университета. Поэт, прозаик, критик. Автор двух сборников стихов и нескольких книг прозы. Дважды лауреат «Русской премии» (2005, 2011), финалист «Русского Букера» (2016). Переводы современной узбекской, татарской и белорусской поэзии публиковались в литературных журналах («Звезда», «Новая Юность», «Звезда Востока») и антологиях («Анор — Гранат», «Антология новой татарской поэзии»). В нашей постоянной рубрике публиковался его перевод из Йосиро Исихары («Новый мир», 2016, № 6). Живет в Ташкенте.

ИЗ НАСЛЕДИЯ

КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ



ПИСЬМА ИЗ ФРАНЦИИ

Эмигрантская проза Константина Бальмонта (1867 — 1942), признанного в России в начале XX века мэтром символизма, до настоящего времени остается почти не изученным «белым пятном» как в творческой, так и в его личной биографии. Хотя за последние годы и появились значительные работы и публикации¹, в которых на обширном, хотя и *локальном* материале произведений и писем «поэта-солнечника» освещаются те или иные периоды его более чем двадцатилетней жизни вне России, начиная с отъезда в июне 1920-го, но и они не дают целостной картины.

Предлагаемая ниже подборка состоит из шести текстов Бальмонта, опубликованных им в 1926 — 1928 годах в рижской газете «Сегодня», самой крупной и содержательной из русских газет в Прибалтике. Эти краткие эссе-очерки позволяют по-новому взглянуть на личность поэта, оказавшегося на чужбине и тоскующего по той любимой России, которую он именует величественно: *Единственная*. Более тридцати таких текстов (каждый печатался с подзаголовком «Письмо из Парижа» или «Письмо из Франции», когда поэт выехал из столицы и скитался по дешевым деревушкам на побережье Атлантического океана) наверняка могли бы составить объемистую книгу. И в ней несомненно будут ответы на многие вопросы — и о его финансовом положении (на что и как жил?), и о том, чем, в бытовом плане, была наполнена жизнь эмигранта. А еще — как удавалось ему, сохраняя достоинство *русского человека*, не опускаться до мелочных интриг, не примыкая ни к каким политическим группировкам и партиям. И как ему, лишенному былого преклонения и почитания, самому оказавшемуся на грани полунищенского существования, удавалось содержать своих прекрасных спутниц, по сути — жить «на две семьи» (с Еленой Цветковской и с Дагмар Шаховской), заботясь еще и о той, которая осталась в Москве (Е. А. Андреевой).

В очерках «Письма из Франции», которые за минувшие девять десятилетий не перепечатывались в России, отражены незначительные, казалось бы, повседневные мелочи, будь то прогулка по шумному городу или поездка в Бордо, встречи с давними знакомыми или случайной нищенкой, иные эпизодические моменты быта и бытия... Этюдные зарисовки, не более, но в каждой — особенный штрих, свое, бальмонтское видение происходящего вокруг — рядом — около, необычный взгляд на людей и на предметы, одежду и нравы. И даже «странное поветрие» — последние новшества в женских прическах — едко подмечено им, хотя иной и не заметил бы, прошел мимо.

¹ Назовем лишь некоторые: Константин Бальмонт — Ивану Шмелеву: Письма и стихотворения. 1926 — 1936. Сост., подгот. текстов и коммент. К. М. Азадовского, Г. М. Бонгард-Левина. М., «Собрание», 2005; Бальмонт К. О русской литературе. Воспоминания и раздумья. 1892 — 1936. Сост. А. Д. Романенко. М., «Алгоритм», 2007; Константин Бальмонт глазами современников. Сост. А. Ю. Романов. СПб., «Росток», 2013; «Мы встретимся в солнечном луче...»: Письма Константина Бальмонта к Дагмар Шаховской. 1920 — 1926. Вступ. ст. Р. Берда и Ф. Черкасовой; предисл. С. Шейлз. М., «Русский путь», 2014. См. также: Сакалавичюте К. Константин Бальмонт и Литва. Вильнюс, Институт литовской литературы и фольклора, 2011, публикации Ю. Абызова, Н. Богомолова, П. Лавринца, Ж. Шерона и других.

Одним из характерных приемов поэта (впрочем, это было *alter ego* его личности, что не осталось незамеченным многими современниками) — рассказ о себе в третьем лице, «интервью с самим собой». Такие тексты он подписывал псевдонимом *Мстислав*, а в одном из них даже «нарисовал» выразительный портрет Мстислава:

...моя писательская неопытность заставляет меня прежде всего сказать, кто я. Спайщик вагонов. Ныне. А в прошлом — белый офицер. Видел близко и Корнилова, и Каледина. Лично присутствовал при гибели наилучшего из героев Белой Борьбы, генерала Корнилова. Большевицкая пуля еще сидит в моем теле, ибо извлечь ее было никак нельзя. Очень близко она от самого сердца. После Кубанских поэм наяву и после других битв, менее выразительных, очутился я во Франции. В Париже не повезло. Уехал в Бордо. В местечке Бегль, что близ Бордо, с малой затратой технических усилий научился я спаивать старые вагоны, которые сюда пригоняют с разных сторон, чтоб, значит, починить инвалидов, поправить нечто почти непоправимое, и снова пустить, скажем в наилучшем виде, в обращение. Получаю за это занятие ничего себе, не мало, 800 франков в месяц... («О чем угодно», 1929).

В другом очерке — откровенное признание поэта, отвечающего на вопрос «интервьюера», любит ли он цветы:

Кроме постоянного изучения все новых и новых областей знания, я, должно быть, люблю воистину только Природу. В ней вечное творчество и безгласный, но властный завет достижения. Живя в непрерывном общении с Природой, — как можно меньше людей, — как можно меньше человеческого, — как можно больше красноречивых деревьев, нежно дышащих цветков, — как можно больше птичьих голосов, — воспринимая каждое утро, и каждый вечер, и каждую ночь, соприкосновение созерцающей душой, внимательное и зоркое, с нашей Матерью Землей, с незабывшими довременную мудрость растениями и звериными существами, с Океаном, из которого мы когда-то вышли полурыбами-полузмеями человеческими, с Вечерней Звездой, внушившей мне первые мои книги стихов, с Млечным Путем, куда мы уйдем, уйдя от Земли — о, так живя, только и можно жить достойной жизнью... («Час у К. Д. Бальмонта», 1928).

Все тексты сверены по источникам *de visu* и печатаются в хронологии публикаций, с учетом норм современной орфографии и пунктуации, но с сохранением авторских особенностей (употребление прописных букв и т. п.). В комментариях даны необходимые пояснения об отдельных фактах и лицах.

Александр Романов

От воли к неволе²

Неисчерпаемо красиво и многозначительно не умолкающее ни днем ни ночью гуденье Океана. Неисчислимы его краски и разнообразия. Сколько бы часов, дней и месяцев, сколько бы лет и десятилетий ни слушала душа голос Океана, этот звук не утомит ее никогда и никогда не обманет. На берегу Океана нельзя быть нищим — побудешь с ним краткий час, а иногда лишь одно мгновенье, — и он непременно что-нибудь тебе подарит. Несчастен ты? Усыпит он твою несчастье. Счастливы ты? Он озвонит твою счастье своею песней, напоит его свежестью, синевой и силой, раму ему даст, уходящую в даль, к далям, к ширям, к бескрайному, и глаза твои сделает из голубых синими, из серых голубыми, из карих черными, как черная, южная ночь. И покажет, что чайка стонет не напрасно, а находит добычу. И явит такие волны, такие приливные вскипы и воспарения бегущей влаги, что и душа должна быть с этими волнами в приливе и подъятии крыл своих. Чу, шелестят ломкие валы, и бегут

² Впервые: «Сегодня», Рига, 1925, 6 декабря, № 275, стр. 5. Выделения здесь и далее в текстах — авторские.

по песку, и бежит от этого набега силы усталость и тоска. Где она, усталость? Вся кровь заплесала. Где она, тоска? Там — там — далеко — за тучкой тает облачком — за срывом скалы побежала по горной тропинке — тенью серой заскользила — поскользнулась — оборвалась на срыве — в Море упала — тонет — утонула — утони — мне не жалко.

К Морю только подойдешь, на Океан только глянешь, хотя бы издали, — и ты нашел свое место в Природе, ты цельный, и цельный ты — в Целом, в Целостном, в Целесообразном. Ветер, волны, краски и звуки, лучи и птицы, твой собственный шаг и движенье, твоя некая неподвижность в глубокой думе, все, что ты, Человек, чувствуешь, мыслишь, делаешь и творишь около Великого Потока, обтекающего всю нашу малую Землю, — стройно и глубоко, в ладе с мировым ладом, *здесь и там* в окружении морском суть настоящие здесь и там, от них не хочется бежать, закрыв глаза, — от голубого здесь к синему там идешь не бегством, не изгоном, не уходом — переходом довольным, насыщающим душу. И видит душа, вдыхая морской ветер, что каждый ее шаг — обогащение.

Но Город кликнул. Повиноваться должно. Мы живем, — мы, бездомные, — среди колючей проволоки досмотра и подозрений. Ныне лишь морские птицы — беспаспортные. Наше человеческое превосходительство долженствует выхлопотать вид на жительство. Уже провинциальный мэр понукал и подталкивал. «Боюсь, — говорит, — пропаганды. Коммунистической». Еду в Париж успокоить мэра. Он боится, не большевик ли я. А когда я вздумал поехать в Латвию, меня туда не пустили³. Некоторые латышские газеты называли меня одним из самых опасных царистов! От полюса до полюса понукают, подталкивают, выталкивают и не пускают. Где начинается человек, там начинается тюремщик. Где зашевелило своими зубчатыми щупальцами государство, там начинается насилие, ложь, оболгание, клевета, тупоумное издевательство. И хоть я не кит, но мне тесно. И хоть я не слон, но мне негде повернуться. И хотя никакой парижский плантатор, возвращающий автомобиль, не купил меня в невольники на свой бесчеловечный завод, я запасался билетом 3-го класса и, толкаемый в правый и в левый бок неудобными соседями, сижу в коробке целую ночь, и, бессильный читать, выкуриваю к концу пути двадцатую папиросу.

Монпарнасский вокзал. Но носильщики не парижские, а марсельские. Ибо они весело врут и с любезным увлечением ограбляют меня, пока моя дама не говорит им: «Подите прочь, вы получили довольно».

Комната в гостинице нанята предусмотрительно заранее. Едем довольные и даже не огорчаемся, когда повелитель самоката⁴ требует с нас 25 франков. Но нас ждало горькое разочарование. Мы приехали слишком рано, хозяйка спала, а нелепая горничная все перепутала и сказала, что никакой нам комнаты нет. И вот полдня мы ходим по Парижу и ищем комнаты. Но комнаты нигде нет, или нам предлагают конуру, где разве можно было бы поместить собаку, и то не всякую, или нам предлагают комнату за такую цену, что мы, вздохнув, уходим, или наконец нам дают комнату, но, узнав, что мы не на несколько веселых часов, а жить, — нам вежливо указывают на дверь. Комната в конце концов нашлась там, где она и была предварительно нанята, но Город успел показать мне свои челюсти в первые 9-10 часов моего в нем пребывания. Крепкие у него челюсти. Прожорливые у него челюсти. Грязные у него челюсти. Бездонная у него пасть. Не волчья, не тигриная, не львиная, но безобразная пасть миллионголовой гиены, питающейся трупами и охочей к разрытию могил. И немало на этих улицах, заставленных многоэтажными каменными ящиками-противосолнечниками, немало ходячих и стоячих мертвецов. Страшны и те, и другие, но стоячие страшнее.

³ Инцидент произошел в феврале 1925 года, когда Бальмонту было отказано в выдаче въездной визы в Латвию; об этой «нелюбезности» писали тогда в ряде изданий.

⁴ Встречающееся в текстах Бальмонта синонимическое название автомобиля («самокат», «самодвижник» и т. п.).

Первое, что я увидел в толпе, на первой же улице, была немолодая лилипутка. Она была всего в аршин роста с небольшим. Одета как и другие дамы, может быть, с несколько большим притязанием нравиться. И это было особенно неуютно. Злое, упорно-надменное лицо непризнанной носительницы некоей пренебрегаемой истины. Окультисты говорят, что гномы боятся Луны и не видят детей, — что они способны видеть только взрослых людей, и то лишь в виде отвлеченных мыслей, как бы мыслительными чертежами. И та лилипутка явно была чужда не только лунному свету, с его покоряюще влюбляюще нежностью, но она была не к месту и в солнечном свете, делающем четко видными и все чары красоты, и все узлистые сочетания уродливости. И детское было чуждо ей. Если бы она стала искать детей, то, наверное, жуткою ошущью, как слепая Баба-Яга, намеревающаяся изготовить особливо вкусный обед.

Почему там, где я не находил себе места и где я ни во что не мог войти стройно и соблюдая лад, послала мне Судьба это неуместное привидение? Не знаю, но, стоя среди толпы, в ожидании очередного трамвая, я чувствовал, что мой взгляд прикован злою чарой к старообразному лику взрослого ребенка, который как бы с другой планеты, еще более отталкивающей и неуютной, чем эта моя планета, в городской ее сатанинской ипостаси. И, отвратив свой взгляд от того, что мне казалось неестественным, я скользил глазами кругом, но кругом были только такие призраки, что и от них ко мне было духовное истечение чуждости, неуютности, внутренней неуместности, несоразмерности этих живых привидений с этим серо-желтым небом, с этим зябким воздухом, с этими широкими улицами, давно ставшими из широких непомерно узкими, ибо, когда они создавались, человеческая мысль не подозревала еще своих собственных, тогда грядущих, а теперь воплотившихся, гнусных изобретений. Два самые мерзостные изобретения человеческой мысли — такая исполинская промышленность, что из средства она стала самоцелью и превратила людей и их города в свои средства, в рабски подчиненные свои орудия, — и такая погоня за нелепой быстротой, что все улицы стали узкими коридорами, где каждую секунду можно при переходе быть раздавленным или по меньшей мере ушибленным — одним из бесчисленных, некрасивых, шатких, и гремучих, и вонючих ящиков, зовущихся автомобилями, самокатами, самодвижниками.

Пока я стою какие-нибудь пять минут, в подневольном соединении с толпой человек, из которых ни один не будит во мне чувство красоты и притяжения, улица кругом слагается в особый ряд зрительно-слухового угнетения, убивания моей вольной души, привыкшей к стройной музыке Моря и к неограниченным просторам океана. Прогумел автомобиль. Промчался самокат. Прогудел самодвижник. Проскрипел автобус. Пролетел автомобиль. Провизжал автомобиль. Провонял автомобиль. Прозловонил самокат. Прохрипел автобус. Прозловонил самокат. Пропищал автомобиль. Прогумел автомобиль. Простучал — прошипел — прорычал — протащился — протолкался — пронесся — ползет — мчится — бежит — налетает — самокат — автомобиль — самодвижник — самодур.

Я сорвался с своего места и укрылся в одну из соседних маленьких улочек Латинского квартала. Чтоб немного исцелиться от дурного сна наяву, я купил в киоске букетик фиалок. Я прижимаю эти свежие цветы к своему разгоряченному лицу. Я закрываю на мгновение глаза, и мне хорошо. Я раскрываю глаза, и предо мною безсмертный призрак Города. Я видел его, когда тридцать лет тому назад приехал в Париж впервые. Я часто видал его в грозном туманном Лондоне. И в Петербурге. И в Москве. И в Нью-Йорке. И в Мельбурне. И во всех городах Земли. У кабачка стоит старая женщина, и ей некуда идти, ей нет места на земле. Ее лицо было красиво, и оно ужасно от следов ушиба или побоев. Кажется, она несколько пьяна. Не думаю, что от вина. Она пьяна от той влаги горечи, которую на острие копыя давали грубые пить нежному, доброму, распинаемому, без конца раздираемому на части — там, где все и все только части, лохмотья, лоскутки, обрывки, комки, вне целого.

Некуда идти. И эта женщина стоит. А чтоб не очень было стыдно так стоять, где все идет и бегут, она сдвинула себе на глаза жутко-красивенькую

шляпу, которая была модной четверть века тому назад. Она стоит, застывший идол, изваянный злою волей нашей недоброй души. И если б я мог, я поставил бы перед ней алтарь и засветил бы лампаду.

Но прохожие, обходя застывший идол горечи, упорно толкают меня. И я ухожу.

Город шепчущих губ⁵

Большие города всегда были шумными, но в давно ушедшем историческом прошлом городской шум был отмечен размерным строем и красочной выразительностью. Он был музыкален и живописен. Об этом можно говорить не только угадательно и предположительно, но также с точною осведомленностью, когда побываешь, с одной стороны, в таких городах, как Лондон, Берлин, Нью-Йорк, Чикаго, а с другой — поживешь в Каире, Луксоре, Бенаресе, Мадрасе. Проходя по Чикаго, чувствуешь, что кругом тебя сумасшедствует Ад, коего беспокойные жильцы, чрезмерно численные, в угоду вечно лгушему Сатанинству, обманывающему видимостями и упивающемуся громоздким маревом, поклонились бездушной машине, около которой всегда грохот, дурной воздух, нечистота и вытравленная жизнь, убиение травинки и цветов, и только ли цветов и травинки. Спускаясь из шумного, но никогда не грохочущего, не воплощающего своими звучными говорами скрежет зубовой Бенареса к широкому, тихому Гангу, чувствуешь себя в раме Природы и внутренне самонапоенное цельной жизни. Кажется, что ты не в священном городе Индусов, а в старой, старинной Москве, с ее сотнями разгудных колоколов, не нарушающих, а выразительно усиливающих и оттеняющих истовую ее тишину, с несчетными благовестниками голубями.

Не должно предполагать, что в том **старинном** человеческой жизни, которое теряется в безвозвратных столетиях, и в том **старинном**, что ютится еще здесь и там и повсюду, где исполненный город, с исполинским развитием промышленности и нездорового ее окружения, не является единственным повелителем людей, все непременно хорошо. Отнюдь нет. Измерить, где больше зла и страдания, я не берусь, а кто возьмется быть таким измерителем, он сделает дело слепое или, во всяком случае, весьма подслеповатое. Но есть две противоположности — тишина и грохот, — я люблю полярную озаренность тишины, предельное очарование возможности без помехи смотреть, слушать, думать, идти — не оглядываясь, версты проходить — не отвлекаясь от света, что засветился в душе. Если же что мешает созерцанию и отвлекает меня от моего внутреннего мира, пусть это будет гул трехсот колоколов, или в исступленности стройные вскрики пляшущих Индусов, или гортанный напев муэдзина, поздною ночью не дающий мне уснуть, ибо действительно и не нужно спать, если с высокой башни поет — стонет — молится — убеждает — глаголет — вещает — поет — поет муэдзин. Что-нибудь дайте моей душе человеческой, чем бы ей соприкасаться не с дико вопящим разнощиком [sic!] только что опечатанного биржевого листка, не с раскрашенными, с ног до головы искусственными женщинами, о коих не знаешь, проходя мимо них с отвращением, умалишенные ли это поклонницы нездоровой воды или женское распивочно и на вынос, дайте мне для моей минуты хоть самую захудалую улицу своего города, где бы я не видел безобразного торжества машины, веселящей взрослых подростков, что никогда не подрастут, но мне глубоко чуждой, оскорбляющей все мои чувства и прежде всего чувство соразмерности. Как пьяный человек не может не браниться, не кричать, не задевать, не махать руками, не опрокидывать, не опрокидываться, так самодвижущаяся машина не способна не повторять пьяного человека. Ведь самодвижущейся машиной вовсе не управляет тот безмозглый идол, который сидит в некрасивой позе на ее передке. О нет. **Она** им управляет и, бездушно, но неизбежно развивая судорожную стремительность пьяных рук и нетрезвых ног, мчится черт знает куда, несется черт знает как и несет на своем перед-

⁵ «Сегодня», 1926, 10 января, № 7, стр. 7.

ке человекоподобного дьявола с наглыми глазами и вполне бессовестного. Если этот дьявол заденет ни в чем не повинного прохожего, шваркнет его об мостовую, выбьет у него мозг, машина шепнет дьяволу: «Удвой ход, учетвери скорость». И вместо того, чтобы остановиться и помочь пострадавшему, свезти раненого в больницу или убитого в покойническую, сей кентавр нового образца примется изо всех сил улепетывать, иногда волоча в этом благородном беге на одном из своих колес зацепившуюся жертву, убитого, еще и еще раз убиваемого с каждым новым поворотом подло убегающего колеса. Такой случай в точности был, в области моей осведомленности. Убийца был богат и остается жив, здоров и богат. Поймали его, судили его, отговорился бессознательным состоянием после сытно-пьяного завтрака у свояченицы. Приговорили его посидеть под арестом несколько недель да заплатить вдове убитого три гроша с половиной, ей этого хватит на год жизни в столице. Миллионы чудовища остались с ним, столь же непо потревоженными, как его совесть, ежели таковая имеется. Рассказанный мною случай не есть что-то исключительное. Да как этим случаям и не быть, если нет ни внешней, ни внутренней сдержки? К некоторому миллиардеру Аргентинцу, проживающему в городе Париже, поступила на службу моя хорошая знакомая. Узнает от его жены, что с ним было подобное же заключение. В наивности молодости спрашивает ее: «Это, должно быть, большое для него несчастье?» — «Да, — отвечала со вздохом и с неудовольствием честная дама. — Это неприятно: пришлось зря платить деньги».

У этой моей знакомой развилась с тех пор привычка что-то беззвучно шептать. Встретишь ее на улице — шепчет. Придет она ко мне в гости, когда у меня собираются друзья, ведем мы оживленные разговоры, поэты, художники, музыканты, мыслители, — взгляну я на одну грустную гостью — думает о чем-то и беззвучно шепчет. Однажды я наклонился к ее лицу совсем близко и, охваченный каким-то, для меня самого неожиданным, неудобным лукавством, чуть слышным шепотом беззвучно ползущего лазутчика прошелестел к ней: «Что лепечете?» — «Убью, — прошелестела она в ответ, не поднимая на меня глаз. — Убью его».

Сколько в юном сердце бывает невинности. Можно ли убийством убить убийство, и, убивая убийцу, убиваешь ли убийство? Тем убийцы и сильны, что их ничем не убьешь, и они это знают. Их можно заставить исчезнуть — лишь создав в исполинских размерах благое состояние человеческих душ. Кто властен это начать и свершить? Кто сможет сказать заблудившимся людям, что в корне они ошибаются, что в мареве они все закручивающихся, мертвыми петлями скручивающихся бессмысленных достижений, в самопогоне бешеной собаки, которой злые мальчишки привязали на хвост невыносимо дребезжащую погремушку, умосводящую? Хочется кликнуть к Духу Земли: «Восстань и измени все!»

К творящему Духу Земли воскликнуть, который любит чистый воздух, раннее Солнце, встающее из-за степи, из-за луга, из-за поля — без преграды, выходящее над лесом, хоть не сразу, но без преграды.

Воскликнуть нельзя здесь. Можно только нестройно закричать. И кричащего посадят за решетку. Здесь может только целый город кричать, глупо гоготать, как многоголовый, гигантский серый гусак, скроенный Дьяволом из камня и железа.

Я люблю проходить по улицам Парижа, будь то Большие бульвары, всегда переполненные людьми, идущими и едущими, будь то узкая и кривая улочка Старого Парижа, присужденного к быстрому исчезновению. Уже несколько десятков лет я знаю Париж. И вот никогда ранее не удивляло меня в нем столь часто теперь повторяющееся, в повторениях почти всегда тождественное, маленькое явление. С самим собою одиноко и беззвучно говорящий человек, среди толпы и грохота, от толпы и грохота отъединенный устремленным внутрь себя взглядом и неслышимым красноречием шепчущих губ. Мужчина, женщина, юноша, старик, старуха, юная девушка — все возрасты и все состояния в этом одинаковы. Есть что-то в таком видении трогательное — и безумное. Не безумие вот этого шепчущего, который говорит с собой, не

замечая целого города, не безумье вот этой шепчущей, для которой внутреннее зрелище раз пережитого и незабвенного сильнее всех громов, а непостижимое и неисчислимо безумие всех ненужных, громких, бессодержательных, внешних, нечеловечески-бесчеловечных, внечеловечески-бессмысленных людишек-игрушек, заводных, заведенных низачем, и звуков-хлопушек, заведенных странным Дьяволом на недобром заводе, чтоб хлопающими, горланящими этими шумами постараться прихлопнуть в человеке все человеческое.

Красноречие шепчущих губ. Что же еще осталось? Говорить? Никто тебя не услышит, а и услышит, так не поймет. Воскликать? Петь? Пропеть стих? Бесполезная странность. Лучше молчать. Но душе говорить хочется. Истинный чин души живой — не молчанье, а слово. И вот проходят призраки и силою шепчущих губ могут еще жить и не побледнеть до состояния привидений.

Я тоже бываю прохожим Города Шепчущих Губ. И без всякой горечи, с великим самонасыщением души зрячей, говорю себе — безгласно, — что поле, и лес, и степь, и Океан сильнее, чем марево. Однажды встанет Дух Земли, и тогда по всей земле опять запоют птицы.

Что видно в окне⁶

Окно — глаз комнаты, окна — очи дома. Они слепнут иногда, эти очи, и слепота происходит от усталости того человека, которому надлежало бы пользоваться своими пресветлыми очами. Устает человек и ничего не видит. Иногда эти глаза только спят, затянутые веками и ресницами, занавесями. Но бывает, что глаза и видят.

Что может видеть в окно человек, которого злополучные обстоятельства летом задержали в городе? Хочется видеть в окно лес, и сад, и Море, зеленую лужайку, высокий холм. В городе и около города есть это все, но не такое, как на вольной воле, и до всего этого, что здесь не настоящее, а приблизительное, надо достигать не глазами комнаты, а двумя своими ногами, кои долго должны куда-то идти по пыльным улицам, прежде чем дойдут до места, хоть скольконбудь приемлемого для глаз души.

Хуже всего, что не только очень пыльно и грохотно на тех десяти-пятнадцати улицах, которыми я должен проследовать пешком или в переполненном трамвае, прежде чем доберусь до свежей, зеленой былинки, качающейся на будто бы — опушке, будто бы — леса. Нет, если бы мне приходилось двигаться по пустой грохочущей улице, которая, пугая бесполезных для меня прохожих, напоминала бы мне действующий волею внутренних сил вулкан — Везувий, который лишь струил около меня, совсем бесшумно, красную лаву, когда я был в Италии, или Попокатепетель, который вовсе не дремал, когда я был в Мексике, — я бы радовался, что кроме людей есть Природа со своими особливими прихотями. Но это такие же мечты, как сонная греза нищего, увидевшего, что из далекого облачка заструился к нему золотой дождь.

Не нравятся мне [ни] горожане, ни горожанки. Первые самодовольны и надменны, а вторые не только самоупоенны и надменны, но кроме того раскрашены и острижены, что и бессмысленно, и безобразно.

И вот я сажу дома. Читаю книги. Пишу стихи. Курю. Читаю книги. Пишу прозу. Курю. Но будет, будет этого, наконец. Мне хочется чистого воздуха и дальнозрения.

Я подхожу к окну и смотрю.

К гостинице, где я живу, подходит почтальон. Он отдает служанке письма и газеты. Наверно, есть и мне что-нибудь. Но я не тороплюсь спуститься вниз. В письмах доходит иногда живое слово далеких любимых, но письмо не заменяет жажды живой беседы и не переселит меня в родное и вольное. А в газетах я прочту изломанные строки испорченного Русского языка и неизбежное сообщение, что там, где раньше была жизнь — пусть с большими изъянами, но жизнь и творчество, а главное, безоглядная вера в будущее, — снова кого-то за

⁶ «Сегодня», 1926, 18 июля, № 156, стр. 2.

что-то расстреляли, и луны сказали очередную ложь, и в воздухе нескончаемого марева все длится такая бездарная драма, что даже кровь и ужас не придают ей свойств Эсхиловской или Шекспировской трагедии, и эта драма, уснащенная воровством, грабежом, глупостью, слепотой, цинизмом, косноязычными частушками, напоминает скорее кафешантанный водевиль или же, в лучшем случае, зловещий кукольный театр.

Умирает сильный поэт⁷, неутомимый труженик художественного слова, утомившийся сам собой, своим рабством пред крысиными властями, умеющими только грызть и разгрызть, невольник своевольничающих невольников, истребивший себя развратом и морфием, чтобы заглушить в себе чувство самопрезрения, и рабишки, презиравшие его за то, что он сделался их услужливым рабишкой, объявляют его народным поэтом, а из злосчастного его трупа сотворяют политический фокус. Какое убожество. И как верно древнее слово о том, что неверного, себе изменившего, ждет ослиная смерть.

Другой поэт⁸, вознесенный революцией, пьянствует без просыпу, спутывается с устаревшей чужеземной артисткой, которая не только артистически, но и победоносно состязается с ним в поглощении целых бутылок крепких вин, не впадая, как он, в белую горячку, а когда они оба довольно наскандалили в Советской Москве, они улетают на самолете в Европу, дабы и Берлину, и Парижу показать великанские способности в алкоголизме и роковой склонности к рукоприкладству. Утомленный всем этим спортом, молодой, даровитый поэт возвращается домой, но он также утомился и своим непристойным стихотворным сквернословием. Он утомился и духовным похабством, всюду его встречающим там, где он, душевно опомнившись, жаждал бы видеть Русскую Россию. Он пишет трогательные, прекрасные стихи, но они уже его не спасают. Он убивает себя, сразу и зарезавшись, и повесившись. А глупцы, оставшиеся в живых, таскают его злополучное, юное тело вокруг памятника Пушкина, думая, что они тем самым связуют воедино творчество великого создателя Русской Поэзии с нынешним поэтическим творчеством России, если еще есть в России Россия. Поистине, и Достоевский в «Бесах» не предвидел всего этого убогого сатанинства.

И третий писатель, один из усерднейших делателей той революции, которая его прикончила, задохся от дурного духовного воздуха. Отравился. Спасли его. Достал револьвер. Пуля пробила ему сердце⁹. Почему не пронизала она сердце кому-нибудь из тех палачей, которые волчьей стаей его затравили, а когда он мученически умер, они не разрешили даже поговорить о нем другим писателям, способным писать о чем-то в воздухе убийства и угнетения? Убожество, бесконечное убожество Русских людей, не умеющих и не хотящих сбросить с себя недостойное иго. Есть минуты, когда мне больно быть

⁷ Речь идет о В. Я. Брюсове, умершем в Москве 9 октября 1924 года. В связи с 50-летием (в 1923 году) ему было присвоено звание «Народного поэта Армении».

⁸ С. А. Есенин; по официальной версии, покончил с собой в ночь на 28 декабря 1925 года. «Чужеземная артистка» — Айседора Дункан, американская танцовщица, в 1922 — 1924 годах — жена Есенина. 14 сентября 1927 года она трагически погибла в Ницце.

⁹ Этот писатель, вероятно, Андрей Михайлович Соболев (1888 — 1926); отдельные «штрихи» его биографии совпадают с текстом очерка. Еще в 1906 году, по обвинению в «доставлении средств необнаруженным противозаконным сообществам», он был арестован и осужден к каторжным работам на Амурской «колесухе» (строительстве железной дороги), где сблизился с деятелями партии социалистов-революционеров. Вследствие болезни его перевели на поселение, откуда в 1909 году он бежал за границу. В 1915 году нелегально вернулся в Россию; после Февральской революции был даже комиссаром Временного правительства при 12-й армии, но вскоре отошел от политической деятельности. С 1922 года жил в Москве, работал секретарем правления Всероссийского союза писателей. Страдая от тяжелой депрессии, неоднократно пытался покончить с собой. 7 июня 1926 года застрелился на Тверском бульваре, у памятника Пушкину. Похоронен 9 июня, на Новодевичьем кладбище. После 1928 года его книги были признаны (по отзыву Горького) упадническими и не переиздавались. Заметим, что эссе («письмо») Бальмонта появилось через 40 дней после смерти А. Соболева.

Русским. И все же — и все же — только русскую душу я люблю целиком, я жду, что она проснется.

Я смотрю в окно своей парижской гостиницы. В каждом окне напротив, через скромную, маленькую улицу я вижу окна других домов, и вижу, что из них смотрят на волю свободные, довольные лица живых людей, которым не придет в голову желание ни убить другого, ни убить себя. Я не преувеличиваю достоинства и душевного богатства этих людей. Они скупы, самозамкнуты, мелочны, не слишком умны, не слишком даже счастливы сами собою, при всем своем себялюбии. Но они дают мне, глядящему, вздохнуть облегченно в моих печальных размышлениях. Это не воры, не доносчики и не жертвы воров и доносчиков. Тут и там, около окна, цветы. Я вижу какого-то старика, который с лаской смотрит из своего узкого окна на поставленные около окна на кровлю горшки с травами и цветами. Старик заботливо высовывает лейку и поливает свои растения. Какая честная красивая старость! Видеть это мне, пожалуй, даже радостнее, чем смотреть на юную девушку, у другого окна, которая загляделась на белые лилии, что я выставил на своем подоконнике, и не замечает, что я слежу за ней беглым взглядом.

Но я не долго слежу ни за стариком, ни за юницей. Да Господь с ними совсем. На что они мне нужны? Чужие.

Проходит по улочке и останавливается на мостовой нищая. Она никого ни о чем не просит. Нищенство существует, и, однако, его здесь не полагаются. Она и не нищенствует, строго говоря. Она поет разбитым голосом, не разберешь какую песенку. Поет с безотносительной корректностью и безукоризненным достоинством. Спела бы лучше, если бы был молодой голос. Поет. Но французы у окон и за окнами не слышат эту, обойденную французскими обстоятельствами, французенку. Здесь не так сердобольны, как там, где Русская Русь, где Русское сердце. Не ставлю себе в заслугу, что я сердоболен. Русский я. Только и всего. Судьба мне позволила смотреть с небольшой высоты на эту нищую. Правда, не очень я высоко над нею. Я ощупываю свой левый карман и потом правый. Есть еще у меня франки. Ну, прощай один мой франк. Я завертываю его в обрывок газеты. Лети. Певица допела. Взяла газетный мой комочек. Прощай, бесталанная. Я уж смотрю на белое облачко.

«Что ты любишь, странный человек? — спросил когда-то самого себя Бодлэр. — Я люблю облака... облака, что плывут... вон там... Облака чудодейственные!»

Облака, что плывут. Облака, что проходят. Все проходит. Пройдет и тоска моя одинокая. Все плывет. Уплывет и еще один час, в котором каждая минута свинцовый месяц. Приплывет мой корабль в вольную Россию. Знаю, приплывет. Плывут над ней грозные облака. Облака чудодейственные!

Странное поветрие¹⁰

Меня не удивляет моровая язва, ни чума, ни холера. Каждая болезнь, вихреобразно возникающая мировым бичом и начинающая косить тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей, пока не умахаются руки страшного Привидения, пока не насытятся жертвами Исполинское Чудовище, — каждый недуг до своего возникновения незримо, и зримо также, но не удерживаемый разумными мерами, — коренился, возрастал, крепнул, расцветал гнусным цветом, находя пищу для своего роста в человеческой неряшливости, глупости, безумии, неосмотрительности, в нагромождении человеческих несчастий вроде Войны или Революции.

Когда люди начинают истреблять друг друга и во взаимном несчетном истреблении находят предлог для патриотической декламации и для прославления того, что именуется цивилизацией и культурой, — естественно, что Природа с своей стороны развивает тогда, в действительных средоточиях своих сил, чисто демонические игры. Бездна кличет бездну. Чудовище влечется к чудовищу.

¹⁰ «Сегодня», 1926, 22 августа, № 186, стр. 4.

Дьяволическое соединяется с дьяволическим, так же естественно и так же цепко слитно, как болотные испарения, как ослепляющий и удушающий туман.

Но откуда после Черной Смерти, которая когда-то истребила значительную часть народонаселения Европы, приходит волнами, черными тягучими струями иная Смерть — умирание нежности в человеческом сердце, вымирание простой приветливости, вежливости, естественности, радованья всего человеческого в человеке?

Когда мы, люди, пьем вино и пьем его слишком много, мы начинаем хлестать водку, спирт, алкоголь и превращаемся в скотов. Когда мы хлебнем в своей душе — по злополучию или по извращенности — зверского и животного, мы уже не знаем ни в чем удержу, нам хочется быть все грубей и грубей, мы отбрасываем с пренебрежением, с сумасшедшим презрением все то, что сами же создавали мы или отцы наши, находясь в полосе светлого делания, солнечного зрения, напевного лада, душевной звучности.

И мы упиваемся распадом.

Меня не дивит ни язва, ни чума. Пушкинский «Пир во время чумы» — лучшая его поэма, самая возвышенная и проникновенная. Но какую поэму создашь из мерзостной прически, которую выдумали себе современные девушки и женщины? Какое благо, словесное, или зрительное, или иное, можно извлечь из отвратительного зрелища неистовых тысяч особей женского пола, которые возжелали походить на мужчин и расхаживают обстриженные, скопческой рукой срезавшие свою красоту, лучеобразные женские волосы, источник поэм, любви и нежности восхищенной художников, и ваятелей, и созидателей легенд? Откуда это гнуснейшее желание быть двуутробками, амфибиями, гермафродитами? Удобство? Легкость привести свою голову в состояние чистоты? Какое откровенное свинство! Не лень целый день бить баклуши и переливать из пустого в порожнее — я не встречаю стриженных женщин в рабочих кварталах, — и лень, нет времени подарить своей голове час-полчаса в сутки, чтоб привести ее в состояние чистоты и красоты. Но это же — безумие, это — неуважение к собственной личности, это — такое падение, как если бы все мы сказали: «Сколько замедлений и осложнений с нашей ежедневной едой. Долой столы, салфетки, вилки, ножи и тарелки. Милые, остроумные четвероногие создания не тратят время так глупо, как мы. Станем на четыре наши подпорки и будем хлебать из лоханей и будем насыщаться из корыт. Сколько драгоценного времени мы сэкономим, чтоб носиться и мчаться в наших благовожных самокатах».

Приблизительно так и поступают эти стриженные чудовища. Они тратят наименьшую долю времени на то, что требует, по своему существу и по своему достоинству, траты времени наибольшей. Книг они не читают. В книге ведь 300 — 400 страниц. Они читают отзывы о книгах и говорят уверенно о том, чего не читали. Газета — более удобная сущность. Газету можно почитать то тут, то там, несколько строк политических новостей, а главное — столбец скандальной хроники. Он проглатывается так же легко и быстро, как стаканчик коктейля или рюмка ликера. То же и с музеями. Какая мертвечина — музей. Холодные, большие, скучные комнаты, где нужно бродить полдня, чтоб до чего-нибудь добродиться. А в кафе — например, в знаменитой «Ротонде», где заседают все начинающие гении, никогда не доходящие до завершения, — начало всегда обещание, начало есть путь всех возможностей — можно и картины видеть на стенах, не утруждая себя, и узнать, необременительно, много афоризмов, суждений, столь же четких, как движения циркуля, а заодно и целый ряд пахучих, интимных сведений о видных, знаменитых людях.

Почему в женском сознании совершенно померкло чувство красоты? Волосы, окружая женскую голову, как золотой ореол окружает голову святого, блюдут женскую душу в неприкосновенности цельного лика, в самоочерченном мире стройности, целомудрия, лелейной нерасточенной страсти и благоговейности. Украшение, созидавшееся Природой в ходе тысячелетий, не бывает без внутреннего содержания. Здесь волшебствующий талисман. Если юная девушка с лицом красивым острижет свои волосы и станет похожа на полудевушку-полуюношу, в этом еще есть полуразвратная красивость. Для любителя двус-

мысленностей, полуяви-полубреда, похотливого чувства есть здесь весьма запоздалое очарование, напоминающее прискорбные извращения Английской души конца прошлого столетия. Но что меня приводит в совершенный восторг наоборот, это — толстые, дородные дамы лет 45-ти, часто и более досточтимого возрастного стажа, весело примкнувшие к неистовым стадам юных греховниц и полумолодых безобразниц. Сидит этакая красотка в ресторане или в трамвае и красуется двумя своими волосяными лопатками вдоль безмозглых висков и покрашенных щек. Нередко такая дама — пуританка Английского или Американского образца. И, посидев и поглядев кругом самодовольно своими поддельными глазелками со вставленными ресницами, сия отяжелевш[ая] Рубенсо-нимфа, сия верная мать из секты скопческих стригульниц вынимает из своей сумочки полный набор туалетных принадлежностей и, чувствуя себя не в ресторане и не в трамвае, а в своей уборной, начинает себе размалевывать губы, не щадя алого цвета.

Со мною бывает иногда так. Я еду куда-то в трамвае. Со мною рядом моя подруга. У нее волосы женские, и она вся — женщина природная и естественная. Я отдыхаю душой, смотря на нее, она себе не изменила. Но кругом я вижу целых двенадцать двуутробок. И я громко обращаюсь к своей подруге по-французски: «Как вы полагаете: из срезанных волос можно крутить веревки?» Моя подруга краснеет и бледнеет за меня. Но я человек жестокий. Я снова спрашиваю ее: «Вы, кажется, не вполне поняли мой вопрос. Я хочу сказать: из срезанных волос нельзя сплести петли?» Моя подруга умоляюще шепчет мне: «Ради Бога!» Но я уже успокоен. Двенадцать двуутробок смотрят друг на друга и на меня со странной задумчивостью, чуждой какого-либо оттенка обиды. Двуутробки смутно вспоминают что-то хорошее, что с ними было, но что они, повинувшись дьяволу моды, злomu духу смешения ликов и извращения достоверностей, утратили.

Странное поветрие.

У моего друга, французского поэта Андрэ Спира, есть превосходное стихотворение «Обнаженности»¹¹. Желая нарисовать очарование Женщины, он исходит не из утверждения ее красоты, а из испуганного страха перед ее красотой. Из того чувства, которое знакомо одинаково и древнему Еврею, и Христианскому отшельнику первичных времен, и нашим Русским скопцам, и Оригену¹², на собственном теле отрубившему голову змее. Вот несколько строк Спира:

Ты мне сказала: Быть хочу твоим
Товарищем, входить к тебе без страха,
Что помешаю; будем в долгий вечер
Мы говорить, и будем вместе думать
О братьях убиваемых; пойдем
Через жестокий мир, чтоб где-то встретить
Страну, где приклонить свою главу.
Я не хочу, чтобы они блестили,
Твои зрачки, и чтоб на лбу твоём
Вздувались жилы скрытым возжеланьем,
Я равная твоя, я не добыча.
Смотри! я целомудренно одета,
От глаз твоих низ шеи даже скрыт.
Я отвечал: Ты, женщина, нагая.
Как чаша, свежи волосы твои
Вкруг шеи нежной; вся твоя прическа
Трепещет точно грудь; их обрамленье,
Их волны — точно чувственные козы,
Идут стада. О, волосы обрежь!

¹¹ Спир Андрэ (Spire André; 1868 — 1966) — поэт, теоретик и мастер верлибра; перевод стихотворения «Nudités» («Обнаженности»), вместе с другими, вошел в очерк Бальмонта, посвященный Спиру: «Сегодня», 1924, 29 апреля, № 96, стр. 2.

¹² Ориген (ок. 185 — 253/254) — теолог, философ, филолог. Соединяя платонизм с христианским учением, отклонялся от ортодоксального церковного предания, что привело впоследствии к осуждению его идей.

Как далек этот благородный голос от тех полублудниц, которые обрезают свои волосы и раскрашивают свои лица.

Я раскрываю книгу «Песни-Сказания» великого чешского поэта Врхлицкого. Я читаю песню трубадура «Волос Королевы Эльзы»:

Довольно я в жизни красивых увидел жен,
 Красивейших видел во сне,
 Но над всеми одной красотой навсегда поражен,
 Улыбка ее там, в сердце моем, как в небесной горит вышине.
 Я вижу овал снегobelых плеч,
 И шелк тех ресниц,
 И волны груди в час русалочьих встреч,
 И той молодой
 Мерцанье зениц,
 И волос златой,
 Тот долгий чарующий волос златой —
 Твой, прекрасная Эльза, твой долгий, твой тонкий волос златой.

Константин Бальмонт и Сергей Прокофьев¹³

Лишь недавно сладкозвучно прошумела в Риге стройная и полная своеобразия музыка Прокофьева. Мне кажется, что я еще держу утром в руках своих только что полученный номер «Сегодня» с живым изображением его прибытия в Ригу, и еще другие номера, с другими изображениями знакомых и дорогих мне лиц Сергея Сергеевича Прокофьева и его жены, певицы, выступавшей многократно с большим успехом в Италии, Франции и Америке, юной Испанки, хорошо говорящей по-Русски, Лины Льюбера. Я знаю Прокофьева давно, знал его еще когда он был начинающим юным композитором и пианистом, в Петербурге 1916 года.

Я бывал тогда нередко в гостеприимном доме К. Д. Бальмонта, на Васильевском Острове, на вечерних журфиксах, собиравших еженедельно поэтов, романистов, художников, музыкантов. Мне довелось там не однажды — в «Золотой комнате», в большой гостиной-столовой, оклеенной золотыми обоями, с большим Итальянским окном — сидеть и говорить за чайным столом, превращавшимся в свой миг в стол ужина, затягивавшегося часто до рассвета, — с такими представителями художественного слова и художественного дела, как Ф. К. Сологуб, И. И. Ясинский, проф. Зелинский, Мейерхольд, — Сергей Городецкий с своей красавицей-женой Нимфой Городецкой, — затерявший теперь где-то в Советской России свою красивую душу, поэт и пианист Николай Бруни, потомок знаменитого Итальянского гуманиста, — его брат, преуспевший и ныне состоящий профессором в Московской академии художеств, тогда еще полумальчик, художник Лев Бруни, — и красавица с поразительными волосами, певица, обладавшая металлически-верным звуком голоса, Тамара Лаврова-Похитонова, — и женственная дива танца, потом прославившаяся на весь мир, — и много еще различных лиц женских и мужских, больше — юношеских, и того, и другого пола, равноценно.

Я когда-нибудь подробно расскажу вам о тех прекрасных вечерах и ночах, когда всем нам, и большим, и малым, снилось все время что-то великое. Но сейчас я хочу только дополнить изображение Прокофьева, сделанное у вас в Риге с удивляющими меня упущениями.

Среди гостей Бальмонта, в те далекие дни, меня особенно привлекал тонкий как стебель, белокурый юноша, поражающий в своем полудетском лице смесью чего-то робко-застенчивого и самоуверенно-дерзкого. Этот юноша был музыкант и написал изумительный романс на слова Бальмонта «Есть иные планеты, где ветры певучие тише...» Это был Прокофьев, уже тогда поражающий уверенным прикосновением своих длинных, изящных пальцев к клавишам

¹³ «Сегодня», 1927, 13 февраля, № 35, стр. 4. Подпись: Мстислав (псевдоним Бальмонта).

пианино, стоявшего в маленькой гостиной, рядом с Золотою комнатой. Это был Прокофьев, уже весь исполненный музыкальных сарказмов, классического отношения к музыке, классической линии своей музыкальности, при всем буйстве, при всем — в известном смысле — романтизме своего художественного **Скифства**.

В то время как очаровательный юноша, Ника Бальмонт, сын поэта, сам поэт, и пианист, и композитор, с лицом женственно-мечтательным, в стиле Английских Прерафаэлитов, терялся на этих вечерах в утонченностях и перутонченностях — он в них потерялся совсем и в прошлом году умер в Москве, после нескольких лет душевного недуга¹⁴, — Прокофьев поражал меня крепкою своею художественностью и тем, что он брал из опасных очарований поэзии Бальмонта лишь наиболее твердую его основу, силу пантеистического восторга и выпуклую выразительность отдельных лирических состояний. Он написал позднее ряд романсов на слова Бальмонта, и некоторые были исполнены в Риге и отмечены [— такие], как Малайское заклинание «Помни меня!» Но вообще, любя нашего поэта, как младший брат — старшего или даже — иногда — как сын отца, он, повторяю, не упивался цветочным опьяняющим и одуряющим запахом Бальмонтковского Природопоклонения — кстати, отлично выраженного в музыкальном творчестве последних лет Н. Н. Черепнина, — но брал оттуда, как толчок для своего творчества, те стороны поэзии Бальмонта, где чувствуется свежий дух священной Дриидической дубравы.

Я подхожу именно к тому изумительному произведению Прокофьева, которое странным образом не было отмечено музыкальной критикой при его приезде в Ригу: музыкальное заклинание на слова Бальмонта, «Семеро, семеро их!» Вот несколько строк оттуда, из этой древней надписи, уносящей нас к временам Вавилона:

Семеро, они рождаются там, в горах Запада;
 Семеро, они вырастают в горах Востока;
 Они сидят на престолах, в глубинах Земли;
 Они заставляют свой голос греметь на высотах Земли;
 Они раскинулись станом в безмерном пространстве Небес и Земли;
 Доброго имени нет у них в Небе, ни на Земле.
 Семь, они поднимаются между Западных гор,
 Семь, они южатся в горах Востока для сна.
 Семеро их! Семеро их!
 Семеро их в глубочайших тьмах Океана.
 В сокрытых вертепах.
 Они не мужчины, не женщины,
 Они простираются, тянутся, подобно сетям.

 Мольб не слышат они, нет слуха у них к мольбам,
 На больших проезжих дорогах,
 Препоной вставая, ложатся они на пути.
 Враги! Враги!
 Семеро их! Семеро их! Семеро их!
 Дух Небес, ты закляви их!
 Дух Земли, ты закляви их!

Мне вспоминается солнечное утро в Москве тех дней, когда ненавистный Большевиизм еще творил свое Сатанинское дело ошупью, не смея поверить в свои Дьявольские успехи и одобренные Преисподней отверженные начинания. Я сижу в гостях у Сергея Александровича Кусевицкого, в его художественном доме, в одном из Арбатских переулков, как раз насупротив того нарядного

¹⁴ Указанный год смерти неверен. Сын поэта, Николай Бальмонт, «занимался в консерватории вопросами света и музыки. Он году в 19-м был <...> уже с явными признаками нервного заболевания. В Москве он был близок ко второй жене Бальмонта [Е. А.] Андреевой. Она, кажется, принимала в нем участие. Потом он заболел шизофренией и умер в больнице от туберкулеза в 1924 году», — вспоминал позднее А. Н. Энгельгардт.

дома, где засел Мирбах, убитый Блюмкиным, на глазах одной из моих близких знакомых. За роялью — собирающийся в Америку через Сибирь Прокофьев, он играет для Кусевицкого отрывки из только что написанного музыкального заклинания «Семеро, семеро их!» Он перемежает отрывки оригинальнейшей музыки острыми афоризмами, смеется, весел, напоен силой и смелой предприимчивостью. Он весь — озаренный Ярило или захотевший быть усмешливым Перун. А когда он вскоре ушел, Кусевицкий перелистал партитуру, встал, походил по комнате, вздохнул и, заливаясь румянцем, сказал: «Вы знаете, по богатству и оригинальности оркестровки сейчас нет на всем Земном Шаре такой блестящей музыкальной фантазии».

Два-три года тому назад эта фантазия с огромным успехом исполнялась при магическом покачивании дирижерской палочки Кусевицкого в Grand Opéra в Париже. А вот что мы можем прочесть в Boston Symphony Orchestra, 1925 — 1926: «„Семеро, Семеро их!“ Заклинание для Тенора, Хора и Оркестра. Op. 30 Сергея Прокофьева. (Родился в Сонцовке, в Екатеринославской губернии, 24 апреля 1891 г., ныне здравствующий). „Семеро, семеро их!“ было впервые исполнено на концерте Кусевицкого, в здании Оперы, в Париже, 29-го мая 1924 года, на четвертом концерте, вторая серия, четвертый сезон Кусевицкого. Замысел поэмы, служащей текстом этого произведения, написанной Константином Бальмонтом по клинообразной надписи на стенах одного из Аккадийских храмов и переведенной на французский язык Люи Лялуа¹⁵, имеет следующее происхождение.

Во время раскопок, сделанных в Месопотамии, где раньше жили Аккадийцы, древний народ, чья история предшествует истории Вавилонян, были найдены и расшифрованы многие клинообразн[ые] надписи. Среди этих документов была найдена одна надпись на стене некоего Аккадийского храма. Надпись являла формулу заклинания, заговора против семи ужасающих демонов, которые, согласно Аккадийским понятиям, были делателями всех человеческих мучений (знаменитый Ассириолог Винклер часто приводит эту надпись в своих исследованиях). Мрачная и мистическая сила этого заклинания не однажды вдохновила великого Русского поэта, Константина Бальмонта, который написал на эту тему три поэмы. Последняя из трех, с незначительными изменениями, примечательным образом послужила для этой композиции Прокофьева. Тема соло тенора изображает заклинающего жреца; хор — толпу фанатических, схваченных возбуждением правоверных. Кантата написана в 1917 году. Манускрипт оставался в России до данной минуты. К. Бальмонт — о котором К. Станиславский в своей книге „Моя жизнь в Искусстве“ сказал: „Наш знаменитый Русский поэт К. Д. Бальмонт сказал однажды: „Человек должен вечно созидать раз и навсегда“ — один из величайших Русских поэтов текущего. Многие из его стихов положены на музыку; ему посвящены многие музыкальные композиции».

Во время одной из последних наших встреч К. Д. Бальмонт сказал мне:

— Прокофьев написал гениальную музыку к древнему Аккадийскому заклинанию, но сам он напоминает не колдуна, а светлого молниеносного бога Савитара из Индусских песнопений «Риг-Веды»:

Савитар, златорукий, живой,
 Между небом парит и землей,
 Он врачует недуги,
 Солнце им подвигается в круге,
 И едва пролетит он туманною мглой,
 Возвращается к небу в своей лучезарной кольчуге.

¹⁵ Луи Лалуа (Laloy; Louis; 1874 — 1944) — музыковед и музыкальный критик, с 1914 года — генеральный секретарь театра Grand Opera, с 1936 — профессор Парижской консерватории, поклонник и ценитель русской музыки, переводчик стихотворных текстов К. Бальмонта (в «Колоколах» Рахманинова, «Семеро их» Прокофьева).

— Вы любите его Третий концерт? — спросил я поэта. — Ведь он посвящен вам?

— Да, — ответил мне поэт. — Мне напоминает Ваш вопрос о счастливых днях в Бретани, когда мы жили недалеко друг от друга, он в Rochelets, в сосновом лесу, а я в St.-Brevin-les-Pins, над самым Океаном, который в Бретани такой всегда туманно-загадочный. Когда мы проводили вместе долгие часы, это были праздники поэзии и музыки. Я посвятил ему целый ряд стихотворений, а когда он играл мне свой Третий концерт, я ему тут же написал сонет. Могу подарить Вам текст. Потом мы вместе долго шли по затихшему лесу и говорили о музыке, он говорил, что музыкант музыканта редко понимает и его раздражают суждения цеховых мастеров, но что впечатления поэта, любящего музыку, при отдельных неопытностях в выражении суждений, всегда в основном красноречивы и в них есть полновесное зерно.

Сонет Бальмонта к Прокофьеву гласит:

Ликующий пожар багряного цветка,
Клаватура снов играет огоньками,
Чтоб огненными вдруг запрыгать языками,
Расплавленной руды взметенная река.

Мгновенья пляшут вальс. Ведут гавот века.
Внезапно дикий бык, опутанный врагами,
Все пути разорвал и стал, грозя рогами.
Но снова нежный звук зовет издалека.

Из малых раковин воздвигли замок дети,
Балкон опаловый утончен и красив.
Но, брызнув бешено, все разметал прилив.

Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете!
В тебе востосковал оркестр о звонком лете,
И в бубен Солнца бьет непобедимый Скиф.

Злополучие отшельника¹⁶

Я живу в Капбретоне совсем уединенно и не разговариваю почти ни с кем. Не от нелюдимости это. Совсем нет. Я человек очень общительный — быть может, даже слишком. Если у меня случится горе или радость, мне это хочется тотчас же рассказать кому-нибудь. Близкому, а иногда и совсем чужому. Вот во втором случае и возникают иногда **случаи**, кои непременно должны быть наименованы злополучием. Ведь я живу во Франции среди французов. А это народ образцово замкнутый, несмотря на кажущуюся их живость и общительность. У них все по мерке. Поговорят о погоде, о возможном изменении погоды, о каком-нибудь давнем, совершенно определенном случае, например, о проезде от такой-то станции до такой-то или о нахождении такой-то, не ведомой вам, улицы или соседней деревушки, — об этом французы будут говорить с вами чрезвычайно охотно. Сверх надобности подробно. И попутно что-нибудь спросят, вас касающееся, остороженько спросят, деликатненько, мимоходом, но во всяком случае так, что их отъединенность и замкнутость останутся неприкосновенными, а о вас они что-нибудь узнают, что, быть может, когда-нибудь зачем-нибудь и пригодится.

Нет, не люблю я эту манеру. Как хотите, ухватка эта нудная, душевно бесполезная и даже вредная. **Бога для** — ничего тут нет. Да и для человека как человека, для человека живого и чувствующего, а не только двигающегося, как самоход-самокат, тоже в этой ухватке ничего нет утешительного и любопытного. Как в съеденном яблоке или как в постукивании тросточкой по чужому частоколу во время прогулки. И вот я естественно избегаю разговаривать с

¹⁶ «Сегодня», 1928, 4 марта, № 61, стр. 5.

здешними французами. Меня не ищут, и я не ищу никого. Господь с ними. Процветайте, уравномеренные. Будьте толстоватыми фермерами, в законной беззаконности взимающими с меня ненаказуемо-неправосудную мзду за все, что мне понадобится в смысле кровли надо мной и пищи, мною поглощаемой, и всего-всего. Через час пойду на почту, и почтарка будет вежлива, и мы поговорим о том, что мимозы расцвели и что это жантильно и шармантно. А по дороге домой найду купить себе мандаринов, и обменяемся с лавочником теми же соображениями. И, так как я нуждаюсь также в папиросах кэпстэн, супруга табачника тоже даст мне ощущение, что везде во Франции, на Севере или на Юге, есть дисциплина собеседования и единообразие мышления. Точно также, где ни раскрой шахматную доску, фигуры будут одни и те же. Порядок, порядок прежде всего. И уравниренность. Я — как ты, а ты — как он, я, ты, он, мы, вы, они. Центральное отопление.

Но, черт побери, мне иногда хочется говорить и разговаривать, а не только двигать челюстями, изображая что-то. Я не вполне один, хотя могу применить к себе смиренно-гордое наименование — **отшельник**. Нас трое. Две женские души — хорошее общество. Две Русские женские души — это целый клад. И мы говорим. О поэзии, о писателях, о России и Европе, о женщине и мужском сердце, о мгновении и Вечности, о свободе воли — обо всем, о чем мы, Русские, говорим — и в юности, и в поспевшее время, и в приспевшую годину лихолетья, говорим дома, говорим в лесу, говорим везде. Увы, без особых следствий. Говорю и я. Но и от таких разговоров я охотно убегаю в свою отдельную комнату, где у меня много книг, Русских, Польских, Чешских, Сербских, Испанских, Английских, Норвежских и Шведских, и еще других, иноязычных, ибо хорошо через чтение книги собеседовать с кем хочешь, как хочешь, на каком языке хочешь, — и бросить разговор, не обижая другого, в первый же миг, как того захочешь.

Но, переходя от Требника к рассуждению святой Терезы о Внутреннем Замке и от Шведских страниц Сванта Аррениуса о Млечном Пути к Чешским философским стихам Бжезины или к музыкально-ясновидческим стихам Антонина Сова, и от гениальных Польских прорицаний Выспянского к Норвежским умозрениям Бреда Кристенсена о смысле Египетской Книги Мертвых, точнее, Книги Пробуждения в Вечную Жизнь, — переходя от художественно-мыслительного полета к полету, так обостряешь свое внутреннее состояние, что, когда недели сменяются неделями, а месяцы месяцами, хочется чего-то совсем другого. Надо отдохнуть, надо отвлечься. Одинокая прогулка в лесу или вдоль Океана — это столько же отдых, сколько новая полоса все той же напряженной пряжи. Наверно, во время такой прогулки или после нее напишешь хорошие стихи, звучные и такие, что их звучность не просто звонкость слов. Но — какой же это отдых? И прогулка вдвоем и прогулка втроем тоже не отдых. То есть в раме отдыха все то же мелькание внутреннего острия, которое не только рассекает вопросы, преобразуя их в ответы, но и рассекает в тебе что-то спокойно-цельное, некую скрепу, без чего нет телесного и духовного здоровья, того утоленного телесно-душевного благополучия, без которого мысль начинает кружиться и летать беспрестанно, как птица, потерявшая свое направление, — и как сбившийся с пути странник, попавший в Рдяно-Красочную Пустыню в Северной Америке, где путник, заблудившись, начинает ходить по концентрическим кругам, бросая по пути ставшие невыносимыми котомку, ружье, патронташ, куртку — все, пока не падает, обеспамятев и лишившись чувств.

«Вот что, — говорит мне близкая душа. — Ты совсем переутомился. Надо отдохнуть. Поедем-ка в Бордо, повидаемся с друзьями, послушаем музыки». — «В Бордо? Что за ужас! Железная дорога. Человеки». — «Ну, ничего. Ведь пять часов всего дороги до Бордо». — «Ну, поедем». И мы едем.

Неужели правда длительная жизнь среди деревьев, цветов и книг делает взрослого человека таким беспомощным и смешным в движениях и в неумении примениться к тому, что ты не в своей комнате, не в своем доме? Увы, да. Много места в вагоне, всем хватит места, но мне кажется, что меня посадили в

участок. Ни за что, ни про что арестовали. И какие они неприятные, эти другие арестанты. Я так не люблю ссориться, но уж наверно до конца пути поссорюсь с кем-нибудь. Я не выношу, например, чтобы кто-нибудь говорил около меня глупости и плоскости. Да еще с нестерпимым ам-амкающим апломбом. У нас, Русских, говорить с апломбом считается признаком глупости и пошлости. А французское выражение «у него есть апломб» означает, что у этого человека есть смелость и достоинство. Что называется — «Вперед, без страха и сомнения»¹⁷. Нет, постой, я тебя прочу, крепковыйный со-арестант!

И с беспомощно-беззаконной воинственностью я уже готовлюсь вмешаться в беседу двух незнакомцев и блистательно опровергнуть тот плоскодонный вздор, в котором они, как в лодке-душегубке, столь неосторожно и самоуверенно плавают. Но близкая душа знает меня наизусть и заботливо следит за мной. О, благой и неукоснительный Аргус! Тысячеглазая! Она ласково берет меня за руку и обращает мое внимание на то, что мы проезжаем около белоствольных берез. Березы во Франции редкость, а для меня увидеть хоть одну такую родную красавицу леса означает — превратиться в созерцание и мечтательность. Что и требовалось доказать. Кроме берез, весьма по дороге не часто встречающихся, из вагонного окна можно видеть чудесные сосновые леса, и дубы, и вязы, и реки, и озера, и пруды, и живописные ложбины, обрамленные по краям заголубевшим вдали лесом. Мы доезжаем до Бордо без неприятных осложнений.

Побыть в городе несколько дней мне всегда бывает приятно — после долгой полосы жизни в деревне или в местечке, которое почти деревня и состоит из небольшого количества домов, окруженных садами. Жить в городе я более уже не смогу, должно быть, никогда. В деревне я с Природой. Каждое дерево мне мило, как живое существо, меня никогда не беспокоящее и не тревожащее, но всегда мне кажущееся красивым, стройным, содержательным, безгласно-красноречивым, дающим мне радость чувствовать, что я в чем-то огромном, живущем своею, не моей жизнью, но через какие-то внутренние соответствия делающем мою человеческую, мою поэтическую, мою мыслящую жизнь более богатой и успокоенно-благородной. Это до такой степени сильно, что когда в городе я напишу новые стихи, мне их хочется поскорее кому-нибудь прочесть, они как бы беспокоят меня в моей памятной книжке, пока я их не прочту кому-нибудь. Когда я напишу стихи в деревне, мне особенно радостно медлить прочесть их кому-нибудь, мне довольно, вполне достаточно — написав их, прочесть самому про себя и пойти гулять в лес, — я чувствую себя тогда сродни вот этой вечно-зеленой сосне, что молчит, и вот этой, усыпанной тонким, легким золотом расцветшей мимозе. Я не один. Отъединенный, да. Но не один. Я иду по многолюдной улице, где столько мелькает лиц, а заговорить ни с кем не хочется.

Я помню, как ко мне приехал в гости из Версаля в Париж, когда я жил в Париже, мой друг, знаменитый автор двух нашумевших и непоблекших романов, «Мосье де Лурдин» и «Ля-Бризэр», Альфонс де Шатобриан. Он всегда живет то в маленьком местечке Пириак, в Бретани, то в полном уединении в Версале и не выносит жизни в Париже, приезжает в Париж лишь раз в неделю. Мы стояли около Люксембургского сада, и, жестикулируя с каким-то отчаянием, как дервиш, которого не понимают, с выражением детского недоумения на честном, умном лице, Шатобриан говорил мне: «Посмотрите, дорогой Константин, на все эти лица, что мелькают мимо вас. Я не могу их видеть. У меня от них возникает в душе некий недуг. В них во всех нездоровье и неприязненность. Они все спешат без достаточного основания и к призрачным целям, от которых, даже в случае достижения, они становятся лишь еще некрасивее. В них нет благоволения, сопровождающего радость жизни. Нет, нет, здесь жить нельзя и бывать вредно. Уменьшается собственная внутренняя сила и воля к радованию». — «И Париж зовется Городом-Светом, — сказал я, — но никогда в Париже нельзя увидеть не затянутым тусклою, мертвящею

¹⁷ Первая строка стихотворения А. Н. Плещеева (1846).

мглой звездное небо». — «Никогда», — воскликнул Шатобриан, и глаза его сверкнули удивленной радостью, как глаза оленя, который, миновав опасность, весело убегает в лесную глушь.

Да, я пробыл неделю в Бордо. Вот я выхожу сейчас на свой балкон в Капбретоне и долго люблюсь на единственный по красоте и четкости узор созвездья Ориона. Я уже видел его сегодня. И я еще увижу его, когда ночью пойду опустить в почтовый ящик вот это письмо. Но за целую неделю в Бордо я ни разу не видел Ориона. Города дышат тяжелым дыханием. Злой этот дух разъединяет душу с небом.

Все же Бордо не такой неуютный город, как Париж, в том смысле, что жители Бордо не так неистово спешат к своим целям, как Парижане, и гораздо более жизнерадостны. В них много того добродушия, которое в Парижанах совершенно отсутствует. Мне нравится также в Бордо не стертая временем печать старины, Средневековья. Смешные, узкие, кривые тротуары, двери с билом вместо звонка, предлинные, узкие улицы, где двум экипажам довольно трудно разехаться, — для созерцателя все это очень живописно.

Свидания с друзьями. Мое выступление перед небольшой, но довольно сплоченной семьей Русских, которые, не прирав того, что в Триэсерии, мужественно ведут свою линию, живя в сероватом городе, как простые рабочие, — читают, мыслят и не теряют веры в лучшие времена и в возвращение действенное в Россию, не в возвращение возвращенцев, а в радость гордого возврата в вольную Россию, которая не возникнуть не может, возрожденно уже строится, и здесь, и там. Я читал стихи о России. Мой друг, молодой скрипач Ян Кролль¹⁸, играет на скрипке «Мазурку» и «Легенду» Венявского. Несколько десятков Русских людей и несколько французов слушали голос поэзии и голос музыки. И было трогательно видеть, что эти измученные трудною жизнью люди, из своих трудовых грошей уделяющие долю для создания своей библиотеки, не угашают свой дух и радуются радости искусства.

Но вот уже четырех дней в городе мне довольно. Пятый, шестой и седьмой день — я в плену. Нет, уж это не отдых. Прочь, прочь из города. И вот я опять сам с собой, в моем лесном Капбретоне, овеянном вечными глаголами и плесками Океана. Чего ж ты искал, безумный отшельник, когда без тебя расцветали все новые и новые гроздьи цветов мимозы? Мое злополучие кончилось. Я вернулся в царство цветочного золота. Повидался с друзьями — и будет. Посмотрел на разметанность городской толпы — и будет. Тихие звезды. Тихие деревья. Тихие цветы. Тихие мысли. Упорство тихой мысли сломить всякую злую твердыню. Не изменяя себе и своей Любимой, Единственной — крепить свою мысль. Это верный путь.



¹⁸ Кролль Ян (М. Jean Kroll) — польский скрипач; поэт посвятил ему стихотворный цикл «Виолончель и скрипка» (в сб. «В раздвинутой дали», 1929).

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ



КАК СДЕЛАТЬ МИР ПРАВИЛЬНЫМ

О консерваторах США

...Бессмертны стремления,
живущие в глубине обоих великих народов,
такие страстные, такие загадочные,
такие бездонные, — все это присуще в равной мере
и нам, американцам, и вам, русским.

Уолт Уитмен¹

Желание сделать мир если не правильным, то хотя бы более правильным, сравнительно с нынешним его состоянием, возникает у консервативно мыслящих людей в разных странах и не в последнюю очередь в России. Конечно, эта тема продолжает занимать и левых радикалов, но сегодня, судя по всему, ветер дует в спину консерваторам. У нас консерватизм становится официозной идеологией, пока еще неотчетливой, сбивчивой. Начато с того, с чего следовало начать, — с освоения бесценного наследия русской идейно-философской мысли. Вот только подвигается оно медленнее, чем хотелось бы.

С другой стороны, мы не можем не испытывать давления мировой синхронии. Мир полон звуков, представляющих собою *имитации*, разными голосами на разные лады повторяющих те или иные музыкальные темы; как в ранне-европейских мадригалах или мотетах — эхо «наезжает» на эхо, отголосок на отголосок. Это нормальное явление, даже по меркам былых времен², и уж тем более в условиях современного перенасыщенного эфира.

Естественно, что более всех других вольно или невольно заставляет себя слушать Америка, как ни крути, самая «важная» на сегодня страна в мире. «Пока мы лиц не обрели», мы то и дело (даже не всегда отдавая себе в этом отчет) скашиваем глаз в ее сторону и примеряем на себя маски *made in USA*. Накат консервативной волны в этой стране, выливающийся в нечто похожее на революцию, подсказывает нам прислушаться к американским консерваторам различных направлений, дабы лучше понять, какие у нас могут быть с ними созвучия и какие разногласия. Впору последовать совету Христа (в одном из аграфов³): «Будьте искусными менялами», то есть умеете оценить по достоинству монеты, которые попадают вам в руки.

Каграманов Юрий Михайлович родился в 1934 году в Баку. Публицист, философ, культуролог. Автор книги «Культурные войны в США» (2014) и многочисленных публикаций. Постоянный автор «Нового мира». Живет в Москве.

¹ Уитмен У. Листья травы. М., Гослитиздат, 1955, стр. 332.

² Гоголь писал в «Ночи перед Рождеством»: так устроено на нашем свете, что «все, что ни живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого». И это в те времена, когда электронных *media* не было даже в проекте.

³ Аграф — высказывание Христа, канонически признанное возможным, хотя и не достоверным.

Разноэтажная Лапута

Извне представляется, что господствующей идеологией в Соединенных Штатах до последнего времени оставался неоконсерватизм. Это неоконсерваторы поставили свою страну в позицию белого рыцаря, всюду на планете навешивающего «справедливый» порядок. Но у них был и остается также и внутренний «фронт», первоначально гораздо более важный для них, чем внешний.

В «книге родов» неоконсерватизма (кто кого «породил») верхние три строчки занимают Лео Штраус (1899 — 1973), Алан Блум (1930 — 1992) и Ирвинг Кристол (1920 — 2009). Эти трое, отличающиеся теоретической основательностью (особенно это относится к первым двум), задали общее направление движению, в центре внимания которого встал вопрос о религиозно-культурном устройстве общества.

Лео Штраус, немецкий еврей, с душой марбургской (окончил знаменитый в былые времена Марбургский университет), переселившийся в США перед Второй мировой, вынес из измученной Европы «усталость» от истории, в мутном потоке которой он перестал улавливать какие бы то ни были смыслы. Штраус поставил целью «выйти за пределы своей исторической ограниченности или понять нечто транс-историческое»⁴. Он усмотрел транс-историческое в естественном праве и, с другой стороны, в философии Платона (которые, как мы увидим, до некоторой степени друг другу противоречат).

Вечное, как писал Честертон, может быть низким и ущербным. Это можно сказать и о естественном праве: оно, действительно, универсально и представляет собою непреходящую ценность, но у него есть «потолок» и оно не может «поднять голову» в высшую сферу человеческого — духовную. К тому же Штраус не столько естественное право защищает, сколько «естественный порядок», а это уже искусственная конструкция, основанная на чистом умозрении.

Что касается Платона, то он велик на все времена тем, что опознал существование идеального неземного мира, и своим учением об Эроте (Эросе) как творческой силе, но внимание Штрауса и его последователей привлекают не столько «Пир» или «Федон», сколько «Государство (другое название на русском — «Полития»), сочинение, в котором много сомнительного, а порою и просто отталкивающего. В этом своем диалоге Платон проявил своего рода «революционное нетерпение», попытавшись «спустить на землю» идеальное (как попытался он это сделать на практике в своих поездках к сицилийским тиранам): выстроил совершенный, в его понимании, град земной, по многим признакам сходный с классической Спартой, в его время уже приходящей в упадок. Это общество, созданное для войны, которая никогда не кончится, жестко организованное сверху донизу и согласное во всех своих частях. Не удивительно, что военные песни здесь предпочитают любым другим. И это жестокое общество: оно презирает «негодных» в том или ином смысле, а физически неполноценных и откровенно порочных умерщвляет.

Таким государством, согласно Платону, должен править философ или способный философствовать царь. Философ созерцает «нечто стройное и вечно тождественное <...> полное порядка и смысла...»⁵ и свое видение претворяет в жизнь. Любопытно, что требование физического совершенства распространяется также и на него: он должен быть «статным и привлекательным на вид». Последним требованием пренебрег и сам Платон: до конца жизни он просидел, фигурально выражаясь, «у ног» любимого и почитаемого им учителя — Сократа (как буквально сидит он у его ног на картине Жака-Луи Давида «Смерть Сократа»), который был невзрачен и «непородист».

Увлеченный взглядами Платона на государство — как идеал, который в принципе недостижим, но к которому надо стремиться, — Штраус в то же время разделяет его готовность прислушиваться к «внутреннему голосу» (*демо-ну* Сократа), уводящему далеко за пределы родного полиса, в «страну, кото-

⁴ Штраус Л. Естественное право и история. М., «Водолей», 2007, стр. 29.

⁵ Платон. Соб. соч. в 3-х тт. М., «Мысль», 1971. Т. 3 (1), стр. 305.

рой нет», а значит, за грань «естественного порядка» и естественного права. Утопичен совершенный град Платона, но утопична и цель выхода из него. Непосредственный ученик Штрауса (по Чикагскому университету, где оба, каждый в свое время, состояли профессорами) Алан Блум пишет: «Утопизм, как учит нас Платон, это огонь, с которым надо играть, так как это единственный способ определить, кто мы есть...»⁶ Но «играть с огнем» позволительно лишь определенной группе лиц и не позволительно основной массе населения.

Здесь мы касаемся вопроса, который основоположников неоконсерватизма занимает, пожалуй, больше всех других: об отношениях между творческим меньшинством и *tutti quanti*, всеми прочими. В пику демократии, хотя прямо и не отвергая ее, Штраус выдвигает идеал «аристократической республики». Новую аристократию должны создавать, по его замыслу, обновленные университеты: марбургский *alumnus* высаживает на американской почве идеал Школы, когда-то пестуемый на его исторической родине — от Педагогической провинции Гете до Касталии Гессе. Делом умственной аристократии должно быть... нет, не постижение истины, ибо истина непостижима, но созидание ценностей. Ценность, по Штраусу, всегда и везде — плод волевых усилий. А для *tutti quanti* надо творить «благородную ложь» (взято у Платона). Другое имя «благородной лжи» — миф.

Если понимать миф как способ видения окружающего мира, оформленный эстетически, то он отнюдь не тождествен лжи, пусть даже и благородной. Ницше писал, что жизнь возможна только в некоторой оболочке. Это можно понимать по-разному, можно и так, что своя конкретная культура ограждает от воздействия дурной бесконечности, могущего стать убийственным. Такая культура не есть ложь, она содержит в себе, скажем так, малую истину.

Для христианина большая истина христианства объемлет все, включая и конкретные мифы, в ареале христианского мира. А для Штрауса и его последователей за пределами «оболочки» — пустота, которой они отважно «смотрят в глаза». Но для тех, кто не принадлежит к творческому меньшинству, они считают необходимым восстановление христианского благочестия, хотя бы в том объеме, в каком оно имело место еще в 50-е годы прошлого века. На этом пути они даже не исключают возможность «доброжелательного принуждения» (*benevolent coercion*) к вере.

Парадоксальный проект: «верящие» в пустоту загоняют «малых сих» в церкви! Обвинение в деспотических замашках их не смущает. «Деспотическое правление» — пишет Штраус — несправедливо только в том случае, если оно «применяется к тем, кем можно управлять убеждением», тогда как «правление Просперо над Калибаном справедливо по природе»⁷. Роль современного Калибана они отводят тем, кого называют «чернью».

В наш демократический век редко кто отваживается употреблять этот термин. Тем более что явление, им обозначаемое, утратило видовую определенность. Ушла в прошлое «классическая» чернь былых времен, какую можно было видеть в лондонских трущобах или портовых кабачках. Произошла некая диффузия — материальных условий жизни, ценностей, житейских привычек. Буржуазность вступила в своего рода химическое соединение с богемностью, и со своей стороны нравы трущоб и портовых кабачков тоже вышли из мест своего первоначального бытования и растворились в «большом» обществе. Без обиняков пишет Ирвинг Кристал о соотечественниках: «Грубо говоря, американцы все больше ведут себя как сборище черни»⁸. А народовластие, по его словам, может опираться только на «народ», а не на «чернь».

Воистину так. Вот только можно ли приподнять чернь, нравственно и эстетически, «благородной ложью»? Опыт христианизации народов оставил нам свидетельства совсем иного рода: те, кто звал других идти за Христом, сами

⁶ Bloom A. *The Closing of the American Mind*. New York, «Simon and Schuster», 1987, p. 67.

⁷ Штраус Л. Указ. соч., стр. 127.

⁸ Кристал И. В конце II тысячелетия. М., ИНИОН, 1996, стр. 30.

истово верили в Него. Образовательные, культурные различия тут не играли решающей роли. Великий христианский философ апостол Павел и простой рыбак апостол Петр верили в одно и то же.

А неоконсерваторы, полагая, что только христианство может заново создать «народ», сами отталкиваются от Платона, который в интерпретации Штрауса фактически противопоставляется христианству⁹. В этом он повторяет ход французских просветителей XVIII века (и их «детей» — революционеров 89-го года), для которых обращение к античному наследию имело тот же смысл: воспетая Дидро, и не им одним, спартанская фаланга призвана была сокрушить Церковь. О подлинной роли Платона в истории мысли удачно, как мне кажется, высказался Б. П. Вышеславцев: вместе с Сократом он воздвиг тот жертвенник «неведомому Богу», о котором говорит ап. Павел (Деян. 17:22 — 23), но сам Бог оставался им неведом. Как неведом оставался им и человек в своей глубине.

Проект мировоззренчески «разноэтажного» общества — футуристический, по сути, проект. Кристол пишет о просветителях XVIII века, что они мысленно создавали своего рода Лапуту, некий искусственный остров, парящий над землей (образ взят из «Путешествий Гулливера» Свифта). Но и неоконсерваторы мысленно конструируют свою Новую Лапуту, в которой нижний «этаж» заметно отличается от верхнего. Нижний — это, как пишет Блум, Америка «с правильными мыслями», «без автомобильных катастроф и без разводов». Верхний — избранные ценители Платона, которым развитое воображение позволяет растекаться мыслью по всем параллелям и меридианам мировой культуры.

В своей «эпохальной» книге «Тупик американского мышления» Блум развивает мысль Штрауса об университетах как возможных питомниках новой аристократии. Ему режет глаз несоответствие между их внешностью (он постоянно имеет в виду лучшие университеты Америки, как правило, старинные, выстроенные в неоготическом стиле) и текущим содержанием. Здесь он созвучен Бальмонту: «Грезят колледжи о Средних веках», то есть внешняя неоготика грезит, а все, что внутри, ей приходится нести в себе «через не хочу». Фактически университеты, точнее, гуманитарная их часть подверглась разгрому в годы культурной революции 60-х. Профессора и преподаватели пытались его предотвратить, но были сметены волной обезумевшей молодежи и вынуждены или уйти, или плыть по течению. Это коснулось также или даже в первую очередь университетов так называемой «Лиги Плюща»: «Гарвард, Йель и Принстон, — пишет Блум, — перестали быть тем, чем они были — последним прибежищем аристократического чувства в демократическом обществе»¹⁰. В поле навязавшей себя идеологии преимущественно неомарксистского и мультикультурного толка утрачено чувство «высокого» в культурном смысле, ничто в пространстве и времени не способно внушить преклонение и вызвать на соревнование; и самое главное: для студентов не существует истины, которую стоило бы искать, каждый уверен, что несет ее в самом себе.

Блум сетует на то, что редко кто стал читать «великие книги»¹¹. Молодые люди не верят, что в «Анне Карениной» или «Красном и черном», написанных «мертвыми белыми мужчинами» (сразу три недостатка!), они могут найти что-то, что может иметь отношение к их собственной жизни. Заметим, что взгляд самого Блума на «великие книги» выдает в нем последовательного «лапутянина»: он намерен взять их в будущее, оставляя без внимания их исторический контекст. Не знаю, кому как, а мне трудно представить Жюльена Сореля или

⁹ Нелишне заметить, что плененный штраусовской интерпретацией Платона А. Г. Дугин полагает, что «Проект Новой России должен начинаться с *платонического оглашения*» <<http://www.platonizm.ru/content/dugin-ag-aktualnost-platona-dlya-rossii-i-platonicheskii-minimum>>. «Мы, — убежден Дугин, — движемся к построению государства Платона» <<https://izborsk-club.ru/11322>>.

¹⁰ Bloom А. Указ. соч., р. 89.

¹¹ Сразу несколько университетских издательств в США уже много лет выпускают серии под названием «Великие книги», включающие выдающиеся художественные и философские произведения разных времен и народов.

Анну Каренину, вырванными «с мясом» из той исторической среды, в которой им довелось жить.

Идеологическая направленность куррикулума, примитивностью и угловатостью своей напоминающая о советской школе 20-х годов, не препятствует у молодых людей свободной игре инстинктов, напротив, поощряет их. Университеты становятся местами «веселого и бездумного саморазрушения» (Кристал). Когда в один из самых почтенных университетов приглашается бывшая порнозвезда для чтения курса под названием «Как научиться радоваться жизни», это перестает казаться чем-то диковинным. Блум пишет, что родители, посылающие свое чадо в «храм науки», случается, не узнают разнуданное существо, которое оттуда возвращается.

Катастрофа постигла всю систему образования — таково мнение многих из тех, кто способен судить о проблеме изнутри. Как результат, расширяется практика домашнего образования, позволяющая вообще обходиться если не без высшей, то хотя бы без начальной и средней школы.

В отличие от Штрауса, оставшегося на «верхотуре» философии, Блум выбрал более приземленную роль *public intellectual* (примерно то же, что идеолог), то есть попытался непосредственно влиять на культурную ситуацию. Но ничего из этого не вышло. Хотя никак нельзя сказать, что он не был услышан: «Тупик американского мышления» только за первый год вышел тиражом в один миллион экземпляров (необычный тираж для литературы такого уровня сложности), и, наверное, за следующие тридцать лет никакая другая книга столько не обсуждалась, как эта. Профессора английского языка (как и Блум) Марк Бауэрлейн и Адам Беллоу так объясняют ее успех: «Публика среагировала на аргументацию Блума потому, что она представлялась относящейся ко всей стране, а не только к высшей школе. Слом куррикулума отражал слом нашей гражданственности и культуры, как полагали читатели, и они были правы...»¹² Быть может, точнее было бы сказать, что слом куррикулума *предопределил* слом гражданственности и культуры.

Еще один профессор английского языка, Уильям Дерешевич, пишет, что со времени Блума деградация гуманитарных факультетов только усугубилась¹³. Нынешние студенты — «отличные овцы» (так называется его книга о положении дел в университетах), которые влекутся туда, куда им указывают идейные пастухи и подпаски, а последние в большинстве своем — «дети 68-го года». Конечно, попадаются и «черные овцы», они же «белые вороны», — юноши и девушки, горящие чистым белым пламенем на поприще наук, но теперь это большая редкость. Остаются и целые университеты, не изменившие академическим традициям, но таковых единицы.

Мало кто вспоминает, что по крайней мере лучшие, «плюшевые» университеты Америки в прежние времена не только давали приличное образование, но и воспитывали джентльменов. Сейчас фигура джентльмена вызывает скорее иронию. Не кто иной, как президент Обама, признал, что в «плюшевых» университетах (по инерции остающихся самыми «рейтинговыми») риск для женщины быть изнасилованной примерно такой же, как и в «воюющей африканской деревне». Здесь только возникает побочный вопрос, не следует ли присвоить академический рейтинг также и «воюющей африканской деревне»?

Вот еще парадокс: университеты, призванные быть, по мысли неоконсерваторов, «питомниками новой аристократии», стали на самом деле очагами разложения.

Внешний «фронт» был для неоконсерваторов на втором месте; «враг номер один» засел в университетских аудиториях, кинотеатрах, в некоторых комфортабельных гостиных. Но не забывали они и о врагах внешних, полагая, что иметь их необходимо или по крайней мере желательно. Потому что, как писал Штраус, только внешняя угроза по-настоящему сплачивает нацию

¹² Bauerlein M. and Bellow A. *The State of the American Mind*. New York, «Templon Press», 2016, p. IX.

¹³ Deresiewicz W. *Excellent Sheep*. Boston, «Free Press», 2014.

и «подтягивает» ее. Война формирует или выявляет героические характеры, на которые начинает равняться, за которыми следует масса народа. В идеале Штраус выступает за духовно-милитаристскую организацию общества, близкую к платоновскому «Государству». В унисон со Штраусом и Блум оправдывает войну как таковую и даже сожалеет о временах, когда католики воевали с протестантами, ибо так они, те и другие, демонстрировали силу своей веры. В свою очередь Кристол сожалеет о прекращении противостояния с СССР, что, по его мнению, грозит американцам «утратой души».

Апология войны стала нелегким делом в наше время. В минувшие века война могла быть по-своему красива; о Троянской войне, например, можно было сказать, что она так же прекрасна, как и Елена, из-за которой она началась. То есть, конечно, она (война) всегда была ужасна; но и прекрасна в то же время. С этой, форсистой стороной войны, казалось, покончила Первая мировая, загнавшая воителей в окопную грязь. В те годы надо было обладать характером Николая Гумилева, чтобы в описании войны осмелиться взять верхнюю октаву: «И воистину светло и свято / Дело величавое войны».

Но в последние годы военное дело претерпевает новые изменения: война опять призывает избранных (выступление массовых армий на поле боя считается маловероятным) и все больше вверзается в выси; похоже, что «звездные войны» становятся эстетическим идеалом. Не знаю, как с эстетикой, но азарт во всяком случае будет сопутствовать бойцам, а значит, настраивать их на высокий эмоциональный тон.

Оправдание войны как таковой не лишено было резона в атмосфере радикального пацифизма, которую за годы надыхали культурные революционеры. Возьмите замечательный фильм Р. Земекиса «Форрест Гамп» (1994). Герой — «правильный» солдат, разве что немножко слишком безупречный (без пяти минут платоновский «страж»); он знает в жизни только прямые дороги, но в мире, изъеденном иронией и скепсисом, выглядит если не полным дураком, то с придурью. Неоконсерваторы поставили целью вернуть солдату его традиционный статус, что само по себе заслуживает только поддержки.

Кстати говоря, в советские годы у нас приветствовали американские фильмы, дискредитирующие военных, — потому что они дискредитировали *их* военных. А ведь они дискредитировали (и продолжают это делать) культурный тип военного, у нас с американцами несколько различный, но исторически очень схожий.

Но, высмеивая беззубость пацифизма, неоконсерваторы впадают в другую крайность — *желание* войны. А это уже откровенный демонизм, который ничем хорошим кончиться не может.

Замечу, что некоторые места у неоконсерваторов оставляют впечатление, что в них отразился советский опыт. Таково их представление о мобилизующей роли идеологии, о пользе единодушия в обществе (в нижнем его «этаже»), напоминая нам о «морально-политическом единстве советского народа» (отчасти только декларированном, но отчасти и вправду достигнутом, хотя бы и на время). Но что можно считать несомненным и что подтверждается всеми критиками неоконсерватизма, это связь их внешнеполитической концепции с троцкизмом. Некоторые неоконсерваторы (как стали называть неоконсерваторов) старшего поколения, в частности Ирвинг Кристол и Норман Подгорец, в свое время даже состояли членами троцкистского Четвертого Интернационала. Перейдя с левой стороны улицы на правую, они сохранили троцкистский темперамент и претворили идею мировой пролетарской революции в идею мировой демократической революции.

Со своей стороны «нестроевой» Штраус был читателем и почитателем Мольтке-старшего (германский фельдмаршал и военный писатель) и вынес из его сочинений экзальтацию воинского подвига *per se*. «Жажда „неугасимой славы“, — по его словам, — ...дает человеку силы сбросить оковы, в которых держат его Здесь и Сейчас»¹⁴. Имеется в виду та слава, что завоевывается на поле боя.

¹⁴ Штраус Л. О тирании. СПб., Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006, стр. 154 — 155.

Неоконсерваторы утверждают, что являются продолжателями внешнеполитической линии отцов-основателей Соединенных Штатов. Но те никогда не помышляли о внешней экспансии. Хорошо известны слова Джефферсона, сказавшего, что молодая республика должна служить «светочем свободы» для остального мира, но не «искать чудовищ» за морями и не пытаться применить к ним силу. Взгляды неоконсерваторов на этот вопрос вынесены ими из «старой» Европы, от таких разных фигур, как Мольтке-старший и Троцкий. Тут у них «дым с чадом сошелся».

И все же для основоположников неоконсерватизма внешняя политика, повторю, оставалась на втором месте. А вот следующее поколение (Пол Вулфовиц, Уильям Кристол, Чарльз Краутхаммер и другие) явный неуспех на внутреннем «фронте» побудил перенести все свое внимание на внешний «фронт». «Город на холме», как традиция велит американцам называть свою страну¹⁵, эти неоконсерваторы видят «ходячим замком» (из одноименного голливудско-японского аниме), довольно-таки зловещего вида, диктующим свою волю «темным сынам земли» (Киплинг). У них это тоже называется «доброжелательным принуждением» (*benevolent coercion*).

Принуждением к чему? Если к демократическим институтам, то их приложимость к иным регионам остается спорной. Попытки навязать их «темным сынам» чаще приводят к отрицательным результатам, чем к положительным. А что еще могут предложить (к чему принудить) американцы? В год окончания холодной войны не кто иной, как Ирвинг Кристол, писал: «Что сказать о моральном измерении американской внешней политики? ...В состоянии ли мы предложить миру что-то „высокое“? Может быть — хотя я с каждым годом все больше в этом сомневаюсь»¹⁶. Зато вполне успешно американцы экспортируют «низкое» своей культуры — то, что неоконсерваторы напрасно пытались изжить у себя дома.

Неудачи на обоих «фронтах», внутреннем и внешнем, не помешали неоконсерваторам укреплять свои позиции в самих Соединенных Штатах. Новые поколения неоконсерваторов, избегая сложностей в сочинениях основоположников, «слишком начитавшихся Платона», сосредоточили свое внимание на внешней политике. Здесь они частично совпали с глобалистами, хотя и сохраняли принципиальные разногласия с ними, ибо заявляли и заявляют себя сторонниками национального государства. Но в их понимании национальное государство, конкретно США, обязано преследовать идеологические цели: не растворяться в мире, к чему клонят глобалисты, но, сохраняя свою особость, подчинять его своей воле.

В результате неоконсерваторы стали задавать тон в университетах, «фабриках мысли», основных *media*, в разного рода фондах и корпорациях, образующих структуру того, что называется «внутренним государством». Неоконсерватизм (в его усеченном виде) стал модой. «Мы все теперь неоконсерваторы», — писал несколько лет назад в редакционной статье журнал «Newsweek». Это напоминает фразу одной английской герцогини, сказавшей первому лейбористскому премьеру Р. Макдональду: «Мы все теперь социалисты».

При всем сказанном в банке идей неоконсерватизма есть и такие, что представляют определенную ценность не только для Соединенных Штатов. Перечислю их.

Об идеях как таковых: они правят миром. По крайней мере так обстоит дело со времен Просвещения и французской революции.

Идея Бога — важнейшая из идей. «Вера в Бога и в чудеса ближе к истине, чем любые научные объяснения»¹⁷.

¹⁵ В евангельском тексте, откуда взято это выражение, «город, стоящий на вершине горы», как он именуется в русском каноническом переводе, никому себя не навязывает, он просто «не может укрыться» от ничьих взоров (Матф. 5:14).

¹⁶ The Real Irving Kristol. — «The National Interest», September-October, 2015 <<http://nationalinterest.org/feature/the-real-irving-kristol-13681>>.

¹⁷ Bloom A. Указ. соч., с. 199.

Отсюда: защита креационизма. При этом не отвергается с порога эволюционная теория, которая тоже заслуживает рассмотрения.

Интересы общества выше интересов отдельного человека. Это верно, как противовес прямо противоположному утверждению, получившему на Западе статус догмы.

Общество должно быть «закрытым». Опять же верно, как противовес концепции «открытого общества», отталкивающегося от идеи «бездомности» как судьбы современного человечества (Хайдеггер).

Экономические интересы не должны стоять на первом плане. «Хозяйственный двор» (Штраус) должен быть хорошо организован (в экономике неоконны, не будучи в данном отношении догматиками, ценят то, что «работает»), но это по определению все-таки задний двор.

Чтобы быть жизнеспособным, общество должно соблюдать некоторую однородность мирозерцания.

Последнее требование находится в некотором противоречии с концепцией «двухэтажности» общества. Но это и вправду трудный вопрос. Элитарность имеет такое же право на жизнь, как и демократизм, все дело в их взаимной настройке. Центральная в неоконсерватизме идея «аристократической республики» с университами как питомниками новой аристократии представляет, на мой взгляд, эвристическую ценность, надо только иметь в виду, что путь к ее осуществлению, если она вообще осуществима, очень не близок.

Пересмешник еще поет в магнолиях

Неоконсерваторы не раз подчеркивали, что не хотят иметь отношения к какой бы то ни было ностальгии. Как раз ностальгия — отличительный признак другой разновидности американского консерватизма, традиционалистов Юга. Отправные станции, от которых они исходят, — история и почва.

Центральное событие их истории — конечно, Гражданская война. Я не припомню другого случая, чтобы потерпевшие поражение в гражданской войне не только сохранили верность проигранному делу, но и завещали ее потомкам. И те, из поколения в поколение, хранили ее. Конечно, не в ожидании реванша, казавшегося невозможным. Верность — в упоении одной-единственной мыслью: «правы были мы, а не они». Фолкнеровский Квентин Компсон (в романе «Авессалом, Авессалом!»), о котором говорится, что он «наполнен упрямыми призраками со взором, обращенным назад», был достаточно типичен.

Время Квентина Компсона — начало XX века, когда еще не затянулись оставленные войной раны. А Джек Берден в романе Уоррена «Вся королевская рать» живет в годы, когда непосредственная связь с теми событиями фактически уже утеряна, к тому же он представляет «потерянное поколение», насквозь, казалось бы, ироничное и скептическое. Но и он «ищет убежища в прошлом», в семейных анналах времен Гражданской. Ибо только там находит что-то «неподдельное», жизненно ему необходимое.

Перенесемся в наши дни. О том, как ностальгия упорствует, свидетельствует даже Голливуд (говорю «даже» потому, что среди трудящихся «фабрики грез» неприязнь к «старому Югу» явно преобладает). Назову такие фильмы, как великолепная в художественном отношении «Погоня с дьяволом» Энга Ли (1999), «Боги и генералы» Дональда Максвелла (2003), «Не тот поворот» Пенни Маршалл (2009), «Мир, сделанный правильным» Дэвида Бурриса (2015). Последний — о современных молодых южанах, ищущих «правильные» пути в жизни, которые были бы как-то соотношены с прадедовским наследием. Как говорит один из них, они «хотели бы стать умнее, но не знают, как». Очень характерная фраза: у южан было и в значительной мере еще остается свое особенное мироощущение, которое они хотели бы претворить в мировоззрение.

Самая серьезная попытка такого рода была предпринята еще в 1930 году группой литераторов, выступивших с коллективной работой, названной ими

словами припева походной песни конфедератов: «Я займу свою позицию»¹⁸. Ведущими в этой группе были Аллен Тейт, Джон Кроу Рэнсом и Роберт Пенн Уоррен — всего их было двенадцать, как они сами себя называли, «аграриев». Если в расцветшем примерно в те же годы «южном романе» Юг впервые научился рассказывать о себе так, чтобы увлечь своим рассказом остальную мир, то аграрии попытались обосновать преимущества «южного пути» теоретически. Следует помнить, что год 1930-й был годом глубочайшего экономического кризиса, поставившего под вопрос, как тогда казалось, само существование индустриального общества. А Юг тогда еще оставался преимущественно аграрным, в чем можно было усмотреть некоторую выгоду и что позволило аграриям надеяться на сохранение того жизненного уклада, какой еще существовал на Юге.

Север, утверждали аграрии, пошел по неправильному пути — чрезмерной приверженности научному мышлению и рационализации самых разных жизненных планов. Правильным был и остается тот путь, которым до сих пор шел Юг, больше полагающийся на интуицию, сохраняющий близость к природе, верный традициям и обычному праву. Как писал Тейт, южный ум был простым, не перегруженным знаниями, в которых он не нуждался; он был не абстрактным и метафизическим, но личностным и драматическим; он был чувствительным благодаря своей близости к миру природы, замечательно разнообразному и увлекательному.

Аграриев заботят перемены на уровне человеческих отношений: «Под натиском ужесточенно-деловой или индустриальной цивилизации, — читаем в коллективном вступлении, — теряются прелести (amenities) жизни. Они заключаются в хороших манерах, общительности, гостеприимстве, взаимной доброжелательности, семейной жизни, романтической любви — общественных практиках, которые пробуждают и развивают чувствительность»¹⁹.

В противостоянии Севера и Юга очень большую роль сыграла Гражданская война: она развела их по разные стороны спонтанно возникшего фронта и завершила «окачествование» каждой из них. Аграрии взяли под защиту Конфедерацию, оговорившись, что осуждают рабство негров. Ими инициирован спор, продолжающийся до сих пор: историки-северяне или, точнее, сторонники Севера (они есть и на Юге) утверждают, что целью Конфедерации было сохранение рабства, а сторонники Юга (которые есть и на Севере), что цель была другая — защита прав штатов, и что южане сами шли к постепенной отмене рабства, в доказательство чего приводят тот факт, что некоторые богатые плантаторы, в их числе главнокомандующий армией конфедератов генерал Р. Ли, сами отпустили на волю своих рабов, еще до того, как на Севере был издан соответствующий декрет²⁰.

С течением времени надежды на удержание аграрного строя на Юге неуклонно убывали, что, естественно, не прибавляло весу взглядам аграриев, хотя и не дискредитировало их окончательно. В поддержку им там еще сохранялось и сохраняется до сих пор что-то от традиционной бытовой культуры (вообще говоря, обладающей большой силой инерции). И многие коренные южане сохраняют верность проигранному делу, в гротескной форме продемонстрированную недоумком Бенджи из «Шума и ярости» Фолкнера, способным воспринимать улицу в одном определенном направлении — слева направо от памятника генералу Ли.

Новый толчок аграрианизму дала культурная революция, инициированная в университетах Севера. В ответ ей возникло движение палеоконсерватизма или, как его еще называют, неоаграрианизма (префикс «палео» дал участни-

¹⁸ I'll Take My Stand. New York, «Harper and Brothers», 1930.

¹⁹ Там же, р. XI.

²⁰ Вопрос о правах штатов юридически чрезвычайно запутан, и не стороннему человеку о нем судить. Что касается вопроса о рабстве, то надо признать, что основная часть плантаторов крепко держалась за этот институт и вряд ли пошла бы на его отмену в скором времени. Но надо признать и то, что подавляющее большинство белых на Юге рабов не имело, что не помешало им идти на войну и биться там «до последней капли крови».

кам движения какой-то насмешник, желая уподобить их троглодитам, но сами они в конце концов приняли этот термин). Палеоконсерваторы или, короче, палеоконы поставили целью провести идеи аграриев в будущее, ставшее более неопределенным, чем когда-либо. Движение выплеснулось за пределы Юга, охватив некоторые другие регионы (самый авторитетный из палеоконов Патрик Бьюкенен, известный у нас своими книгами, переведенными на русский, — уроженец Нью-Йорка, некоторые видные палеоконы жительствоуют на берегах Великих озер и т. д.), но его эмоциональный корень остается на Юге. Его «почетные участники», как выразился тоже известный у нас Джозеф Собран, — это «бабушки Юга».

В политическом плане движение оформилось как неоконфедератское, поставившее во главу угла права штатов. Возникло сразу несколько организаций, заявивших о себе как о наследниках Конфедерации. Крупнейшая из них — «Лига Юга», созданная в 1994 году, выступившая от имени пятнадцати бывших рабовладельческих штатов и добивающаяся в первую очередь «культурной независимости», но в более отдаленной перспективе выхода из Союза. Жив еще пафос полуторавековой давности. И немало еще на Юге тех, для кого по-прежнему «пересмешник поет в магнолиях» (припев из другой походной песни конфедератов).

Между прочим, Форрест Гамп, южанин, получивший свое имя в честь прославленного на Юге конфедератского генерала Натана Форреста, неявным образом воплощает идеал «старого Юга» и потому в современной Америке выглядит чудным. Но стойкий оловянный солдатик этого как будто не замечает и при любых обстоятельствах остается самим собой.

В палеоконсерватизме подкупает его чувство истории, готовность «душой о старине гореть», как говорили когда-то на Руси, его верность проигранному делу, подогреваемая как раз тем, что однажды оно было проиграно. Слабое место палеоконсерватизма — в его религиозной составляющей (в протестантском или католическом ее выражении), которая рассматривается как часть культурных традиций, хотя заслуживает быть чем-то большим.

Некоторые историки, защитники «старого Юга» утверждают, что южан того времени отличала большая религиозность, сравнительно с северянами. Но верно скорее обратное, что легко объяснить генетически. Северные колонии были основаны истовыми пуританами, и в середине XIX века пуританство на Севере было еще в большой силе. А южные колонии первоначально заселили бежавшие от пуританства английские джентри, в чьих головах мирское занимало значительно больше места. И они в определенной мере задали духовный тон Югу на следующие два столетия: в годы, предшествовавшие Гражданской войне, «Айвенго» там соперничал с Библией в качестве настольной книги.

Но в последние десятилетия и особенно в последние годы положение меняется. Традиционные для Юга деноминации, в первую очередь баптизм, отступают, зато наступает пуританство (кальвинизм) в его современных разновидностях, объединяемых общим понятием неокальвинизма. А он уже порождает иной тип консерватизма.

Назад в будущее

История и почва мало что значат в кальвинизме — и таково же отношение к ним у неокальвинистов. Говоря точнее, история утрачивает для них свою значимость там, где заканчивает свое повествование Библия. Вот библейская история сохраняет в их представлении неизменную актуальность. По-прежнему для них «царь Давид играет на лире во Псалтири». И события, происходящие на глазах, они склонны видеть сквозь стекло библейских образов; в частности и даже в особенности ветхозаветной части.

Насколько библейские образы овладели воображением даже «простых людей» Америки, мы узнавали, например, из произведений Шервуда Андерсона и Уильяма Фолкнера. Конечно, за последние полвека библейским образам в этом плане пришлось потесниться, но не так уж радикально.

Гюстав Доре не был кальвинистом, даже католиком он был, кажется, не слишком правоверным, но его знаменитые иллюстрации к Библии пришлись по вкусу американцам. У Доре, напомним, библейские персонажи — мужи внушительных пропорций, в сравнении с которыми все позднейшее человечество выглядит «мелкотой», обреченной повторять своих далеких предшественников.

Но послебиблейская история — не череда случайных событий, не обязательных «с высшей точки зрения»; в ней совершается развертывание изначально заданных человечеству смыслов. В ней продолжается и священная история, иначе говоря, история вмешательства Бога в человеческую жизнь. Самый феномен неокальвинизма, называемый также «кальвинистским возрождением», ставший для многих «великим сюрпризом» (Ирвинг Кристол) и обещанием каких-то новых сюрпризов, порожден всем ходом непосредственно предшествовавших ему событий.

Как представляется, основная его причина — деградация человека, ставшая очевидной даже с бытовой точки зрения. Мы можем судить об этом по американским фильмам: традиционная для американцев доверчивость к другому, приветливость хоть и не исчезли совсем, но все больше вытесняются настороженностью; другой, даже если у него располагающая, казалось бы, внешность, может оказаться кем угодно — насильником, душегубом, в общем, человеком, по которому, как принято говорить, петля плачет. «Почему это происходит?» — вопрос, который давно уже повис в воздухе.

Прот. Александр Шмеман, много лет живший в Америке, писал: «Неверно говорить: американец „не глубок“. Он так же глубок, как и все люди (см. эпиграф к настоящей статье — Ю. К.), только в отличие от других, *он не хочет* глубины, боится и ненавидит ее»²¹. Но приходит время, когда избегать глубины уже не удастся, о чем свидетельствует, в частности, творчество Фланнери О'Коннор. Эта хрупкая и веселая женщина из Джорджии, к сожалению, очень рано умершая, заглянула в души соотечественников едва ли не глубже самого Фолкнера. Ревностная католичка, живущая в протестантской (посткальвинистской, можно так ее назвать) среде²², она прочувствовала все ее переднее и заднее мышлечувствие и вынесла свой вердикт: человек безобразен и жесток. Но жестокость человека, с ее точки зрения, предусмотрена планами Бога. Который и Сам жесток²³. А это уже близко кальвинизму, тому, каким он был изначально и каким он возрождается сегодня.

И вправду откровение Бога может быть отрицательным, угрожающим, писал о. Сергей Булгаков. Оно становится таким по мере того, как человек отдаляется от Него или создает о Нем «удобное» для себя представление. В последние десятилетия такое представление создавали себе американцы, формально принадлежавшие к различным деноминациям, в том числе и производным от кальвинизма (пресвитериане, реформаты, конгрегационалисты и др.): снисходительный, «ласковый» Бог поощряет земные утехы и не взыскивает строго с беспутного, о котором еще Мильтон писал, что он «...в себе / Обрел свое пространство и создать / В себе из Рая — Ад и Рай из Ада / Может».

Неокальвинисты выбросили лозунг «Назад к Кальвину», что подразумевает прежде всего прочего возвращение к изначально свойственному этой конфессии представлению о Боге как о Судии не просто суровом, но и жестоком.

²¹ Прот. Александр Шмеман. Дневники. 1973 — 1983. М., «Русский путь», 2005, стр. 243.

²² По выражению одного авторитетного богослова, американское протестантство последних двух — двух с половиной столетий — это по преимуществу «экспериментальный кальвинизм». Сам Кальвин, охарактеризовавший свою церковь как *semper reformata* (постоянно реформируемая), благословил грядущие эксперименты.

²³ В одном из писем О'Коннор сетует, что черепа людей настолько тверды, что иногда бывает полезно пробить их физически, чтобы души могли приобщиться благодати. Иллюстрацией к этой мысли может служить ее рассказ «Хорошего человека найти нелегко». Там старая женщина умоляет бандита не убивать ее, но, когда непреклонный бандит всаживает в нее три пули, ей в тот же миг открывается Истина, и она умирает, «улыбаясь безоблачному небу».

Журнал «Christian Science Monitor» писал в редакционной статье (в номере от 27.03.2010), что сейчас наблюдается «первая фаза обратного хода от господствующего религиозного тренда»: христианство в версии неокальвинизма «предлагает себя обществу в качестве скорой помощи». Обратный ход ведет к другой крайности: человек — уже не баловень высших сил, но гадкое насекомое, зависшее над бездной ада (образ кальвинистского теолога XVIII века Джонатана Эдвардса).

Опасную диалектику «американского духа» угадал Джон Апдайк в одном из последних своих романов «В лилейном цветку» («In the Beauty of the Lilies»). Здесь прослежена история пресвитерианского пастора, жившего в начале XX века, и трех поколений его потомков. Завязкой служит драма пастора, утратившего веру... в кинозале, где можно посмотреть будоражащие воображение фильмы, такие как «Плоть и дьявол» с Гретой Гарбо. Развязка, в конце того же века, выпадает на долю его правнука, которого тот же кинозал побуждает вступить в человеконенавистническую «христианскую» секту, ставящую своей целью приблизить конец света.

Апдайк нарисовал крайний вариант обозначившейся «сюжетной линии». Неокальвинисты акцентируют тему конца света (о чем ниже), но отнюдь не хотят его приблизить, напротив. Журнал «Time» (в номере от 12.03.2009), стоящий «над схватками» идеологического характера, назвал неокальвинизм в числе трех идей, в наибольшей степени способных «обновить мир».

Оппозиция церковь — кинозал и шире: религия — культура находятся в фокусе внимания кальвинистских теологов. Принято думать, что кальвинизм с самого своего возникновения был враждебен культуре. Это не совсем так. Заметим, что во времена Кальвина многие люди культуры сами тянулись к кальвинизму. Так, «галантный» поэт Клеман Маро, став одним из самых стойких приверженцев «женевского папы», продолжал писать стихи, хотя и несколько иного свойства. А королева-поэтесса Маргарита Наваррская (не путать с «королевой Марго» Дюма), приютившая у себя Кальвина, когда тот подвергся преследованиям, сама подсказывала ему некоторые теологические решения. Вообще примечательно, что в XVI веке кальвинизм бурно распространился прежде всего в среде европейской аристократии, то есть самого культурного, какой тогда был, слоя.

Сам Кальвин ценил литературу, читал не только Цицерона, но и Апулея и даже сам писал стихи на латинском языке. Вот музыка вызывала у него настороженность; хотя ему нравились мотеты Палестрины. Отторжение вызывали у него визуальные искусства, и не только в пространстве церкви, но и за его пределами (в этом, как и в некоторых других аспектах, кальвинизм близок исламу). Неокальвинизм сохраняет унаследованный от основоположника перевес вербального и церебрального, что создает для него определенные преткновения в современном мире, где вниманием человека до такой степени завладели визуальные искусства и музыка (в данном случае не важно, идет ли речь о подлинном искусстве или шукарстве).

Писательница (лауреат Пулитцеровской премии) и неокальвинистский теолог Мэрилин Робинсон, отстаивая место теологии в духовной жизни, указывает на ее эстетические достоинства. По ее словам, христианская теология являет собою «блестящее концептуальное оформление западной религиозной страсти, заслуживающее сравнения с любым искусством, порожденным тем же импульсом»²⁴. Со своей стороны Господь, по ее мнению, наблюдая за поведением людей, оценивает его также и с эстетической точки зрения — подобно тому, как это делает зритель в театре, глядя на игру актеров. Так же, утверждает Робинсон, мыслил и Кальвин, а преследования некоторых искусств, связываемые с его именем, были доведены до крайностей теми, кто хотел быть «большим кальвинистом, чем сам Кальвин».

Неокальвинисты не поворачиваются спиной к современной культуре Америки, но ставят целью направить ее в приемлемое для них русло.

²⁴ Robinson M. The Death of Adam. Essays on Modern Thought <<http://nema1oknig.info/read-293282/?page=22>>.

В свое время А. Тойнби писал: будущее Америки — «бунт против Мэдисон-авеню». Центр рекламной индустрии в Нью-Йорке в данном случае послужил метонимией массовой культуры. Но более точной метонимией здесь служит Голливуд. Для неокальвинистов Голливуд — враг номер один: здесь окопались безобразники, которые «поработились нечисти». Подобные обвинения достаточно основательны. Нельзя отрицать того, что в Голливуде выходят и неплохие фильмы, но их очень немного; случаются и шедевры, но это исключения, становящиеся все более редкими. В подавляющем своем числе голливудские фильмы или стремятся принести зрителю «удовольствие от шекотания», как сказал бы Платон, или разбереживают в нем низшие эмоции, во множестве случаев опускаясь до демонстрации скотского бесстыдства и дьявольской кровожадности. Главным образом отсюда, считают неокальвинисты, распространяются миазмы, отравляющие национальный организм.

Перестройка киноиндустрии, если до нее дойдет дело, станет вещью чрезвычайно сложной. Зритель приобрел вкус к острой пище, к жгучим приправам, «огненным» смесям, как они называются в кулинарии. За пиришественным столом «гасить огонь» можно, как известно, молоком. На «пиру культуры» есть подобное сильноедействующее средство — это ислам (молоко считается его символом), но он уместен в стороне, за ним «закрепленной». В другой стороне (христианской или бывшей христианской) надо изыскивать какую-то свою ухищренную духовную силу.

Некоторые из неокальвинистских теологов (Тимоти Келлер, Марк Дрисколл) могут удивить тем, что приемлют рок-музыку и даже включают некоторые ее элементы в состав богослужения. Но они дают этому своеобразное объяснение. Ритмы рока, говорят они, заданы вышними силами, ибо свидетельствуют о приближении конца света. Экстазы, которые они вызывают, должны быть осмыслены не как иступленное проявление «радости жизни», но как предчувствие близящейся гибели несправедного мира. Наверное, это тем легче сделать, что экстазы дионисийского типа во все времена заключали в себе нечто «гибельное».

Сама по себе апокалиптическая тема требует внимания; особенно если учесть, в какой степени заражена соответствующими настроениями молодежь. Тот же Голливуд, отвечая этим настроениям, поставил на поток производство «апокалиптических» фильмов, решая драматическую тему преимущественно в развлекательном ключе; таково уж связавшее его проклятие: все, к чему он прикасается, превращается в развлечение. И то, что показывают на экране, в большинстве случаев можно назвать «Апокалипсисом» лишь в кавычках, ибо дело идет о «конце света», вызванном какими-то материальными или магическими причинами, более или менее случайными. Поскольку на секулярный взгляд внезапно наступающая гибель всего земного — апофеоз бессмысленности человеческого существования, то естественно, что подобные фильмы, развлекая, в то же время вспыскивают зрителю толику отчаяния, которая затаивается где-то в глубинах сознания; а что горстка героев что-то там предотвращает или хотя бы спасается сама, то такой поворот сюжета не может восприниматься иначе, как сказочный.

Заметим, что тема Апокалипсиса — трудная даже для богословов, которые обычно ее сторонятся. Но коль скоро она овладела сегодня умами, надо составить о ней представление, адекватное, поскольку это нам доступно, Св. Писанию. Есть некоторое противоречие (на что указывал, в частности, прот. Георгий Флоровский) между «Откровением» и всей остальной частью Нового Завета, включая и четвертое Евангелие (большинство исследователей считает, что автор «Откровения» и автор четвертого Евангелия — одно и то же лицо, ап. Иоанн Богослов). В Евангелиях Христос — «кроток и смирен сердцем», проповедь Его — как «тихий ветер», а в «Откровении» голос Его звучит как «шум вод многих». Это как приближение к водопаду. Церковь выступает здесь как воинствующая, в молниях и громах возвещающая о конце времен. Все выдержано в динамике тугги-фортиссимо, как это называется в музыке.

Неокальвинистские богословы нередко излишне педалируют тему конца света, а их толкования «Откровения» во многих случаях представляются буквалистскими и потому безвкусными. «Откровение» написано на символическом языке, и его нельзя переводить на язык несимволический. И следует избегать всяких спекуляций относительно сроков конца. Известно, что «конец близок» — не хронологически, а сущностно; хронологически же он может быть еще далек.

Но и надо отдать должное неокальвинистам: они жестко напоминают о том, что история открывается в эсхатологию, что человечество ждет конец, который исполнен смысла, более того — что он есть средоточие всех смыслов. Это первое, чем примечателен неокальвинизм.

Второе — это его попытка (пока только попытка) перейти в наступление на «фронте» культуры. Кальвинизм, с приставкой «нео» или без, — суженное христианство, не способное удержать его полноту, но в таком виде он, как показывает история, обладает большой пробивной силой (мы знаем об этом из работ Макса Вебера и не только). Следить за тем, как будет развиваться этот новый Kulturkampf, чрезвычайно интересно и для нас важно.

Третье — это нацеленность к нравственному обновлению общества. Что, понятное дело, и в наших палестинах большой вопрос. Не так давно известный социолог (ныне уже покойный) И. В. Бестужев-Лада выступил со статьей «Неопуританство — спасение гибнущего человечества?»²⁵, в которой писал: вырождение нашего народа идет по нарастающей, поэтому нам необходимо «качественно новое духовное движение, сходное с тем, какое создали пуританские отцы-пилигримы». Я надеюсь, что почтенный социолог все же не хотел сказать, что надо «заменить» православие кальвинизмом; если же он имел в виду неизбежность религиозного устроения жизни, то тут, я полагаю, трудно ему что-либо возразить.

Постскриптум

Явление Дональда Трампа сразу напомнило мне о другом президенте — Эндрю Джексоне, занимавшем Белый дом с 1829 по 1837 год. Сам Трамп не замедлил подтвердить свое с ним сходство, распорядившись повесить портрет Джексона у себя в овальном кабинете и вскоре после того посетив место его захоронения в штате Теннесси. Попробуем понять, в чем состоит их сходство и где оно кончается.

«Джексоновская революция», как ее называют историки, по сути своей была выступлением «простых людей» — фермеров и лесорубов стремительно расширявшегося Запада — против виргинских джентльменов, правивших страной в продолжение первого полувека ее существования. Такие ее стилистические завоевания, как похлопывания малознакомых людей друг друга по плечу и обращение по имени всех ко всем, сохранились до сих пор.

«Трампиетская революция», как ее окрестили (которая, наверное, будет продолжаться и без Трампа, слишком импульсивного и, возможно, готового отказаться от своей предвыборной программы — впрочем, это касается только внешнеполитической ее части), тоже опирается на «простых людей» и тоже направлена против элиты, точнее, той ее части, которая до сих пор задавала тон. И которая виргинских джентльменов былых времен за своих уже не признает.

Пребывание Трампа у власти вызвало у нас и продолжает вызывать поток комментариев — в аспекте политики и экономики; главные темы здесь: НАТО, Ближний Восток, санкции. Но в аспекте внутренней жизни Соединенных Штатов «трампиетская революция» означает прежде всего прочего резкое обострение «культурных войн» (culture wars, что точнее перевести как «войны в поле культуры»), что неминуемо отзовется и у нас.

Публицист Мэтью Континетти в «National Review» так передает суть противостояния: Main Street (Главная улица) выступила против Wall Street.

²⁵ Бестужев-Лада Игорь. Неопуританство — спасение гибнущего человечества? <<http://old.nasledie.ru/persstr/persona/bestush/article.php?art=57>>.

Действительно, глобалистский финансовый капитал — в числе основных противников Трампа (а промышленный капитал скорее за него), но в этом числе также и большинство университетов, и Голливуд (за небольшим исключением), и мейнстримовские media. И культурные аспекты противостояния не менее или даже более важны, чем политико-экономические.

Что такое сегодня «простые люди»? Вообще-то это понятие, мерцающее различными смыслами, но в противопоставлении оторвавшимся от «почвы» элитам это люди более или менее традиционного склада, сохраняющие преемственность поколений и навыки общественной жизни и потому не считающие ненужными пережитками нравственные и эстетические представления, доставшиеся им по наследству. Здесь устали наблюдать (по телевизору или наяву) парады всевозможных психопатов, не понимают, зачем нужно объяснять восьмилетним детям «технику безопасного секса», и считают по меньшей мере диковинной пропаганду открытых нужников и общих душевых.

Два фильма, которые мне довелось посмотреть, позволяют заглянуть внутрь этого мира. Вот чудесная «Простая история» (2000), неожиданная не только для Голливуда вообще, но и для самого ее создателя, Дэвида Линча, знаменитого как раз запутанными историями («Твин Пикс», «Малхолланд-драйв»). Старик по фамилии Стрейт (Straight, что может быть переведено и как «Простой», и как «Правильный»), по причине слабого зрения лишенный водительских прав, путешествует на газонокосилке (!), и его неторопливый вояж становится сюжетной нитью, на которую нанизываются встречи с самыми разными людьми. Линч постарался уберечь старика, а с ним и зрителя, от неприятных встреч, почти неизбежных сегодня на дорогах Америки, все, кто появляется на экране, мало чем отличаются от тех, кого можно было встретить на дорогах, скажем, в 50-е годы, когда симпатические связи между людьми были не в пример устойчивее. Но это все-таки современная Америка. Стало быть, есть и такая. Кстати, фильм отдаленно напоминает мне чеховскую «Степь».

Фильм «Главная улица» (2010) Джона Дойла будто бросает вызов одноименному роману Синклера Льюиса (1920), повествующему о душной атмосфере типичного провинциального смолтауна; название его стало метафорой американского мещанства. Но то ли времена изменились, то ли Главная улица — другая, так или иначе, изображенный в фильме городок в штате Джорджия представляет собою совсем иную картину; даром что он переживает тяжелые времена. Здесь как раз легко дышится: люди приветливы, доброжелательны без слащавости, глубоко порядочны и внимательны к ближним; по крайней мере именно такие люди оказываются в фокусе внимания. *Такая* Главная улица, протянувшаяся через всю Америку, противостоит сегодня цыганщине в различных ее проявлениях, поднятой до уровня национальной политики и растворяющей традиционный «американизм» в мировом бульоне.

Заметим, что те, кого называют чернью, выступают преимущественно на стороне демократов.

Фигура Трампа явилась катализатором, ускорившим разделение общества на два враждебных лагеря. На одной стороне оказались левые всех цветов и оттенков, на другой — консерваторы разных толков и сужающийся круг традиционных либералов; отступавшие все последние десятилетия, они теперь перешли в наступление. Накал противоборства таков, какого страна не знала со времен Гражданской войны. Неистовствует мейнстримовская пресса, продолжающая кампанию под девизом «Не наш президент». Ожидаемо взбунтовались университеты, чему положил почин калифорнийский Стэнфорд; это на его лужайках весной 1967-го появились первые «дети цветов», и сегодня Стэнфорд остается в авангарде борьбы со «старым миром». То ли еще будет, когда новый министр образования Элизабет Де Во (неокальвинистка) начнет осуществлять свой план — «приблизить Царство Божие посредством образования».

Истерику закатили куртизаны и куртизанки Голливуда; хотя нашлись здесь и такие, кто благословил нового президента, — это тень великого Джона Уэйна в лице его дочери, живой пока Клинт Иствуд и только-только заслуживший звезду на «Аллее славы» Мэтью Макконахи, и не они одни.

Но если более или менее понятно, *против чего* выступают сторонники Трампа, остается не до конца ясным, *за что* они выступают. Чаще всего они говорят о «революции здравого смысла», а Стивен Бэннон, изначальный вдохновитель нового президента, сформулировал их задачу как «возвращение к нормальному». Нормальными же они считают в большинстве случаев 50-е годы.

Но здравый смысл может считаться компетентным лишь в относительно узком диапазоне жизненных вопросов; «боги азбучных истин» (Киплинг) пасуют в тех диапазонах, где вступают в силу более или менее сложные идеологические построения. А «нормальное» — понятие относительное. В Соединенных Штатах 50-е годы могут считаться нормальными в сравнении с нынешним временем, когда хаос лезет во все щели. У нас, кстати говоря, именно в 50-е годы, точнее, во второй их половине определенная часть молодежи (включавшая и автора этих строк) увлеченно открывала для себя современную Америку — через посредство Джерома Сэлинджера и Джона Чивера, Сиднея Люмета и Уильяма Уайлера, Дюка Эллингтона и Элвиса Пресли и через многое, многое другое.

Можно, вероятно, расценить 50-е годы в Америке как период удачного гомеостаза, относительной устойчивости национальной жизни и более или менее успешного ее развития. Заметим, однако, что проведенные Фланнери О'Коннор «замеры черепов» приходятся как раз на 50-е годы, и чем были неутешительные заключения, к которым она пришла, — проявлением ее религиозного максимализма или предчувствием взрывных перемен, которые принесли 60-е годы, завершившиеся событием «детей цветов», поначалу вызвавших даже умиление?

И потом, невозможно просто «сыграть назад»; чтобы развернуть страну в желательном направлении, сторонники «трампиетской революции» должны «довести до ума» интуиции, коими они до сих пор руководствовались, иначе говоря, оформить их идеологически. В их распоряжении — накопленный «ресурс» консервативных идеологий. Я попытался обрисовать каждую из них, стараясь подчеркнуть, чем они отличаются друг от друга. Но в реальности между ними нет непреходимых границ. К примеру, среди неоконсерваторов есть такие, кто симпатизирует христианским фундаменталистам. А совсем недавно Уильям Кристал, будто позабыв о принципиальном для неоконсерваторов отказе от ностальгии, вдруг заявил, что южане времен Конфедерации были «настоящие американцы», а генерал Ли — «великий американский герой».

Существует в поле консерватизма некое *глицсандо*, если воспользоваться музыкальным термином, — скольжение от одних идей к другим, соседним. А если прибегнуть к научным терминам: идеи, родившиеся в консервативных умах, распространяясь в обществе, подвергаются интерференции и рефракции. Во что это выльется, увидим уже в ближайшие годы.



ОЛЕГ ЛЕКМАНОВ, МИХАИЛ СВЕРДЛОВ



ДЛЯ КОГО УМЕРЛА ВАЛЕНТИНА?

О стихотворении Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки»

Это длинное стихотворение, написанное в апреле — августе 1932 года, неоднократно попадало в поле зрения критиков и литературоведов. Интерпретаторы советского времени ожидаемо видели в «Смерти пионерки» гимн «победе нового над старым»¹, в центре которого — «романтический образ бессмертной юности»². В постсоветскую эпоху прежняя интерпретация была не отменена, а лишь дополнена серией наблюдений разных исследователей, бивших в одну точку. Те, кто теперь писали о стихотворении, стремились показать, что Багрицкий в «Смерти пионерки» просто заменил прежнюю христианскую идеологию на новую советскую и создал своеобразное житие пионерки-атеистки.

Так, Т. В. Артемьева сопоставляет «Смерть пионерки» со стихотворением «Умиряющее дитя» (1810) А. С. Шишкова: «<и> в том и в другом» произведениях «умирающая девочка совершает некий Сакральный Жест, посрамляя этим недостаточную убежденность взрослых: „пионерка Валя” отвергает крест и отдает пионерский салют, а „малютка Лиза” совершает крестное знамение, упрекая мать в несовершенной вере. „Революционный” поэт Багрицкий и „консервативный”, даже „реакционный” (в оценках своих современников) Шишков создают совершенно идентичные образы»³. Поэт Сергей Стратановский определяет стихотворение Багрицкого как «произведение о смысле смерти»⁴: «Валя даже ради матери не может изменить тому, во что она поверила. Она верующая; другое дело, что вера ее — *темная*»⁵. А Елена Михайлик прямо называет «Смерть пионерки» «житием» и пересказывает стихотворение следующим образом: «Благочестивой девице предлагают жизнь ценой отречения от веры,

Лекманов Олег Андершанович — филолог, литературовед. Родился в 1967 году в Москве. Окончил Московский педагогический университет. Доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ. Автор многочисленных статей и монографий. Живет в Москве. Постоянный автор «Нового мира».

Свердлов Михаил Игоревич — филолог, литературовед. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский педагогический университет. Кандидат филологических наук, доцент НИУ ВШЭ. Автор многочисленных литературоведческих публикаций, автор книги «Сергей Есенин. Биография» (в соавторстве с Олегом Лекмановым) (2011). Живет в Москве.

Авторы статьи сердечно благодарят Р. Г. Лейбова за возможность прочитать его неопубликованную работу о «Смерти пионерки».

¹ Максимов В. Литературное Кунцево. — «Сталинское слово», 1954, 28 февраля.

² Коваленко С. Предисловие. — В кн.: Багрицкий Э. Стихотворения и поэмы. Сост. Е. П. Любаревой и С. А. Коваленко; подготовка текста и прим. С. А. Коваленко. М. — Л., «Советский писатель», 1964, стр. 44.

³ Артемьева Т. Загадка русской души, или Нужна ли нам вечная игла для примуса? — «Фигуры Танатоса, Искусство умирания». Вып. 4. СПб., Издательство СПбГУ, 1998, стр. 71.

⁴ Стратановский С. Возвращаясь к Багрицкому. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2007, № 2, стр. 203.

⁵ Там же.

но она, укрепленная небесным видением, отвергает вражьи козни и умирает в истине, становясь частью воинства небесного»⁶.

Парадоксальным образом никто из интерпретаторов стихотворения не обращает внимания на чрезвычайно сильный прием, использованный автором, а именно, на демонстративное отсутствие героической мотивировки Валиной смерти.

Странность авторской позиции в «Смерти пионерки» бросается в глаза при сопоставлении этого стихотворения с еще одним известным поэтическим произведением Багрицкого, его «Разговором с комсомольцем Н. Дементьевым» (1927). Здесь описывается гипотетическая гибель Багрицкого и Дементьева на будущей войне и, как и в «Смерти пионерки», возникает зловещий образ падальщика-вóрона. Однако гибнут героини «Разговора» в бою с врагом («Я — военспецом, / Военкомом — вы...», — обращается Багрицкий к Дементьеву), тогда как девочка (!) Валя в мирное время (!) умирает от скарлатины (!) в больнице⁷.

Еще яснее отсутствие героической мотивировки в «Смерти пионерки» выявляется при его кратком сопоставлении с другим знаменитым советским произведением начала 1930-х годов, в центр которого помещен гибнущий ребенок. Мы говорим о «Сказке про военную тайну, Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» Аркадия Гайдара, вышедшей как отдельным изданием, так и в составе повести «Военная тайна». К обдумыванию этой повести Гайдар приступил в том самом августе 1932 года, которым датировано окончание работы над «Смертью пионерки». Целый ряд мотивов сказки знаменательно перекликается с соответствующими мотивами стихотворения Багрицкого.

И там, и там действия идеологически выдержанных «отрядов» сравниваются с грозой и молнией. В «Смерти пионерки» надвигающаяся на больницу буря уподобляется отрядам пионеров — союзников и соратников девочки. У Гайдара — зеркально по отношению к «Смерти пионерки» — отряды красноармейцев, спешащие на помощь мальчику, уподобляются буре: «...видели ли вы, ребята, бурю? Вот так же, как громы, загремели и боевые орудия. Так же, как молнии, засверкали огненные взрывы. Так же, как ветры, ворвались конные отряды, и так же, как тучи, пронеслись красные знамена».

И у Багрицкого в «Смерти пионерки», и у Гайдара в «Мальчише-Кибальчише» в финале смерть маленького героя сочетается с мотивом прохождения отряда пионеров и пионерского салюта.

Тем сильнее в глаза бросается решающая разница между двумя произведениями. У Гайдара Мальчиш-Кибальчиш, командующий армией мальчишей-малышей, вступает с войском Главного Буржуина в прямую конфронтацию, в бой, как Багрицкий и Дементьев в «Разговоре». Кибальчиша захватывают в плен, пытаются убивают, а потом Красная армия за него мстит. Ничего подобного в «Смерти пионерки» нет: умирающая девочка лишена возможности не только совершить героический поступок, но и вообще участвовать в той жизни, что кипит за пределами больничной палаты. Однако ее смерть почему-то этой жизни нужна, и какие-то силы призывают ее умереть. *Так зачем же умирает пионерка Валя, для кого — кто добивается ее смерти как жертвы?*

Чтобы ответить на эти вопросы, стоит вчитаться в текст. В начале стихотворения, в трех его первых строфах, разворачивается мотив бессильного сочувствия: ни «умные врачи», ни «плачущая мать» девочке уже не помогут. С каждой строкой зачина мотив тревоги и сострадания («Валя, Валентина, / Что с тобой теперь?»; «Гладят бедный ежик / Стриженных волос») все более и более выхолащивается: в нем нет ни надежды, ни помощи, ни смысла. На три отчаянных анафорических «почему?» — ответа нет:

⁶ Михайлик Е. Карась глазами рыбоведа. — «Новое литературное обозрение», 2007, № 87, стр. 106.

⁷ Как известно, обращение к мотиву смерти от болезни связано с жизненной ситуацией самого Багрицкого, с его тяжелой астмой и туберкулезом. См. стихотворение «ТВС» (1929), в котором призыв умершего от туберкулеза Дзержинского вызывает к поэту: «Да будет почетной участь твоя — / Умри побеждая, как умер я».

Воздух воспаленный,
 Черная трава.
 Почему от зноя
 Ноет голова?
 Почему теснится
 В подъязычье стон?
 Почему ресницы
 Обдувает сон?

Вместо ответов на эти вопросы в четвертой строфе завязан конфликт, который в дальнейшем будет разворачиваться у одра и в сознании пионерки. Сталкиваются две силы: в больничной палате это мать с «постылыми словами» старого мира; за окном — стихия нового мира, грезящаяся девочке в грозовых тучах. Затверженное и привычное затухает в сетованиях и увещеваниях матери — в дошедшей до бормотанья крестьянской заплачке с едва различимым эхом некрасовского трехстопного хоря («„Кушай тюрю, Яша! / Молочка-то нет!“ / — „Где ж коровка наша?“ / — „Увели, мой свет“»)⁸. Так допеваётся, сходит на нет уже потерявшая надрывную силу «допотопная» песня о «долюшке». Однако старый мир все же пытается навязать умирающей былые ценности, одурманивая ее бубнящей хорейской скороговоркой, навязчивыми градациями и повторами. И если голос рода срывается в отчаянные, бессмысленные причитания («...Чтоб было приданое, / Крепкое, недраное, / Чтоб фата к лицу — / Как пойдешь к венцу!»), то вкрадчивый голос веры еще тянет к себе девочку, подсовывает ей крест как последний смысл:

Не противься ж, Валенька!
 Он тебя не съест,
 Золоченый, маленький,
 Твой крестильный крест.

Антитеза этим уговорам — миф, врывающийся в больничное окно с грозой и громом в пятой — седьмой строфах стихотворения. Стоит матери только упомянуть о кресте, как девочке является небесное воинство — но не христианское (как в интерпретации некоторых из поздних истолкователей), а несомненно языческое. Поразительно мотивированное предсмертным бредом девочки неразличение небесной стихии и земного порядка: если, например, в гайдаровской сказке про Мальчиша-Кибальчиша параллелизм «воинская масса — буря» последовательно связан повторяющимися союзами («вот так же, как... так же»), то в восьми «грозовых» строфах затерялись всего лишь две сравнительных связки. В седьмой строфе речь еще идет о тучах и ливнях:

От морей ревучих
 Пасмурной страны
 Наплывают тучи,
 Ливнями полны.

В восьмой — девятой строфах обычные сравнения (с соответствующими союзами «как» и «словно») уже вытесняются метафорически слитной образной массой. Пионерские ряды видятся не вдали, но вверху, а эпитет «густой» переброшен от привычных «туч» к «отрядам»:

Над больничным садом,
 Вытянувшись в ряд,
 За густым отрядом
 Двигается отряд.
 Молнии, как галстуки,
 По ветру летят.

⁸ О семантическом ореоле трехстопного хоря в «Смерти пионерки» (без указания на «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова) см.: Ронен О. ХЗ ДМДМ. — В кн.: Ронен О. Шрам. Вторая книга из города Энн. СПб., Издательство журнала «Звезда», 2007, стр. 106 — 123.

В дождевом сиянье
Облачных слоев
Словно очертанье
Тысячи голов.

Наконец в десятой — двенадцатой строфах сравнительные союзы и вовсе исчезают; «пионерское» и «небесно-грозовое» больше не уподобляются друг другу, а сливаются («...Блузы из сатина / В синьке грозовой»), параллелизм отброшен, метафора реализована. В небе теперь не тучи движутся, а пионерские отряды, мощь неба окончательно присвоена пионерией:

Рухнула плотина —
И выходят в бой
Блузы из сатина
В синьке грозовой.

Трубы. Трубы. Трубы.
Подымают вой.

Над больничным садом,
Над водой озер,
Двигутся отряды
На вечерний сбор.

Заслоняют свет они
(Даль черным-черна),
Пионеры Кунцева,
Пионеры Сетуни,
Пионеры фабрики Ногина⁹.

Так возникает впечатление, что пионерское воинство наступает не как буревая стихия — в видении девочки оно и есть буревая стихия. Энергия «тысячи» пионеров, слитых в единую силу, соприродна энергии грозы, имеет тот же источник и тот же ресурс. Нарастание этой энергии ощущается в нагнетании поэтических средств. Так, стих «Над больничным садом», начинающий восьмую строфу, подхватывается через пятнадцать строк — в зачине одиннадцатой, а в предшествующей ей, десятой строфе трижды повторяется существительное «трубы». Кульминацией всего периода становится его завершающая строфа — с форсированием анафор, дактилических клаузул и патетическим прорывом за пределы четырехстопного хорей, требующим скандирования последнего слова: «Но-ги-на».

От строфы к строфе «грозовой» части все сильнее интонационный нажим: маршевый ритм становится экстагическим, описание переходит в подобие заклинания. Это особенно странно ввиду невозможности чуда: каким бы мощным ни был порыв небесной пионерии, scarлатину уже не отвратить и девочку не спасти. Если пионеры-тучи движутся не только на общий «вечерний сбор», но и «выходят в бой», тем более остается непонятным, какое отношение этот «бой» за окном имеет к происходящему в больничной палате.

Но ведь именно рядом с умирающей сосредоточена враждебная пионерскому воинству сила. Обратим внимание: повторы строк «Над больничным садом...» симметричны рефрену из монологов матери: «Не противься ж, Валенька, / Он тебя не съест, / Золоченый, маленький, / Твой крестильный крест». Симметрия не случайна: «громовому» заклинанию противостоит скорбное моление, обновляющему волшебству — старый ритуал. В слабых материнских руках и «скудных словах» — сила таинства, еще не побежденная, умноженная упоминанием об интимной, личной вещи девочки, символически хранящей тепло ее тела, — «крестильном кресте» Вали. Значит, бой ведется здесь и сейчас — между новым язычеством и христианством, магией пионерских перунов

⁹ О пионерском движении и его осмыслении в литературе 1920-х — 1930-х годов см.: Келли К. Товарищ Павлик: взлет и падение советского мальчика-героя. М., «Новое литературное обозрение», 2009.

и магией креста. Мать силой креста пытается спасти душу девочки — грозовая пионерия бьется за что-то другое.

К пятнадцатой строфе исход борьбы еще не решен. Настойчивый голос веры еще может переломить ситуацию: девочка слишком слаба, мать слишком близка; молнии-галстуки сверкают где-то там, за окном, а крест протягивается девочке здесь, в больничной палате. И тогда настает время третьей силы — магического, страшного резерва: в решающий момент, перед самой смертью девочки, на помощь небесным отрядам приходят отряды из-под земли. Так соединяются две части магического действия: энергия жизни сходится с энергией смерти; три стихии (воздуха, воды и огня) — с могильным прахом, верх — с inferнальным низом, будущее — с жертвами прошлого.

С каждой строфой этого второго «видения», от пятнадцатой до двадцать первой, нарастает ощущение необычности поэтического сюжета, вплоть до оторопи и шока. Образы пятнадцатой — шестнадцатой строфы еще могут быть восприняты в духе привычной красноармейской героики:

Пусть звучат постылые,
Скудные слова —
Не погибла молодость,
Молодость жива!

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Казалось бы, Багрицкий играет теми же мотивами, что и военная поэзия двадцатых годов — «голосом коллективной памяти» («мы», «нас») и «волей персонифицированной молодости», с соответствующими параллелизмами и повторами. Так, зов молодости, ведущий в бой, раздаётся у Владимира Луговского («Рассвет», 1926 — 1928: «Ты ли, юность, позвала, / Ты ли полюбила / Вспененные удила, / Боевую силу?»). А хор героического воспоминания звучит, например, уже в названии стихотворения Александра Прокофьева — «Мы» («Огонь, и воду, и медные трубы каждый из нас прошел», 1930). Это местоимение скрепляет анафорой, скажем, «Игру» Михаила Светлова («Мы играли железом, / Мы кровью играли») и «Разговор по душам» того же Прокофьева (1930):

Нам крышей служило небо, как ворон, летела мгла,
Мы пили такую воду, которая камень жгла.
Мы шли от предгорий к морю — нам вся страна отдана,
Мы ели сухую воблу, какой не ел сатана!

Столь же характерна для двадцатых и отсылка к кровавому подавлению кронштадтского мятежа 1921 года как пределу героического самопожертвования. Одним только упоминанием Кронштадта Багрицкий одновременно задевает несколько устойчивых мотивов. Среди них — «ужасы войны», как в стихотворении Алексея Крайского «Кронштадт (рассказ курсанта)» (1927): «Заколыхался, зашатался лед. / Что было? — Тьма, вода и брызги / Снарядов рвущихся в клочки, / И клочья человеческого мяса, / И горы трупов подо льдом, и крик». Или — «закал воинского братства», как у Маяковского в стихотворении «Который из них?» (1929): «Товарищами / были они / по крови, / а не по штатам. / Под рванью шинели / прикончивши дни, / бурчали / вдвоем / животом одним / и дрались / вдвоем / под Кронштадтом».

Однако уже в семнадцатой строфе «Пионерки» знакомые вроде бы мотивы доходят до небывалого прежде парадокса:

Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.

Мало того что с этой строфы мы осознаем, кем произносятся торжественные слова о молодости, — хором мертвецов. Подобным ходом поэт только заостряет уже опробованный в двадцатые годы образ «живого героя-мертвеца» — взять хотя бы «Песню» Светлова («Простреленным сердцем / Котовский стучит», 1927) или знаменитую балладу Николая Тихонова «Мы разучились нищим подавать...» («Пересчитай людей моей земли — / И сколько мертвых встанет в переключке», 1921)¹⁰. Но если соединить две идеи: с одной стороны, молодость ведет на смерть («Нас бросала молодость / На кронштадтский лед»; «На широкой площади / Убивали нас»); с другой стороны, молодость не умирает («Не погибла молодость, / Молодость жива!»), то получается, что «молодость жива» именно благодаря гибели молодых, жива их смертью. Уже здесь очевидно, что Багрицкий пошел в развитии героической темы дальше современников — в сумеречную область, в загадочное.

В восемнадцатой строфе тьма сгущается, и красноармейская героика решительно сдвигается в сферу готического ужаса:

Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.

Погибшим в русской гражданской лирике предоставлялось слово и прежде, в расчете на максимальный поучительный эффект (вспомним «Железную дорогу» Некрасова). Но здесь другое — подвиги и слава демонизируются, им навязываются неожиданные ассоциации с призраками и вампирами. Внезапное восстание трупов, кровавые мертвецы, пугающий взгляд «незрячих» глаз — и все это дано от первого лица и в актуальном прошедшем времени. Так пишут не о доблести, а о бесовщине (для сравнения — в «Страшной мести» Гоголя: «Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи»).

Дальше — больше; следующая, девятнадцатая строфа поистине ошеломляет:

Возникай содружество
Ворона с бойцом —
Укрепляйся, мужество,
Сталью и свинцом.

На фоне затверженной политической лексики и в соединении с банальной рифмой («содружество — мужество») — тем острее воспринимается страшный смысл этих строк. Искомое содружество должно возникнуть между бойцом, как потенциальным мертвецом, и тем, кто сначала является вестником его смерти, а затем будет клевать его труп. Мужество должно укрепляться «сталью и свинцом» — не как метонимией красноармейской атаки, а как метонимией красноармейской жертвы. При этом заклинательный императив строфы вовсе не вызывает к воле воинов — он обращен к тайным связям, стихийным «симпатиям» жизни и смерти; пуля-убийца и ворон-падальщик — необходимые элементы разворачивающегося магического действия.

Магия чувствуется уже в первом слове строфы: «Возникай». Это ведь не констатация того, что случилось в революционном прошлом («Возникло содружество...»), а прямой приказ людям настоящего, да еще и отданный мертвецами («Возникай сейчас, в нынешнее, казалось бы, мирное время»). Если исходить из сюжетной логики всего стихотворения, то на место «бойца»-жертвы в любой момент может быть подставлен любой из пионеров (ведь неслучайно они в десятой строфе тоже «выходят в бой»); сейчас же, в заклинании девятнадцатой строфы, — это пионерка Валя.

¹⁰ См. также стихотворение Бориса Лапина «О, поле, поле (Песня английского солдата)»: «Солдат, учись свой труп носить, / Учись дышать в петле...»; «...Восстанут эти мертвецы, / А нас покосит меч».

Двадцатая строфа стихотворения воздействует на сознание еще сильнее — в своей чудовищной обобщенности. Испуганный читатель убеждается, что ожидаемая смерть девочки — лишь начало грандиозного жертвоприношения, скрепляющего «содружество ворона с бойцом»¹¹; в это действие, как в воронку, вскоре будут втянуты «пионеры Кунцева, пионеры Сетуни, пионеры фабрики Ногина»:

Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.

В первом двустишии здесь дано метонимическое условие, во втором — метафорическое следствие. Условие можно понять двояко, причем оба значения сливаются в единую «черную» формулу. Первое — должно умереть как можно больше людей, всю землю вспить своей кровью; только тогда на этой земле взойдет новая юность. Второе — сама земля должна умереть, истечь кровью; только тогда она возродится в побегах новой жизни.

Неслучайно Багрицкий в беседе с деткорами «Пионерской правды» назвал свое стихотворение «сказкой»¹². Кровь, которой поливают кости, зарытые в землю, — этот магический рецепт перекликается именно с сюжетом русской народной сказки «Крошечка-Хаврошечка»: самоотверженная «коровушка» завещает девочке поливать водою ее «косточки», чтобы из них выросла прекрасная яблонька. Вот и мертвецы в своей песне призывают Валю, подобно «коровушке», добровольно принести свое тело в жертву революционной стихии. «Дивный, новый мир» должен вырасти из этого мертвого тела, как и «из костей» погибших бойцов. Обновление жизни требует все новых смертей; его чудодейственный ресурс — та энергия, которая рождается из принесения девочкой Валеи себя в жертву¹³.

В двадцать первой строфе, замыкающей колдовской круг «смерти-молодости», ужас разрешается радостным апофеозом и тем самым доводится до предела:

Чтобы в этом крохотном
Теле — навсегда
Пела наша молодость,
Как весной вода.

Эти строки находятся под напряжением обоюдоострого парадокса. Дело не только в том, что концентрация в строфе жизнеутверждающих эмоций («навсегда», «пела», «молодость», «весна») вызвана как раз стремительно приближающейся смертью пионерки. Важнее другое — в лексике четверостишия переворачивается смысл христианской заупокойной службы: «навсегда» здесь без спасения души, «пела» — без отпевания, «молодость» — без воскресения, «весна» — без преображения. Ритуальное переворачивание сакрального довершено магической двусмысленностью: может показаться, что пионерка Валя должна умереть, чтобы обрести бессмертие («навсегда»), но в третьей строке оно отнято у девочки. И ее брэнное («крохотное») тело, и бессмертие ее души оказываются

¹¹ О жертвенности как основополагающем понятии сталинской культуры см.: Кларк К. Советский роман. История как ритуал. Екатеринбург, Издательство УрГУ, 2002.

¹² См.: Багрицкий Э. Стихотворения и поэмы. Сост. Г. А. Морева, послесловие М. Д. Шраера. СПб., 2000, «Академический проект», стр. 289 («Новая библиотека поэта». Малая серия).

¹³ Об энергетической природе сакрального см.: Зенкин С. Н. Небожественное сакральное. Теория и художественная практика. М., Издательство РГГУ, 2014; например: «...сакральное мыслится как особая сверхъестественная или же социальная по своему происхождению сила, подобная энергии тепла и электричества и способная наполнять те или иные места и объекты», стр. 65.

присвоены некой чародейской силой («чтобы <...> пела наша молодость»): тело должно стать волшебным сосудом, ретортой, перерождающей смерть в вечную энергию обновления. Вместе с тем, по формуле Багрицкого, телу пионерки Вали суждено попасть в оборот языческих метаморфоз — смешаться с землей, слиться с лежащими в ней мертвецами, превратиться в питающий новые силы перегной и возродиться в безличной хтонической энергии.

К двадцать второй строфе все готово для самого обряда добровольного жертвоприношения. Начинается оно по сигналу «вьющегося знамени» — с ритуального обращения к жертве:

Валя, Валентина,
Видишь — на юру
Базовое знамя
Вьется по шнуру.

Вновь, через двадцать строф, звучит: «Валя, Валентина...», но как далек этот призыв к должной смерти от прежнего голоса сострадания. Теперь обращение по имени есть часть обряда; далее, в двадцать третьей строфе, жреческий голос будет подхвачен голосом языческой стихии:

Красное полотнище
Вьется над бугром.
«Валя, будь готова!» —
Воскликает гром.

Устанавливается вертикаль, связывающая подземный мир (голос мертвецов), приподнятый над землей символ («полотнище» «над бугром») и небесную волю («гром»). Значит, олимпийский верх и стигийский низ соединены и пора раздаться решающему возгласу божественного грома: «Валя, будь готова!» К чему должна быть готова Валя? К превращению своей «бессмысленной» смерти от скарлатины в добровольную и ритуальную смерть¹⁴. Что пионерка должна сделать для этого? Совершить триединый символический жест.

В следующих строфах (двадцать четвертой и двадцать пятой) даны контрастные описания такого жеста — это ритуальный пионерский салют как ответ на призыв грома:

В прозелень лужайки
Капли как польют!
Валя в синей майке
Отдает салют.

Тихо подымается,
Призрачно-легка,
Над больничной койкой
Детская рука.

Эти восемь строк построены на антитезе. Сначала читателю может показаться, что «гром» призывает Валию восстать из мертвых — «быть готовой» к новой жизни. В двадцать четвертой строфе пионерка показана на общем плане, зримо и ярко — синим на фоне зеленого, с ударной интонацией и каскадом оптимистических аллитераций-ассонансов («Капли как польют»). Стремительный параллелизм сливает девочку с полной живой энергии стихией: если в десятой строфе синий цвет тучи («в синьке грозовой») скрыто уподоблялся цвету пионерской формы («блужу из сатина»), то теперь «синяя майка» скрыто уподоблена синеве в тучах.

Но крупный план двадцать пятой строфы разительно контрастирует с общим планом двадцать четвертой — и становится ясно: «гром» призывает Валию «быть готовой» к жертвенной смерти. Показанная вблизи пионерка предстает

¹⁴ О Вале как о добровольной жертве см.: Кацис Л. Смерть карасика (о датировке стихотворения Н. Олейникова). — «Солнечное сплетение», 2000, № 12-13.

здесь бледным видением («тихо», «призрачно-легка»), темп описания резко замедляется (единственное действие-глагол в первой строке и дополнение к нему в четвертой). Так Багрицкий концентрирует внимание на парадоксальной подоплеке ритуала: от медленного, трудного, прослеженного от строки к строке движения Валиной руки зависит динамика «молодости» и стихий. Успеет умирающая, почти обездвиженная пионерка на койке отдать салют — и родится новая энергия, сила тысяч Валь. Значит, жест пионерки знаменует присягу языческой стихии, питающей энергию масс.

Автор неслучайно расширил следующую, двадцать шестую строфу до восьми строк — именно тут обрядовое действие достигает своей кульминации:

«Я всегда готова!» —
Слышится окрест.
На плетеный коврик
Упадает крест.
И потом бессильная
Валится рука
В пухлые подушки,
В мякоть тюфяка.

Цель сакрального ответа: «Я всегда готова!» — не в героическом принесении жизни, а в символическом принесении смерти на жертвенный алтарь. Для того, чтобы *просто* смерть стала смертью *ради* мировой революции, необходимо словесно подтвердить свою готовность к жертвенному акту. Стоит обратить особое внимание на наречие «окрест», которое в словарях помечают как «поэтическое» и «книжное». Оно не только придает разворачивающемуся действию особую торжественность и размыкает ограниченное пространство больничной палаты, но и этимологической рифмой воздействует на двойную силу крестильного креста¹⁵, затягивая его в магический круг уничтожения. Так пионерский девиз становится заклинанием, направленным против креста. Возвышенный архаизм «упадает» придает предсмертному поступку Вали значение решающего ритуального действия: перед последним вздохом девочка успела своей волей отказаться от всякой надежды на спасение души и вечную жизнь. Надо именно рукой умирающего ребенка отвергнуть христианский символ, чтобы эта смерть стала ресурсом магического преобразования мира¹⁶.

Все образы последующих строф возвешают, что ритуальная жертва принята и магия состоялась. Сначала (в двадцать седьмой строфе) проясняется небо и появляется солнце. На смену «синьке грозовой» приходит «синее тепло»:

А в больничных окнах
Синее тепло,
От большого солнца
В комнате светло.

Затем (в двадцать восьмой и двадцать девятой строфах), по контрасту с горем матери, начинают весело петь птицы. В двух этих и в предыдущей строфе крупными мазками («синее тепло», «большое солнце») написана пионерская пастораль, отбирающая у старого мира его волшебные слова («благодать») и обращающая их в новое язычество:

И, припав к постели,
Изнывает мать.

За оградой пеночкам
Нынче благодать.

¹⁵ Характерно, что слово «окрест» вызывает не только возвышенно-поэтические, но и прямо церковно-книжные ассоциации. См. пример в словаре Даля: «Окрест боящихся Бога Ангел Господень ополчается».

¹⁶ Ср. у Дж. Дж. Фрэзера: «...жертвы <...> имели своей целью <...> физически обновить запас <...> тепла, света и движения» (Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М., «Политиздат», 1980, стр. 94 — 95).

Любопытно, что только здесь, с появлением поющей пеночки, вполне проясняется смысл эпиграфа к стихотворению, радостного и демонстративно не связанного со смертью пионерки:

Грозою освеженный,
Подрагивает лист.
Ах, пеночки зеленой
Двухоборотный свист!

Песня пеночки магически вдохновлена смертью Вали и именно в силу этой смерти воспринимается особенно радостно.

Наконец, в финале стихотворения (тридцатой — тридцать пятой строфах), после констатации Валиной смерти («Вот и всё!») пастораль разрешается радостной песней. Ощущение перелома достигается в том числе и графическими средствами. Полустишие «Вот и всё!» вынесено в отдельную строку-строфу и, соответственно, оставлено без рифмы; особенно длинная пауза после этой обрубленной строки обозначена строфическим пробелом — своего рода указанием на траурное молчание. Зато в последующих строфах-двустушиях слово «песня» четыре раза поставлено в позицию рифменного повтора — тем мощнее, с каждой строфой, разгоняется интонация песенного прорыва:

Вот и всё!

Но песня
Не согласна ждать.

Возникает песня
В болтовне ребят.

Подымает песню
На голос отряд.

И выходит песня
С топотом шагов

В мир, открытый настежь
Бешенству ветров.

Так сбывается последнее заклинание призрачного хора (двадцать первая строфа): из смерти девочки («Чтобы в этом крохотном / Теле — навсегда...») действительно рождается песня («Пела наша молодость, / Как весной вода») — ритуальная смерть девочки высвободила песенный преобразующий поток. Мощная коллективная энергия песни нарастает, распространяется («болтовня» — «голос» — «топот»), в последней же строфе обретает планетарное значение («...мир, открытый настежь...») — в слиянии и борьбе с «бешенством ветров».

Стихотворение прочитано, но в нем, по-прежнему, далеко не все ясно. За подсказками стоит обратиться к вариантам «Смерти пионерки», отброшенным автором. Во-первых, в них гораздо подробнее развернута психология Валиного бреда, отчетливее голос утешения и увещевания:

А из тьмы охотник —
Хлоп! Хлоп! Хлоп!
Вылетает заяц —
Топ! Топ! Топ!

Кто это захлопал —
Ставень или град
Иль тебя встречает
Топотом отряд?

Не волнуйся, Валя —
 Это одурь сна...
 В комнате прохладно,
 Солнце... тишина...¹⁷

Из этих строк складывается впечатление, что первоначально Багрицкий собирался построить «Смерть пионерки» чуть ли не по модели знаменитого стихотворения Федора Миллера про «зайчика», который «вышел погулять», причем без его шадящих маленького читателя фольклорных доделок («Привезли его в больницу, / Отказался он лечиться. / Привезли его домой. / Оказался он живой»).

Во-вторых, финальная версия «Смерти пионерки» переворачивает соотношение героев-красноармейцев и мифологизированной «молодости», намеченное в черновых вариантах. В окончательной редакции активна именно стихия «молодости», а воины лишь подчиняются ее приказам. В подготовительном блокноте эта стихия, напротив, ведома бойцами. Итоговому варианту, в котором активные действия совершают только мертвецы («Но в крови горячечной / Подымались мы...») предшествовали попытки повернуть тему иначе и представить героев-красноармейцев жизнеутверждающе активными и даже человеческими:

Мы водили молодость
 В сабельный поход,
 Мы бросали молодость
 На кронштадтский лед —

Над письмом рыдали мы
 Ночью при свече,
 У ворот прощались мы,
 Плача на плече...¹⁸

В-третьих, в рабочих блокнотах Багрицкого разрабатывался другой план концовки, в котором акцент ритуального действия был перенесен с момента предсмертной агонии на момент посмертной кремации:

Пламя подымается ясней зари,
 Тело пионерки, гори, гори!¹⁹

Следующие за этими строки черновика поражают отношением к Вале не как к еще недавно живой, а теперь умершей девочке, но как к жертвенному телу, предназначенному для ритуального сожжения и возрождения энергии «молодости». Даже живую Валу поэт описывает здесь именно как тело или, точнее говоря, как частичку коллективного пионерского тела, используя не женский, а средний род:

Неужели этой еще весной
 Топало ногами, впивало зной,
 Делало гимнастику и шло в отряд,
 Слушало, как трубы вдали горняк...²⁰

Сличение версий обнажает принцип отбора: Багрицкий последовательно убирает психологические мотивировки и сюжетные связки, отказывается от детализации образов и действия, опускает очевидные ходы или заменяет их загадочными и странными. При сопоставлении итогового текста с вариантами хорошо видно, что поэт прячет и почему. Какой же образ скрывается тщательней

¹⁷ Багрицкий Э. Стихотворения и поэмы. М. — Л., 1964, стр. 499.

¹⁸ Там же, стр. 503.

¹⁹ Там же, стр. 504.

²⁰ Там же.

Затем, в момент агонии, с двадцать второй строфы — кто побуждает Валу к совершению ритуальных жестов, только ли гром? Кто обращается к ней: «Валя, Валентина...»?

Наконец, в финальных строфах — кто подает знак начать песню, кто ее ведет?

Эти сомнения не разрешаются в тексте, но тем сильнее ощущение всеприсутствия поэта. Если применить к итоговому тексту «Смерти пионерки» ключ, «забытый» в черновых вариантах стихотворения, то можно назвать поэта-рассказчика тайным «вожатым» — тем, кто ведет отряды, «начинает игру», изменяет мир. Обезличенный поэт-«вожатый», незаметный, растворенный в событийном и образном материале, исподволь определяет сами события и образы. От взгляда магического «вожатого» не может укрыться ни одна мелочь, он открывает пути в неведомое, прослеживает скрытые связи. Слово поэта проникает в душу, в мозг каждого — чтобы вести массы. Он вездесущий посредник, трикстер, связывающий в магическую цепь низ и верх, прошлое и будущее, жизнь и смерть. Заменяем «вожатого» на «жреца», «игру» на «ритуал» — и получаем предварительные ответы на заданные в начале статьи вопросы.

Для кого и зачем умирает Валя, мы уже сказали: для будущих поколений («молодости», «пионеров»), для обретения великого энергетического ресурса и магического обновления жизни. Теперь же можно ответить и на последний вопрос: кто добивается превращения ее смерти в жертву, жертвы — в миф? Сам поэт: он готовит Валу к совершению обряда, он берет на себя роль жреца, ведущего ритуальное действие, он созывает отряды отпраздновать жертву торжественной песней²². Недаром Исаак Бабель назвал Багрицкого «мудрым человеком, соединившим в себе комсомольца с Бен-Акибой»²³, законоучителем I — II веков, — в этих словах угадывается указание на совмещение политического служения («комсомолец») с высшей духовной (поэтической) властью²⁴.

Итак, знаменитая «Смерть пионерки» Багрицкого, вопреки советской традиции, не вмещается в штамп «победы нового над старым» и, вопреки постсоветским интерпретациям, не перелицовывает христианскую идеологию на советский лад. Задача стихотворения гораздо амбициознее — дать проект новой языческой мифологии, магически преобразовать систему советских (в частности, пионерских) ритуалов²⁵ и предложить себя, поэта-«вожатого», в качестве жреца и мистагога.



²² В черновиках к стихотворению образ поэта/вожатого/жреца дан прямо — он руководит обрядом кремации Валиного тела: «Слушайте команду! / Горнисты, / в ряд! / В боевом порядке иди, отряд!.. / Эту вот гончарную урну / твою / Мы словно знамя / Подыдем в бою...» (Багрицкий Э. Стихотворения и поэмы, М. — Л., 1964, стр. 504).

²³ Бабель И. Багрицкий. — В кн.: Эдуард Багрицкий. Альманах, стр. 160.

²⁴ Ср.: «Сакральный мир — это мир *власти*» (Зенкин С. Н. Небожественное сакральное, стр. 62).

²⁵ См. свидетельство И. Рахтанова: «Незадолго до смерти Багрицкий часто спрашивал меня о пионерах. Я рассказал ему обо всем, что видел в лагерях. Он радовался пионерскому ритуалу, — подъем флага, линейка, фанфара — все, что есть в лагере от армии, нравилось Багрицкому» (Рахтанов И. Рассказ по памяти. — В кн.: Эдуард Багрицкий. Альманах, стр. 309).

РЪШЕИЪИ. ОБЗОРЪИ

СТРАДАЮЩИЙ ЛЕВИАФАН

Постсоветский производственный роман

Шамиль Идиатуллин. Город Брежнев. М., «Азбука»; СПб., «Азбука-Агтикус», 2017, 704 стр.

Жанр производственного романа некоторое время воспринимался как нечто анекдотичное. «Любовь на фоне доменной печи» или вообще чистая борьба с удоями хлебов. И вдруг. Как это часто бывает — совершенно случайно... Во все-ррез дискутируемых текстах последнего пятилетия начали появляться то трудовые коллизии, то проблемы управления большими коллективами, а то и вообще экстренные действия во время аварии. Однако перед нами не воскрешение интереса к сюжетам типа «любовь на фоне производства», вовсе нет. Станным образом кажется, что заброшенная и захламленная территория производственного романа расконсервирована и осваивается с совершенно другой стороны.

Литературная традиция, согласно которой действия героев, часто даже не знающих о существовании друг друга, интерферируют и дают обоснованный общий результат — собственно, традиция того, что когда-то в советском литературоведении и называлось «роман», — весьма почтенна и не собирается выходить на заслуженный отдых. Другой вопрос, что кроме героев-людей во множестве романов XX века действует и представляет себя герой совершенно другого типа. Некоторая социальная сущность. Фрейм, системный набор правил и ценностей, объединенных своей синергией; согласно терминологии теории систем, вполне себе обладающий свойствами живого объекта. Небиологического живого объекта.

Проигнорируем термин «эгрегор», который, конечно, удобен как прихватка для оперирования горячеватыми вопросами, кто тут живой, а кто нет — но сильно заляпан всякой гадостью. О том, *кто* действует и живет в романах наравне с представителями вида *homo sapiens*, в литературе не очень принято говорить прямо. Назвать роман *ego* именем — да пожалуйста, любая книга Артура Хейли. Уделить его свойствам и мощи пару-тройку сотен страниц — да пожалуйста. Это те самые страницы, которые когда-то и девочки, и мальчики одинаково тоскливо перелистывали в «Войне и мире», это первые полтома каждой книги «Иосифа и его братьев», и множество еще примеров вы можете вспомнить сами. Посвятить весь роман его рождению — или его гибели — сколько угодно. Прямо признать героем?.. Нет.

Однако это полумолчание, в котором третий век находится реалистическая литература, не так уж и необходимо. Нет ничего зазорного или тем более эзотерического в том, чтобы изучать и обсуждать свойства мезо- и макросоциальных объектов. Язык науки уже вполне умеет их называть, оперировать представлением об этих объектах — да вся социология занимается именно ими. У крупных социальных объектов есть сроки жизни, стадии развития, тенденции влияния на людей и себе подобных. Все это так же спокойно изучается, как может спокойно изучаться, например, магнитное поле человеческого тела. «Аура, аура». Человек живой? Химические процессы в клетках идут? Как может не быть магнитного поля? А раз поле есть, можно сфотографировать, вот вам и аура. И да, в районе воспаления или тем более рака другие реакции — и другие полевые эффекты. Никакой мистики.

Так что осторожное отношение реалистической литературы к действующим лицам, которые не являются людьми, в известной степени устарело. Они совершенно точно существуют и действуют. Роман, написанный в усилении игнорировать существование и действие крупных социальных объектов, — будет настолько же реалистичен, как, например, роман, описывающий социум, в котором полностью отсутствуют мужчины. Писать-то такое можно, претендовать на реализм странно.

Итак, крупный социальный объект как полноправный герой художественной литературы. Что мы знаем о способах его представления? А вот они, оказывается,

примечательно неоднородны. Фактически автор должен сделать выбор между двумя установками. Согласно одной, социальный объект — это явление природы, грозное, малопредсказуемое и принципиально не поддающееся человеческим воздействиям; стихия, неминуемо увлекающая и перемальвающая героев-людей (и тогда сюжет романа будет читаться «как кто-то выжил или не выжил под дланью Этого»). Согласно другой — чудовищно инерционная, неуклюжая, но странным образом договороспособная и обучаемая сущность. Если заглядывать за край реализма, этот вариант дальше продолжается кибернетическими богами Гибсона, уарсами Льюиса и полной уже фэнтези данииландреевского извода, где и смыкается кольцом с толстовским убеждением в руке Божией, ведущей семьи, племена, армии и народы по уготованным им судьбам. Но давайте в этом обсуждении за край реализма не перевешиваться.

Вообще-то роман второго типа — это и есть производственный роман, даже если в кадре за всю книгу и не попадается ни одной доменной печи и ни одного самого завалышенского удоя. То, что «Живые и мертвые» самый что ни на есть производственный роман, чувствует каждый читатель в момент, когда над головой сержанта Никулина начинают наконец пролетать снаряды артиллерийской поддержки. А уж у Киплинга, считай, в какой текст ни плюнь, обязательно попадешь в тот или иной оснащенный персонажами-людьми крупный социальный объект. Где Старая Англия, где Великая Империя, а где министерство лесного хозяйства Индии (куда, как мы помним, в итоге трудоустроился Маугли). Усилия, раз за разом, медленно, ценой падений и жертв, выравнивают движение, переламывают ход войн, поднимают большие волны, которые уже идут дальше сами, когда человек-герой обессилел и может только смотреть. Или не поднимают (производственный роман не обязан иметь хэппи-энд).

Еще не заметили подозрительного совпадения? Симонов и Киплинг — общепризнанные певцы имперского мышления. Внезапно, если принять в качестве гипотезы то, что макросоциальный объект может восприниматься как со-субъект диалога, собеседник и сотрудник, имперская логика становится на вид какой-то не такой уж и людоедской. Жертвовать силами, жизнями, ресурсами в попытке умиловить стихию — отвратительно, но усилия и жертвы, потраченные на нахождение общего языка, понимания и взаимопомощи с Кем-то мыслящим, — ощущаются гораздо более взвешенными и важными. Рыбка Дори выглядела некоторое время очень глупо, пытаясь договориться с китами, — но ведь киты ОТВЕТИЛИ.

Если литератор сегодня возьмет за грудки социолога и твердо спросит его, договороспособны ли макросоциальные объекты, социолог, к сожалению, не сможет твердо ответить ни «да», ни «нет». На вопрос «Разумны ли они?» социолог с большим облегчением ответит: «Пока — нет», а на вопрос — «Обучаемы ли?» — ответит: «Еще как». Обучаемы даже амёбы, что тут говорить о более сложных системных целостностях. А вот относиться к ним как к живым существам или нет — по сей день выбор автора.

И вот теперь, закончив длинную преамбулу, вернемся к теме, заявленной в заголовке статьи. Тот производственный роман, который воспринимается как острый и интересный сегодня, выдает совершенно новое измерение состояния макросоциальных объектов по сравнению с классическим производственным романом. А именно — внутреннюю динамику их свойств, изменение способности к диалогу с человеком одной и той же сущности в течение ее жизни.

Бура, несущая доктора Живаго, за весь роман не проявляет ни тени осмысленности. Корабль Его Величества «Улисс» бьется за жизнь вместе со своими людьми. Но их свойства заданы на входе — герой-человек может постигать их не сразу; они могут не сразу быть проявлены; но они статичны.

Новый же производственный роман описывает социальные сущности, ищущие, находящие и теряющие понятную людям сигнальную систему. Социальные сущности, корчащиеся в горячке, подверженные старческой (а может, токсической) деменции и иногда — медленно приходящие в себя после болезни. Внезапно в фокусе литературной рефлексии оказалась идея о том, что вмняемость макросоциального объекта — величина переменная. Что Левиафан может быть болен.

В принципе, для фантастики-то это не проблема. Еще Зверь Андрея Столярова проходил за книгу все стадии от туго структурированного энергичного мегаполиса до ржавых агукающих болот. Однако решить задачу такого рода инструментарием реализма — куда как более сложно. В конечном счете, автор, который не позволяет

себе отступлений даже в магический реализм, часто вынужден, как Ксения Букша в «Заводе „Свобода”», опираться на гибкость речи от первого лица, акварельную зыбкость воспоминаний. «Нам показалось, что». «Говорили, что». «Один тут был, он видел сам, что». Нет-нет, что вы, какая фантастика, всего лишь аберрации восприятия. Странные ситуации? Городские легенды? Противоречивые показания?.. Издержки респондента, не более. И вот цель достигнута, а автор вроде бы и ни при чем, ручки-то вот они.

Но на всякий челлендж рано или поздно является ответчик. И вот вам чисто реалистический, бытово-детективно-производственный роман о жизненных коллизиях глубокой провинции начала 80-х годов прошлого века.

Шамиль Идиатуллин не впервые поднимает проблему, кто, помимо людей, проживает в человечестве. В литературу он вошел с анализом жизнеспособности фрагментов советского этоса и продолжил особенностями национального нежитиеведения. Но все это были допустимые игры под зонтиком «фантастики» — в совершенно ином наборе правил. И вот «Город Брежнев». Тесный хронотоп (5 лет и 2 месяца, 171 квадратный километр). Ни единого слова за всю книгу, которое можно было бы трактовать как отступление от чистого, стерильного, предельно позитивистского реализма. Никаких особенных снов, никаких наведенных, никакой внезапной нелогичности в действиях предельно правдоподобных персонажей. Горчайшее зрелище того, как могучее существо теряет способность к целеполаганию, к связности действий, контакту с людьми и принимается наносить себе удар за ударом. Пока еще крепко стоя на ногах. Пока еще.

Легко понять, почему отзыв о «Городе Брежнев» появился в «Известиях Набережных Челнов». Гораздо интереснее реакция тех, кто жил в других городах того же времени. И еще интереснее — реакция тех, кто не жил.

Ровесники персонажей романа — живые свидетели описываемой реальности — пока не нашли серьезных расхождений между описываемым и своими воспоминаниями. Несерьезных-то, само собой, много — вот в Новосибирске аджика сама по себе была дефицитом, а в нагрузку давали лавровый лист. А где-то Вилли Токарев появился уже только на касетах, а на бобинах его не бывало. Свидетели не сомневаются в одном — в том, что *она было* именно так... Что — оно? Как — так?

Поздний застой. Цой курит у дверей кочегарки. Слово «йогурт» значит примерно то же, что «жаботикаба». Стекланные бутылки сдают в молочный. Все вроде бы и неплохо, но...

Один и тот же прием, который Идиатуллин проводит раз за разом в каждой сюжетной нитке романа, беспощадно выявляет суть происходящего. Герои нащупывают норму и логику социальных взаимодействий внутри какой-то части мира — той, где они живут; встраиваются в эту — чаще всего вполне для них приемлемую — норму; согласовываются между собой и уже было начинают рассчитывать на спокойную работу и хотя бы промежуточный хэппи-энд — как в ситуацию на всех парах вламывается оснащенный более сильными кодами актер совершенно иной нормы и разносит в клочки только-только налаженное согласование. На каждом уровне. Школьные курсы самообороны, заводская система снабжения, воровской договорняк, профсоюзная работа, права работающей женщины, производство военной техники и комсомольский активизм. Ни одна из исполняемых в романе норм не является сквозной, понятной для всех участников происходящего. Ни одну согласованную участниками деятельность не удается довести до заранее поставленной цели. Хотя нет, вру — героям один раз за текст удается успешно налепить и поесть пельменей. Все.

Нет, это не революция. В революции каждый участник более-менее представляет нормы восприятия и поведения другого. Те, кто вешает буржуя на фонаре, отлично представляют себе буржуя, а те, кто с винтовками разгоняют самосуд, чтобы сослать буржуя за Можай или расстрелять его по распоряжению тройки, — отлично понимают вешальщиков. В революции люди могут быть носителями разных норм — но каждая норма сама по себе имеет внутреннюю логику и каждый носитель, часто непроизвольно, маркирует свою принадлежность к ней. В реальности города Брежнева каждый носитель какой-либо нормы вызывает у других тяжелейшее недоумение.

Если бы дело ограничивалось несмешиванием демонстрационной и практической норм (о чем писали уже очень многие советологи), было бы куда легче. Да оно и было легче. Раньше. Но теперь даже демонстрационная норма противоречива внутри себя (гордимся ли мы воинами-интернационалистами? какой заказ важ-

нее — военный или экспортный?), а что из себя представляет практическая норма, вообще страшно сказать. По большому счету, она сведена к биологической — «кто боится, тот и не прав». Толстенький трусливый мальчик требует у вооруженной коды «чирик» — и получает. Просто потому, что слишком устал и перепсиховал, чтобы испугаться. А они знают достаточно, чтобы бояться. И аналоги этой коллизии — то там, то тут — вспыхивают на крупных партийных заседаниях, в конфликтах силовых ведомств, в спорах начальников с подчиненными. Где-то тут рождается будущая «борзость» девяностых годов — разучись бояться, гони, пока дышишь.

Макросоциальный объект, который живущие в нем люди привыкли воспринимать как целеполагающий и потому в достаточной степени предсказуемый, на глазах теряет связность. Задаваемые им функциональные роли превращаются то в тени, то в изнанки самих себя. Кто здесь отважный комсомолец; кого на самом деле бережет милиция; кто герой, кто шпион, а кто контрразведчик (ни тех, ни других реально не существует, да что толку) — разобраться решительно невозможно. Маркеры этики, доселе четко выделявшие принадлежность к тому или иному объединению людей, не обозначают фактически ничего. В координатах самого носителя он может все еще быть честным служакой, убивая или воруя; а может быть нищим изгоем, фактически поднявшись до ответственных позиций в большом производстве. И в тот момент, когда очередной герой осознает, что нет вокруг него никакого *на самом деле*, кроме доступного на зуб и на ошупь, и никаких взаимных обязательств, кроме личных, — это означает, что на этой небольшой территории Левиафан умер. Социум превратился в набор частиц, вовлеченных в броуновское движение. В труп.

Может быть, к счастью то, что действительно большие социальные объекты умирают медленно. На их месте успевают сформироваться какие-то новые живые единства, иногда поедающие старую сущность, иногда приносящие ей выздоровление. Тяжело больной, утративший системность социум балансирует на пороге многих лет хаоса.

Люди, которые родились позже 1970 года, в большинстве своем сформировались уже в условиях фоновой нормативной неопределенности. Ну да — нет ни общего языка, ни общепринятого набора систем ценностей («Ты — Шарапов, я — Горбатый»), а что, должны быть? Общие коды? Заранее заданные роли? Фу, скучно. Мы как правнуки дементивного старичка, не ждущие от него ничего путного. Ровесники Артура, Виталия и родителей Артура — напротив, помнят тот момент, когда у каждого земля закачалась под ногами. И как тот, с кем они привыкли коммуницировать постоянно, кто облакал правомерностью каждую транзакцию, — медленно, неуклонно обезумел. Но жить — прожил еще долго. «Сиськи-масиськи» тянулись куда больше десятилетия.

Что еще примечательно, это удавшееся автору сожаление. Сожаление тех, кто застал Советский Союз в живых, о том, чем он, казалось, чуть было не стал. О той сквозной, ясной, логичной и честной норме, которая чуть было, чуть-чуть, ну еще чуточку — не осуществилась. Среди тех, кто Советского Союза не застал и в гробу, это ощущение забавным образом преобразуется в набирающее популярность «совкофэнтези» о стране, где все было и все хорошо работало. Но тем, кто не слишком склонен к волшебным сказкам, история не дотянувшегося до собственной высоты титана не кажется забавной.

В результате то, что по фабуле кажется смесью производственного романа с романом взросления, фактически оказывается историей о том, как была решена судьба всей страны на многие десятилетия вперед. Парадокс того, как страна была, была — и вдруг перестала, волновал участников и позднейших наблюдателей давно. Может быть, именно интуитивным сожалением, жалостью к умирающему Левиафану и объясняется столь частая склонность современных литераторов к имперскому типу мышления — того, кого жаль, трудно не признать живым. То, что не решалось силами фантастики и мистики, вылепилось наглядно и зримо из материала личных неудач, разочарований, сражений и новых надежд — о которых мы, сегодняшние, тоже уже многое знаем нерадостное. Оставляя выживших героев в движении к звезде Полярной, автор не то чтобы особенно жесток — что делать, действующая реальность такова и более никакова.

Может быть, именно поэтому книга кажется такой честной.



КОСАЯ ЧЕРТА

Ханья Янагихара. *Маленькая жизнь*. Роман. Перевод с английского Александры Борисенко, Анастасии Завозовой, Виктора Сонькина. М., «АСТ», «Corpus», 2016, 1020 стр.

Второй роман Ханьи Янагихары «Маленькая жизнь» («A Little Life») вышел в 2015 году, стал бестселлером, был номинирован на ряд престижных наград, в том числе вошел в шорт-лист «Букера» и получил премию Kirkus Prize in Fiction. Отношение к роману критики — и англоязычной, и отечественной (к переводному) было не столь однозначным. В обзоре критических отзывов на роман портал «Афиша Daily» пишет: «Например, в Vox не стали бы никому рекомендовать книгу, тут же назвав ее „лучшим романом года“». По схожему принципу идут и в The Guardian, где через прилагательные вроде „травмирующий“ и „мучительный“ пытаются объяснить, почему „Маленькую жизнь“ обязан прочитать каждый. А вот в The Observer обещают, что от „изматывающего, опустошающего чтения“ ваше „сердце вырастет в несколько раз <...>”. В The New Yorker роману дали такую оценку — „фундаментальный, тревожный, темный, несмотря ни на что не лишенный красоты”¹. Однако в том же обзоре приводится подробный негативный отзыв литературного обозревателя и критика Дэниэла Мендельсона: «...размазывание Янагихарой травмы — в итоге только грубый и неэстетичный способ выдавить эмоции из читателя. Этот повторяющийся ужас с трудом можно назвать „техниками, благодаря которым мы испытываем неподдельные эмоции и эстетическое удовольствие”». Галина Юзефович в своем периодическом обзоре литературных новинок на портале «Meduza» соглашается с мнением «о „Маленькой жизни” Ханьи Янагихары как о романе выдающемся и даже потрясающем, но при этом невыносимо тяжелом, мрачном и душераздирающем»². А Анна Наринская негативно оценивает подмену создания художественной атмосферы манипулятивными техническими приемами: «...в таком хватании читателя за кишки и наматывании их на руководящую руку автора и есть главный мотор <...> книги, то, что составляет ее эмоциональный сюжет»³.

Словом, над романом все плакали (ну, почти все), но непонятно, хорошо это или плохо. И полемика об этом, в социальных сетях не столь взвешенная и сдержанная, как на бумажных и электронных страницах периодических изданий, позволила Владимиру Березину сделать вывод, что роман «Маленькая жизнь» интересен не только сам по себе, но и «как феномен социологии литературы»⁴. И с этим выводом трудно не согласиться.

И чтобы понять, как художественное произведение стало фактом антропологии, социологии, о читателе, может быть, говорящим больше, чем и об авторе, и о персонажах, надо все-таки обратиться к самому тексту.

Роман «Маленькая жизнь» выстроен сложно, изящно и при этом, как ни странно, довольно бесхитростно (хотя слово «безыскусность» здесь, пожалуй, не подойдет). Это весьма объемный полифонический роман со множеством флешбеков, с нелинейной композицией, ракурс изображения смещается между пятью персонажами, причем один из них говорит от первого лица, однако на первом плане постепенно оказывается не он, а один из тех, о котором говорится в лице третьем, — Джуд Сент-Фрэнсис. Бесхитросна же собственно рассказанная история маленькой жизни, история Джуда.

Герой был найден младенцем, подброшенным на монастырскую помойку. Монахи от Джуда не отказались, так и растили, попеременно колотя, растлевая и обучая страху Божьему, пока один из них, брат Лука, не сбежал с девятилет-

¹ Ханья Янагихара. «Слишком тяжело»: спор критика и редактора о «Маленькой жизни» — «Афиша Daily» от 15 ноября 2016 года <daily.afisha.ru/brain>.

² Юзефович Галина. «Маленькая жизнь» Янагихары и «Номер 11» Коула. — «Meduza», 12 ноября 2016 <meduza.io/feature/2016/11/12>.

³ Наринская Анна. Нелегкое дыхание. — «Коммерсантъ Weekend», № 41, от 02.12.2016, стр. 42 <www.kommersant.ru/doc/3150985>.

⁴ Березин Владимир. Книги Роршаха. — «Rara Avis» от 14. 12. 2016 <rara-rara.ru/menu-texts/knigi_rorshaha>.

ним героем, чтобы не только пользоваться им без конкуренции братьев, но и не без выгоды сдавать в аренду. («Он парень шалый», «Мы все, я думаю, шалые», «Я думаю, сам господь бог — шалый» — как, если верить Набокову, предложил ему некий потенциальный издатель переписать «Лолиту», причем именно в гомосексуальной эстетике; ну, вот это отчасти оно и есть). Полиция Джуда у брата Луки отнимает и помещает в приют, где следует новая порция изнасилований и побоев, так что Джуд оттуда сбегает и теперь уже сдает в аренду сам себя проезжающим мимо дальнобойщикам. Причем на ночных дорогах ни одного не охочего до мальчиков мужчины не оказывается. И ни одного человека, который бы его пожалел, хотя бы просто задумался — а что вообще подросток делает на дороге?

«Иногда мужчины хотели удержать его подольше, снимали номер в мотеле, и он представлял, что брат Лука ждет его в туалете. Иногда они разговаривали с ним — у меня сын твоего возраста, говорили они; у меня дочь твоего возраста, — а он лежал и слушал. Иногда они смотрели телевизор, восстанавливали силы для следующего раза. Некоторые из них были с ним жестоки; некоторые были такие страшные, что он боялся за свою жизнь, боялся, что его избьют так сильно, что он не сможет убежать, и в такие мгновения он сжимался от ужаса и отчаянно хотел вернуться к брату Луке, в монастырь, к медсестре, которая была с ним так добра. Но большинство из них не отличались ни жестокостью, ни добротой. Это были клиенты, и он предлагал им то, чего они хотели».

Наконец Джуду встречается не просто очередной подлец, а маньяк, который держит его взаперти, а затем переезжает надоевшего ему мальчика автомобилем.

Джуд, на этот раз тоже попавший под государственную опеку, но теперь не зверскую, вполне с человеческим лицом, чудом выживает, хотя и остается тяжело больным инвалидом. Весь остаток его маленькой жизни — это во многом история болезни. Болезни не только физической, постоянно прогрессирующей и на пятом десятке приведшей к ампутации ног, но и психической, выражающейся в депрессии, отвержении «грязного», «виноватого» себя, аутоагрессии, самопорезах, неверии в подлинность чувств любящих его людей.

А таких людей оказывается немало. Все, кто контактирует с Джудом с его шестнадцати лет, немедленно проникаются симпатией к этому хрупкому, очень красивому и одаренному, явно скрывающему (да, скрывающему явно, чуть ли не напоказ) какую-то трагическую тайну человеку. Врач соглашается работать с Джудом несмотря на то, что болезни ног и позвоночника — не в его специализации, только потому, что оказывается единственным, перед кем Джуд готов побороть свою стеснительность и раздеться, и даже отодвигает ради него выход на пенсию. Пожилой преподаватель юридически усыновляет тридцатилетнего Джуда — именно потому, что полюбил его как сына. Один из друзей, и даже не сказать, что особенно близких, предлагает Джуду квартиру в своем доме только для того, чтобы быть рядом с ним на случай внезапного приступа болезни или суицидального настроения. А друзья ближайшие — трое соседей по университетскому общежитию — любят Джуда и вовсе безмерно.

Собственно, в начале романа эти трое друзей и выступают протагонистами наравне с Джудом, но затем их роль становится все менее значимой. Двое уходят на периферию авторского внимания, а третий — Виллем — остается в центре как доверенное лицо, а затем и возлюбленный Джуда.

Итак, история болезни Джуда — одновременно и история его успеха, причем не только в кругу многочисленных друзей, но и успеха социального. Джуд столь же гиперболизированно одарен, сколь и злосчастен — он и певец, и на фортепьянах игрец, и математик, но карьере — совершенно блистательную — строит в юриспруденции. Столь же, может, чуть менее, одарены и его друзья — Виллем становится звездой голливудского и европейского кино, Малькольм — один из крупнейших архитекторов той странной, малоопределимой современности, в которой проживают герои романа, судожник Джей-Би выставляется в МоМА. Все прочие, двоюродные друзья, тоже сплошь гении и селф-мейд миллионеры. Кстати, этот момент, в числе прочих вызвавший многочисленные упреки в «нереалистичности», как раз объясним: университет, куда попадают Джуд и его друзья, изначально предъявляет очень высокие требования и принимает только лучших из лучших, поэтому и дальнейшие их успехи выглядят вполне правдоподобно.

Переводчики в послесловии к роману пишут, что такая суггестия страдания и одаренности, так же как и застывшее в условной современности романное время — от рождения до смерти Джуда проходит полвека, но история и технический прогресс как бы «застревают» в неподвижности, — отвечают авторскому замыслу: «...для самой Ханьи Янагихары жанр романа хотя бы отчасти определяется как волшебная сказка».

Со сказочностью автор романа и его переводчики связывают и то, что в романе почти нет женщин: «В сказках никогда нет матерей». Причем изначально Ханья Янагихара, по ее собственным утверждениям, собиралась писать роман, в котором женщин не будет вообще. Цель автора — заговорить на (или скорее — о) языке мужского страдания. Не мужественного, принятого, дозволенного страдания войны, подвига, героического страдания, а на (о) честном, но, увы, в нашем мире, где не только «женщина должна», но и «мальчики не плачут», варварски урезанном языке слабости, языке жертвы, переживающей унижения и сексуальное насилие.

Однако если «Маленькая жизнь» и близка к сказке, то не к проповедной народной, где женщин на самом деле вполне достаточно, стоит вспомнить Василису Премудрую или Бабу-Ягу, а к авторской, прежде всего к сказкам Оскара Уайльда — чем не мальчик-звезда перед нами: слишком велики, мол, были его муки, слишком тяжело подвергся он испытанию. Гораздо ближе Ханья Янагихара подошла к другому фольклорному (ли?) жанру — фанфику, слэш, то есть к той его разновидности, которую сами полуанонимные авторы, почти сказители, называют «ориджинал». «Мое определение слэш-ориджинала было бы следующим: это текст, где гомосексуальные отношения являются сюжетообразующим элементом, события часто происходят в фантастическом мире, причем этот мир нередко полностью создан автором, если же контурные рамки близки к действительности, то он либо снабжен существенным фантастическим дополнением, либо представляет собой всего лишь некий фон, иногда псевдоисторический, иногда почти реалистический, но без особого внимания к бытовым или политическим деталям», — пишет один из авторов наиболее масштабного русскоязычного сайта фанфиков «Книга Фанфиков» Эстерис Э⁵. Отметим, что, во-первых, авторами фанфиков оказываются чаще всего женщины (для нас это очень важно — женщины, говорящие о мужском языке, рисующие чаще всего всецело мужской мир), во-вторых, что в отличие от других поджанров фанфика ориджинал — произведение вполне авторское, хотя фигура автора, как и полагается в «сетературе», достаточно размыта. О сходстве «Маленькой жизни» с фанфиком, правда, по другому поводу, писала, например, Виктория Файбышенко: «Читателям, знакомым с феноменом participatory culture, видна связь письма и чтения, предлагаемых „Маленькой жизнью“, с определенными жанрами фанфикшн (соединение натурализма с гротескной мифологизацией чувства, внимание к телесному опыту, прозрачность и проницаемость гендера и т. п.)...»⁶

И крайняя одаренность героев, и тип их отношений — жертва и ее утешитель (именно утешитель, а не защитник), и сексуальная неопытность, почти невинность — а Джуд, который выступал только жертвой сексуального насилия, не только невиновен, но и, в сущности, невинен — все это характерно для фанфика. Особенно узнаваемыми оказываются любовные сцены, а также характерные черты персонажа. Джуд, например, несмотря на тотальное презрение к себе, очень обидчив, как и страдающие эльфоподобные герои слэша. А то, что любовниками здесь оказываются не анимешные мальчики, а мужчины за сорок, сообщает «Маленькой жизни» не только антисексистское, но антиэйджистское звучание.

Обращение к складывающимся на глазах, новым низовым фольклорным жанрам — безусловно, важный момент и с литературоведческой, и социолого-антропологической точки зрения. Конечно, профессиональные романы в слэш-эстетике, и очень удачные, такие как «Рисунки на крови» Поппи Брайт или близкие к слэшу многотомные саги Робин Хобб, уже выходили, но, кажется, «Маленькая жизнь» — первая отсылка к слэшу в антураже (псевдо)реалистического «большого романа», а не фэнтези или мистики.

⁵ Эстерис Э. Слэш/юй как явление сетературы. — Книга Фанфиков <ficbook.net/readfic/390776/1390106?show_comments=1>.

⁶ Файбышенко Виктория. Маленькая жизнь, или Критика правдоподобного разума. — «Гефтер» <gefter.ru/archive/21621>.

И этим, наверное, и вызван социологический резонанс «Маленькой жизни». Вольно (а в интересах и романа, и автора хотелось бы верить, что это она по-приговски нарочно) — или невольно воспроизводя складывающиеся на наших глазах клише, легитимизируя новый фольклор, нащупывание коллективным бессознательным нового, постгендерного баланса, Ханья Янагихира попадает иголкой, бормашиной в самый нерв времени — вот слезы из глаз и брызгают.

Нижний Новгород

Евгения РИЦ



THE LIFE

Дмитрий Григорьев. Птичья псалтырь. СПб., «Лимбус Пресс», 2016, 384 стр.

И если вы меня спросите, о чем же я пытаюсь писать, отвечу: «О Любви и о Смерти. О Пути».

Из авторского предисловия к роману «Господин Ветер»¹

На первый взгляд стихи петербургского поэта Дмитрия Григорьева невероятно просты, даже, может быть, в чем-то наивны: в них нет причудливой игры со словами и подводных течений скрытых смыслов — по крайней мере отсутствует претензия на эти скрытые смыслы; в них все прозрачно и «понятно даже ребенку», и это не столько безнадежная попытка осознания жизни, сколько попытка ее схватывания, точной фиксации, описания во всем ее многообразии:

Вот идет человек живой:
внутри него растет дерево,
внутри него пахнет травой,
внутри него — трубки и краники,
внутри него — детский сад,
внутри него тонут титаники,
внутри него — листопад,
и для него уже копают яму,

а он идет себе и рад.

Дмитрия Григорьева интересует жизнь как таковая, жизнь во всех ее проявлениях, как бесконечный движущийся, говорящий на разные голоса космос, и смерть — только в качестве части жизни («Смотрите, снег летит, и // смерти нет никакой...», «за спиной проходят поезда // а впереди вода // и девушка в цветах она мертва // и сквозь нее растет трава // ее зовут весна»); в его текстах движется, живет и обладает собственным голосом буквально все: от картофельного клубня до старого ватника, и все брошенное, умершее, забытое может вдруг преобразиться, расцвести, ожить и устремиться к небу. Весна как время года и как состояние души — предчувствия новой жизни — для Дмитрия Григорьева вообще имеет особенное значение. Я не пыталась подсчитать, сколько раз это слово упоминается на страницах книги, но, очевидно, едва ли не в каждом пятом стихотворении: лирический герой влюбляется в женщину-весну, путешествует весной, упрямо пишет слова «весна пришла», «весна уже в прихожей» на бланке, который принес ему человек из жилконторы, весна полосатой кошкой перебегает дорогу, по которой он едет на трамвае. Однако весна здесь — не столько часть вечного природного цикла, сколько *единственно существующее* или *единственно возможное* время, и другого времени у мира в принципе нет, поскольку он, пребывая в процессе постоянного становления, наполнен исключительно созидательной энергией, и человек с его делением бытия на составные

¹ Григорьев Дмитрий. Господин Ветер. СПб., «Свое издательство», 2012, стр. 5.

части, на «свет» и «тьму» и, в конце концов, на «хорошее» и «дурное» кажется в нем чем-то лишним или по крайней мере чем-то отдельным.

Дерево спилили, остался пень,
по годовым кольцам ползет муравей,
иногда он встает словно человек
и лапы очищает от липкой смолы,
от опилок мелких, серых, как смерть...
Постоит, и снова вперед идет,
несколько шагов — кончается год,
и дорога становится все темней —
к середине дерева ползет муравей,
там — гнилая пропасть, черная дыра
до сердца земли, до начала лет,
там не было ни дерева, ни муравья,
ничего там не было, только — свет...

Весна — это и любовь, конечно, или любовь в первую очередь: в этих стихах не нужно далеко идти за метафорой или аллюзией, все как бы рядом, под рукой, хотя что именно окажется под рукой, зависит от того, насколько далеко от дома ушел сам поэт: в Персии или Индии под рукой окажется совсем не то, что в Торжке или Екатеринбурге, а на берегу реки Каменки — не то, что на вершинах Гималаев. В случае Дмитрия Григорьева творчество неотделимо от образа жизни: в анонсах его вечеров часто встречается словосочетание «поэт-путешественник», а сами вечера нередко оказываются посвящены не столько чтению стихов или отрывков прозы, сколько рассказам о жизни и путешествиях. Дмитрий Григорьев объездил значительную часть бывшего Советского Союза и некоторую часть мира (в том числе автостопом), и его проза и поэзия закономерно вобрали в себя всю дорожную пыль и все неожиданные встречи, и дожди, и снег, и солнце, и само восприятие жизни как путешествия, дороги, возникшее не из многочисленных литературных претекстов, но из самой действительности. Потому в этих стихах столько машин, автобусов, трамваев, поездов и вокзалов, где наиболее остро ощущается пульс пространства и времени (и, к слову, совсем нет самолетов, при том что очень много неба, — видимо, потому, что самолет, как самый быстрый вид транспорта, сокращает время и сжимает пространство, не позволяя в полной мере ощутить процесс перемещения из точки «А» в точку «Б»). Меня, в частности, несколько лет назад поразил рассказ Дмитрия Григорьева о путешествии в горы Монголии, где по серпантину дорог взбираются к храмам везущие паломников грузовики, спереди у которых написано: «Бог — это Любовь», а сзади — «Труби громче!» (имеется в виду, что монахи в храмах должны громче трубить в трубы канглинг, сделанные из человеческих берцовых костей, чтобы отогнать злых духов): этому путешествию посвящен один из лучших, на мой взгляд, текстов книги («Оранжевый грузовик...»):

<...>
«Внутри наши кости пустые, —
трубят в небеса монахи, —
хорошие будут трубы,
когда мы песни закончим
и в нас заиграет ветер.
Он будет трубить еще громче:
у ветра быстрые пальцы,
у ветра крепкие губы!»
<...>

Для поэта важен прямой, «неформальный», или неакадемический путь обретения знания/постижения истины, на котором медитация или прогулка по лесу значат больше, чем чтение книги (это, впрочем, не означает, что прогулка по лесу требует меньшего сосредоточения). Поэтому, очевидно, простота, которой всегда очень трудно добиться средствами литературы, Дмитрию Григорьеву дается так легко, и его стихи воспринимаются если не как откровение, то просто как правда, потому что так оно все и было: по реке плыла скамеечка, на которой сидели мальчишки из чистого стекла, и собака вычесывала из шерсти солнечные лучи, и вороны,

сидевшие на проводах, обменивались новостями, вырезая свои голоса из ветра, а кроты рыли норы до самого центра земли. Нужно заметить, что проза Григорьева в этом смысле уступает поэзии, и «Птичью псалтырь» можно сравнить разве что с романом-странствием «Господин Ветер», который довольно точно передает обаяние устных рассказов автора.

Башмаки мои продырявились,
И один все время слетает —
лучше я перейду эту лужу,
этот перекресток,
эту жизнь
босиком.

Несмотря на то, что в книге собраны тексты с 1981 года по 2015-й, то есть более чем за тридцать лет, «Птичья псалтырь» получилась цельной, как если бы была задумана и написана как единая книга. В названии, по всей видимости, не следует искать религиозного смысла, если только не рассматривать прямой путь постижения/знания — как путь апостола Павла, которого Дмитрий Григорьев периодически упоминает в качестве примера человека, пришедшего к Богу непосредственно, «напрямую», а не через следование учению, но и в этом случае поиск аллюзий и подтекстов может увести слишком в сторону от предмета. Достаточно того, что «птичья псалтырь» упоминается в одном из стихотворений («...а мы все ждем псалтырь птичью, / где царь Соломон — сова, // где на солнечный луч нанизаны / золотые строки крылатого льва...») и олицетворяет собой противоположность автоматическому бытию человека, заключенного между домашним бытом, работой, походами в супермаркет и телевизионными новостями. Здесь можно было бы добавить очевидное, что язык птиц — это в самых разных традициях язык ангелов («И вот мне снится: / прилетели ангелы или птицы, / курлы-курлы — говорят о чем-то на крыше, / один только я их слышу...»), однако, несмотря на большое количество христианских символов, поэтический мир Дмитрия Григорьева представляется скорее гимном природе, и Бог в нем больше сродни языческому Пану или Дионису, нежели Богу христианскому. Это относится не столько непосредственно к религии, сколько к мироощущению: в каком-то смысле «Птичью псалтырь» можно назвать «евангелием для зверей и птиц», поэтической утопией обновленного, возвращенного к изначальной гармонии мира, в котором человек не отсутствует, но еще не изгнан из Эдемского сада — еще не вкусил от древа познания добра и зла и не стал отдельным от мира, а животные, птицы, да и все предметы наделены душой и разумом.

Ребенок кричит,
словно в нем поселилась чайка,
у дедушки в ухе дятел стучит,
у девушки на голове кукушка.
То ли птицы людьми заболели,
то ли люди — птицами,
не поможет Айболит
от птиц отцепиться <...>

Простота, фрагментарность (большинство стихотворений больше напоминают карандашные наброски, нежели законченные картины) и вместе с тем эпичность, религиозная торжественность стихов Григорьева сближают его тексты с американской литературной традицией: как поэтической (Уолт Уитмен, Эдвард Эстлин Каммингс, Сильвия Плат), так и прозаической (в первую очередь это Джером Дэвид Сэлинджер, Джек Керуак и в целом — писатели бит-поколения), а также с культурой рок-н-ролла (в «Птичьей псалтыри» можно встретить строчки из песен The Beatles, The Animals, The Rolling Stones и других групп, стоявших у истоков жанра). Однако проводить какие-то точные литературные параллели: эпичность — от Уитмена, наивность и фрагментарность — от Каммингса, оживающие предметы — от Сильвии Плат (например, «дикое окно» у Григорьева и одичавшая машина, сожравшая одеяло, в стихотворении «Экскурсия» у Плат), и так далее кажется излишним: это не столько заимствование на уровне текста, сколько сходная манера чувствования и переживания действительности.

Вот и большие черновики в колючках чертополоха,
 в крапиве и лебеде,
 и маленькие беловики,
 в которых белым-бело,
 и стройные краснояки, бегущие своей красы,
 и кровавые красняки, заходящие солнцем над бездною,
 и зеленояки, расширенные зеляки-зенки,
 и зеленыки, конечно же, полные гусениц и травы,
 и желтяки, подобные отмели неба,
 и фиолетовяки, следы, разбросанные по белому полю,
 где летом — колючки чертополоха,
 крапива и лебеда...

«Птичья псалтырь» на сегодняшний день — наиболее полное собрание стихов Дмитрия Григорьева, которые остаются не столько даже недооцененными, сколько недовоспринятыми в русскоязычном литературном пространстве. Основная причина этого, как мне видится, заключается именно в их простоте, в которую тем не менее необходимо внимательно вчитываться, и в неукорененности в русскоязычной традиции, отчасти даже билингвальности: в переводе на английский или вообще на другой язык эти стихи звучали бы вполне органично, поскольку сами напоминают переводы с других языков — возможно, чтобы в полной мере прочитать их, нужно собрать дорожную сумку, взять билет на поезд дальнего следования и, оказавшись вдали от всего привычного, рассматривая незнакомые ландшафты и слушая незнакомую речь, доставать из сумки «Птичью псалтырь» и прочитывать между делом одно-два стихотворения.

Санкт-Петербург

Анаит ГРИГОРЯН



ПОИСК НЕУТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

Александр Гаррос. Непереводаемая игра слов. М., «АСТ», 2016, 544 стр.
 («Уроки чтения»).

Первое, что следует сказать о «Непереводаемой игре слов» журналиста и писателя Александра Гарроса: это, безусловно, книга, а не сборник. Книга своеобразных эссеистических повествований — о «неспешности» Алексея Германа, о Захаре Прилепине, о киномагнате и продюсере Александре Роднянском. Повествований, дополненных отдельными статьями. В центре каждого рассказа — интервью, прямая речь «персонажа», но также и прямая речь рассказчика в диалоге с персонажем, отличающаяся от прямой речи рассказчика же как повествователя. Журналиста Гарроса в этой книге занимают прежде всего связи продуцируемых произведений его «персонажей» с реальностью, в том числе — в процессе самого продуцирования. Стилиста Гарроса занимает монтаж разных манер повествования, «авторской» речи.

Сначала может показаться, что материалы, посвященные Роднянскому и Герману, идут в книге блоками эссе. Но на деле каждый блок — поделенная на главы новелла, вернее — рассказ. В русском рассказе новеллистичность сочетается с медитативностью и сентенциями, порождаемыми ею. Сентенции «рассказчика» и реплики интервью — несущие структуры рассказов у Гарроса.

Эти рассказы Гарроса — не новеллы, в отличие от ряда аналогичных по форме новелл Э. Лимонова, где противопоставлены рассказчик и его контрагент, главный персонаж («Красавица, вдохновлявшая поэта», «On the Wild Side», «Интервью с редактором»). И даже не потому, что они эссеистичны, — после Кундеры эссеистичность вряд ли вменится в вину какому-либо литературному жанру. И не потому или не столько потому, что в них отсутствует эксплицитная коллизия персонажей (например, ключевых — собственно главного персонажа и рассказчика). Более всего потому, что пружина новеллы, основа ее сюжетной формы — связь между двумя

событиями. Либо повторяется событие, которое не должно повториться, либо не повторяется событие, которое повториться должно (И. П. Смирнов). Новелла — размыкание горизонта ожиданий, размыкание формальной логики посредством логики художественной. Замкнутость в историографическом письме, задача которого — резюмирующая информативность и в то же время подчиненность письма внешней для него общей истории, — вот что отличает более всего «рассказы» Гарроса от литературных.

При этом нельзя сказать, чтобы в своих рассказах-эссе Гаррос не стремился к эпичности. Но эпичность он понимает как обрастание текста декоративными подробностями. Журналистский слог — это то самое послефлоберовское «буржуазное письмо», которое настойчиво свидетельствует о своей литературности — согласно успевшей состариться статье Ролана Барта «Нулевая степень письма». Украшенность литературностью, согласно тогдашнему Барту, понимается как ценность этого слога, как эквивалент труда, вложенного в производство текста. Потом Барт ушел от концепции орнаментики, показав (например, в «S/Z»), что фигуральный, «украшенный» язык — носитель кодов как раз благодаря узору литературных приемов, создатель полисемии. Но иногда орнаментика остается все же орнаментикой, и это нельзя отрицать с позиций здравого смысла. «Украшенная» манера Гарроса, казалось бы, — орнаментальна. Однако все сложнее.

У Гарроса литературная «украшенность» уравнивается вовлечением бытовой, столично-жаргонной речи. В этом особый шик, но есть и проблема: и литературность, и «живая» речь остраиваются, подчеркивают искусственность друг друга в пределах их сочетания. Живая речь уже не живая, когда рядом с «козырным баром» возникает «город с его спрятанным под гранитный сюртук, глухо застегнутым на золоченые остзейские пуговицы маниакально-депрессивным болотом». Интонация, оправдывающая проникновение речи, утрачивается. А литературность становится еще более литературной, подчеркнута сделанной, изящной. В их взаимном смещении возникает третья интонация, не речевая и не литературная, а интонация человека, владеющего письмом изящной словесности и играющего с ним как со стилизацией.

И когда дело доходит до «серьезного разговора», арабески плетения словес удаляются, как если бы им была присуща именно декоративность. Совершенно иначе происходит в литературе. Прямое высказывание, с одной стороны, та самая «нулевая степень письма», давно осознанная как прием, — и «маньеризм», с другой стороны, в литературе не только формальные средства; это сама реализация сквозной мысли, чье содержание стремится совпасть с языковым приемом *verbatim* — «дословно». Конечно, и тут существует украшенное «буржуазное письмо», но не в нем заключается пресловутая «эстетическая функция языка», характеризующая литературу в ее трудном поиске индивидуальных манер, выражающих каждая — многозначность мысли.

Когда Гаррос переходит к изложению биографических фактов, его стилистика становится достаточно сухой, лишь изредка прибегающей к метафоре, информативной. Сама «эссеистичность» здесь — журналистская, несколько цинично-бесстрастная, апеллирующая не к литературным контекстам, а к клише медиа и массовой культуры, пошедшим в народ и из народа же возвратившимся. Разница между тремя способами повествования — художественной описательностью, диалогом и биографическим резюме — кажется свидетельством нелитературности очерков Гарроса, отказа от свойственного литературе взаимопроникновения этих компонентов. Быстрая смена регистров доставляет удовольствие, но при условии, что все три компонента рассматриваются читателем как приемлемые.

Однако стоит, из презумпции доверия к автору, предположить, что осколочность такого полистилизма имеет все же мотивирующий смысл. Почему перед нами книга, а не сборник эссе? Отчетливо просматривается идея волевого, сильного индивида, побеждающего обстоятельства; индивида, который сам создает обстоятельства. То, что называется «состоявшейся личностью». Это, однако, не нищестанство. У героев Александра Гарроса нет трагического измерения, как нет и гносеологического. Они монументальны, но, в трактовке автора, их монументальность измеряется успехом. А значит, они лишены и *amor fati*, «любви к року», более того — фатум и вовсе не артикулируется, сводится к смене политических режимов и экономическим неурядицам. Поэтому они, кстати, и не набоковские «одинокое короли». Это об отсутствии трагического измерения. Что касается гносеологического, то эти герои не сокрушают молотом познания старые ценности, ценности «толпы»,

и те предрассудки, на которых обрюзгшие, раздобревшие истины покоятся. Скорее, они творчески приравниваются к тому, что может предоставить им эпоха, — от конкретных современников до наличных истин, хотя бы и занимали критическую позицию, сохраняли привилегию быть собой и себе на уме, в своей уникальности. Именно приравнивание, нахождение «ниши» позволяет побеждать обстоятельства и самому создавать таковые. Я не говорю о реальном, скажем, Алексее Германе, я говорю о Германе-персонаже.

Несомненно, есть у Гарроса обоснованное притязание на «аристократию таланта», включающую и его тематических персонажей, и Гарроса-рассказчика. Но принадлежность к аристократии таланта ни к чему, по сути, не обязывает и ничего не объясняет. Талант не всегда найдет себе дорогу. Талант не всегда судьба. Пушкинская проблема гения и злодейства тоже не в чистом поле поставлена.

Другая сквозная тема открыто развернута в одной из статей-аппендиксов, прилегающих к эссеистическому блоку, — «Код обмана». Тема вкратце равна утверждению: в культурном отношении 91-го года не было. Т. е. не то что не было «огромного, неуклюжего скрипучего поворота руля», изменения культурной розы ветров. Но не было знакового произведения массовой или немассовой культуры, которое отметило бы собой «разрыв», а «значимое отсутствие» такого произведения создает иллюзию преемственности. И в самом деле: режиссер-документалист Роднянский продолжил работать в кино, стал магнатом-продюсером, Герман снимает как снимал, а что касается Прилепина — то известно его равнодушное отношение к советской культуре, к Леониду Леонову, например. И к Леонову не только «Вора» и «Соти», но и «Русского леса».

Дело, как мне представляется, в том, что не всякое событие может получить художественную интерпретацию непосредственно после своего завершения. Роман «Девяносто третий год» Гюго (1874), посвященный якобинской диктатуре, был написан с опозданием более чем в три четверти века. «Война и мир» тоже опоздала на полстолетия, о чем говорит предприниматель Павел Рабин, цитируемый Гарросом, и о чем говорит также цитируемый Дмитрий Быков. Новый исторический опыт, как представляется мне, поначалу всегда находит эстетическое оформление в аллегории, в ряде уподоблений уже имеющемуся в культуре, поскольку конгениального языка для нового как такового еще нет. 1917 год, например, получил первое достойное оформление в антиутопических текстах Е. Замятина и Е. Зозули, т. е. в аллегориях. Вторая мировая — в «Чуме» и «Калигуле» Альбера Камю, созданным «по свежим следам», но тоже иносказательных. Более того, из слов Быкова можно сделать следующее и вполне, как мне кажется, справедливое заключение: чтобы сказать о 91-м годе, нужна целостная художественная оценка всего советского периода, поскольку скорее его окончание, чем начало нового периода и нового опыта ознаменовано этой датой. Эта оценка должна быть «неангажированной», как говорит Гарросу Быков, а я бы предпочел сказать, что она должна быть произведена из такой советологической точки обзора, где «логос» превалирует над «Советами». Где словом-оператором будет не только «да, но...», но и «дано». Хотя термин «неангажированность» тоже по-своему уместен. Ведь есть не только подлинное осознание значимости разрыва, есть и миф о девяносто первом годе, миф амбивалентный, на что Гаррос и указал.

Реальные культурные изменения заключались в отбрасывании советской буфалии, внешней советской конформности; в воздействии «возвращенной» литературы — эмигрантской, вытесненной пореволюционной (Николай Гумилев, обериуты, Андрей Платонов и т. д.), советской неподцензурной, зарубежной. То есть закончился изоляционистский период исключения, когда книга, художественная или документальная, и в целом творчество автора, распознанные как несоветские, антисоветские либо самим автором, либо блюющими органами, становились исключенными, запретными, если не вообще для упоминания, то для открытого обсуждения (а не литературоведческого шельмования, с которым, кстати, и после 1991 — 1993 годов дела обстояли не лучшим образом). Так же происходило с доступностью живописи и кино. Я думаю, многим памятна гигантская полусуточная очередь на первую выставку Ильи Глазунова: сейчас эта очередь вспоминается, конечно, в своем диалектическом единстве с очередью в первый «Макдональдс», кстати, не такой длинной.

Если учитывать этот культурный фактор, то разрыв нужно размещать не в точке поворота, не в коротком годовом или даже полугодовом решающем промежутке политического сдвига, а по меньшей мере в тридцатилетнем накапливании измене-

ний, начавшемся в позднесоветское время. И не совсем понятно, закончилось ли за эти годы то, что начало заканчиваться, и началось ли то, что уже не перестает начинаться, перефразируя Томаса Манна. Александра Гарроса больше интересовал второй вопрос. И действительно, накопление изменений должно однажды предстать как разрыв, как начало нового, а не простое отрицание старого, по мысли Мишеля Фуко («Археология знаний»). Но осознается ли уже, при реальности культурных, «ментальных» изменений, их сумма как такой разрыв, как принципиально новая форма опыта, противопоставляемая старой? Может быть, и нет. С этой точки зрения, например, смотрел на дело в 2002 году Михаил Рыклин («Пространства ликования. Тоталитаризм и различие»). Но возможны и другие ответы. Тогда странно, что, например, соловьевская трилогия («Асса» — «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» — «Дом под звездным небом») не упомянута Александром Гарросом как возможный монумент разрыва, как «1991 год в культуре». Или «Омон Ра» Виктора Пелевина, в котором советский космос, при всей двусмысленности такого словосочетания, предстает инсценировкой, иллюзией (1992). Вероятно, это связано с установкой Гарроса на проявление нового, которое у Сергея Соловьева и Пелевина не «прописано», в отличие от крушения старого, — однако, как мы уже сказали, у разрыва всегда две стороны.

Но из сказанного следует парадоксально то, что «девяносто первый» в своей культурной манифестации случился раньше хронологического 1991-го. Стоит назвать провидческую, хотя и ироническую антиутопию Владимира Войновича «Москва 2042» (1986). Трилогия Соловьева снята в 1987 — 1991 годах. Пародийная апокалиптика романа Евгения Комарницкого и Георгия Шепелева «Эныч» отмечена еще более ранней датой: 1980 годом. В художественной «советологии» Войновича, Соловьева, Венедикта Ерофеева, Комарницкого и Шепелева и других авторов соцреалистический строй демонтирован, как обреченный. Вопрос теперь не в том, какие формы опыта были отвергнуты и как происходило отвержение, а в том, какие формы опыта пришли, к каким новшествам и к какой тональности новшеств обращен 91-й год. Ища ответа у фигур медийных, знаковых фигур современности (Леонид Юзефович, Леонид Парфенов, Дмитрий Быков), как поступал Гаррос, может быть, труднее всего уловить массовые сдвиги, вызванные капитализацией изменений и до 1991-го, и после него. Ведь в ритме интервью подобные видные респонденты стремятся дать закругленную и удобопонятную формулировку тому, что происходит помимо них (не на уровне «медийной» репрезентации) и, скорее всего, еще не поддается короткому и удобопонятному изъяснению для нужд общественности, а то и не нуждается в нем.

Я не пытаюсь полемизировать с Александром Гарросом, я лишь раскрываю смысл статьи «Код обмана» для композиции книги, для ее центральной темы и при этом стараюсь подчеркнуть важность и обозначить подоплеку заданного вопроса. И кажется весьма небезосновательным предположение, что именно поиском нового, стремлением раскрыть это новое во плоти, не только в качестве «постсоветского», но и в собственном, независимом качестве, обусловлены выбор «персонажей» книги и их трактовка. А тогда выявляется и «означающее» изящного письма Гарроса, его нарочитой фрагментарной литературности. Эта стилизация указывает более всего на такие образчики, как письмо Владимира Набокова и Саши Соколова, то есть внесоветские писательские манеры, которые стали известны читателю именно в «новое время». Манеры писателей, в судьбах и в слоге которых, связующих Россию и Запад, «железный занавес» изоляционизма не то что бы пал гораздо раньше Берлинской стены — его, в сущности, и не было.

Александр МУРАШОВ

От редакции: Когда готовился этот материал, Александра Гарроса, прекрасного писателя; человека, которого любили даже не знакомые с ним лично люди, не стало. Тем не менее мы решили не менять в тексте настоящее время на прошедшее. Эта рецензия — не некролог, а размышления, спровоцированные текстом.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ВЛАДИМИРА КОРКУНОВА

Сегодня свою десятку книг представляет московский критик и литературный обозреватель.

Александр Хорт. Радости и страдания Николая Эрдмана. М., «Б.С.Г.-Пресс», 2015, 528 стр.

Имя драматурга и сценариста Николая Эрдмана (1900 — 1970) для современников обладало и статусом и весом. Вынужденно — после запрета на постановку «Самоубийцы» и пересмотренного отношения к «Мандату» — стал не вполне искренним советским автором (а иначе не смог бы работать сценаристом в СССР).

Монография Александра Хорта вновь актуализирует имя драматурга. Но назвать ее — как заявлено — биографическим «и даже историческим» исследованием нельзя. «Радости и страдания Николая Эрдмана» — скорее творческая биография. Отсюда скрупулезное внимание к созданию и «прохождению по инстанциям» рукописей Эрдмана, щедро разбавленный цитатами пересказ сценариев etc.

Жизнеописание намеренно пунктирно — Хорту важнее выявить некую парадигму в текстах Эрдмана (например, «королевская» или «лошадиная» темы), чем сосредоточиться на ключевых биографемах и «белых пятнах». (К примеру, о первой жене драматурга сказано в соответствующих хронологии главах, а о второй и третьей узнаем в самом конце — когда Хорт подводит итоги.)

Отсюда и некоторая полистилистика книги, где словосочетания наподобие «культурологический фурор» соседствуют с просторечиями («пошло-поехало») и оценочными эпитетами («феерический», «великолепный») и т. п.

Впрочем, отчасти именно за эту «легкую манеру» и хвалит книгу Хорта Павел Басинский¹, упоминая среди ее достоинств еще и список литературы. Тем не менее для фундаментального исследования список этот неполон — ссылки на источники Хорт приводит даже не через раз; порой трудно разобраться, цитата перед нами или авторский домысел.

Увлеченность Хорта своим героем очаровательна, но делу вредит. Автор (известный сатирик) то теряет дистанцию в отношении Эрдмана, то додумывает за персонажа диалоги («— Если они согласятся, то вы будете снимать такой фильм? / — В принципе, я уже ангажирован...»), то отступает от темы. Но эта же увлеченность помогает Хорту следовать за драматургом-поводырем по его творческому пути, отыскивать малоизвестные тексты или факты². Попутно автор исправляет ошибки мемуаристов, привлекает свидетельства о малоизученном «тверском» периоде Эрдмана; то есть делает много другой малозаметной, но важной для будущих исследователей работы.

Олег Лекманов. Осип Мандельштам: ворованный воздух. М., «АСТ», 2016, 464 стр.

«Ворованный воздух» — очередное переиздание первой написанной в России биографии Мандельштама. По словам автора, книга «обновлена на треть». И хотя дополнений немало (например, анализ «Оды» Сталину или расширенное описание «Египетской марки»), Лекманов скорее уточнил и отредактировал текст. А некоторые фрагменты (например, описание одного из «савеловских» стихотворений О. М. или выборку из заголовков «Правды» 1930 г.) — и вовсе купировал. И хотя некоторых сюжетов не хватает³, «Ворованный воздух» — на сегодняшний день наиболее полное и академически выверенное жизнеописание поэта.

¹ «Российская газета», 2016, 28 января.

² Например, эпизод с удовлетворенным иском Минкульта РСФСР — о возвращении аванса в 7950 рублей. Драматург обязался написать для ведомства «Самоубийцу» (написать написанное!), но экземпляр пьесы чиновникам так и не предоставил.

³ В частности, о найденных Эммой Герштейн и Сергеем Рудаковым последних стихотворениях Мандельштама.

Претензии критиков, связанные с *сухостью изложения* и *отсутствием внятной авторской позиции* (см. авторское предисловие к данному изданию), — нивелируются методологически. Автор отстраняется от героя, анализируя, но не оценивая жизненные перипетии О. М., поскольку «<с>удьба Мандельштама настолько драматична, что вносить еще и дополнительную „лирическую нотку“ <...> кажется нестерпимой пошлостью и дурным тоном».

В первых главах Лекманов отвечает на вопрос о генезисе поэтики Мандельштама; затем переходит к мировоззренческому сдвигу поэта, связанному с утратой иллюзий относительно советского строя. (В частности, О. М. первым из современников выступил с анти-сталинской эпитаграммой — «Мы живем, под собою не чуя страны...») Анализируются, объединяясь, «внешняя» и «внутренняя» стороны биографии: судьба и поэтика органично дополняют друг друга.

Не спекулируя хрестоматийными образами «поэта-чудака» и «поэта-рыцаря», автор, по возможности не прибегая к оценочности, предпочитает дать слово непосредственным участникам событий (которые *рядом стояли*). Так, в случае с «Тилем Уленшпигелем»⁴ Лекманов попеременно приводит позиции сторон конфликта, а заканчивает текстологическим анализом редакторских методов Мандельштама. Попутно биограф опровергает уже ставшие привычными мифы. В частности, это касается случая с (не)сдачей экзамена по латыни. Вначале приводится беллетризованная версия Каверина, затем Лекманов опровергает ее описанием эпизода из дневника Сергея Каблукова.

Небольшая географическая неточность закралась в «савеловские» страницы биографии. Лекманов пишет: «В описываемый период (лето-осень 1937 г.) Мандельштамы уже больше двух недель жили в приволжском городке Савелове». Правильно говорить: Кимры. Деревня (не городок!) Савелово тремя годами ранее вошла в состав города⁵ — вместе с другими поселениями правобережья Волги. Разумеется, местные жители — в пику «географической реформе» — еще не одно десятилетие называли себя жителями несуществующего населенного пункта. Так, *поселок Савелово* попал и в воспоминания Надежды Мандельштам, и в дальнейшие исследования.

Юрий Бит-Юнан, Давид Фельдман. Василий Гроссман в зеркале литературных интриг. М., «Форум», «Неолит», 2016, 368 стр.

Реконструкция биографии одного из наиболее известных *советских* писателей XX века. Юрий Бит-Юнан и Давид Фельдман демифологизируют образ Гроссмана, корректируя устоявшиеся представления о его нонконформизме, и занимают, едва ли не впервые, академически-нейтральную позицию (впрочем, не скрывая любви к своему герою).

И хотя авторы реконструируют многие неизвестные страницы биографии Гроссмана, работу нельзя считать исчерпывающей. В ряде случаев из-за нехватки материала Бит-Юнан и Фельдман прибегают к интуитивным предположениям (например, когда рассказывают о гроссмановских университетах или работе по распределению в Донбассе). В остальном методология сродни лекмановской — авторы добавляют в исследование голоса современников, привлекают всевозможные свидетельства и анализируют критическую рецепцию.

Особое внимание биографы уделяют пробуждению в Гроссмане литературного дара. Изучаются и подвиги в мировоззрении, в частности, Бит-Юнана и Фельдмана интересуют, сколь долго Гроссман оставался советским, а следовательно, не вполне искренним писателем (авторы уверяют: к моменту Сталинградской битвы он утратил иллюзии относительно режима). Несколько параграфов посвящены несчастлившемуся аресту писателя — хотя им, что называется, интересовались.

Корректируются и свидетельства мемуаристов. В частности, Семена Липкина, который поддерживал образ Гроссмана-нонконформиста (Липкин упоминает о не-

⁴ Мандельштам свел воедино и отредактировал два перевода романа де Костера, однако из-за попустительства издателя был назван не редактором, а переводчиком. Это стало причиной полемики между О. М., автором одного из переводов Аркадием Горнфельдом и их сторонниками.

⁵ См.: Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР, 20 авг. 1934, № 313, ст. 185, с. 246.

гитивном отзыве Горького на повесть Гроссмана «Глюкауф», а о том, что «буревестник революции» был одно время творческим наставником Гроссмана и что повесть «Глюкауф» подверглась переработке именно после разбора ее Горьким, — умалчивает и т. п.).

Непосредственно интриги в полной мере разворачиваются лишь во второй половине исследования. Гроссман становится разменной монетой в интригах ССП и агитпропа — речь и о претензиях на Сталинские премии, и о критическом благодушии etc. Под покровительством «писательского министра» Фадеева он становится одним из претендентов на роль «красного Толстого» — создателя советского романа-эпопеи (которым обещал стать недописанный «Степан Кольчугин»).

Завершает книгу история прохождения в «Новом мире» рукописи романа «За правое дело» («Жизнь и судьба» — вторая часть дилогии). Причем детективный элемент, как отметила Ольга Балла⁶, содержится уже в самой подаче материала. В начале Бит-Юнан и Фельдман приводят свидетельства Липкина (цель которых — показать, как сильно советская власть притесняла писателя), которые последовательно опровергаются... дневником Гроссмана.

Жизнеописание доходит до 1955 года, а значит, история, связанная с конфискацией «Жизни и судьбы» (о ней конспективно сказано в предисловии), — и рассказ о дальнейших литературных и политических интригах — откладываются до следующих книг⁷.

Андрей Тавров. Державин. М., «Русский Гулливер», 2016, 72 стр.

«Державин» Андрея Таврова, как, впрочем, и другие его книги (независимо от жанра), ориентирован на читателя-соавтора. И если представить книгу сгустком энергии, то «Державин» становится местом силы — с внутренней логикой, историей и формирующей ее мифологией.

В аннотации утверждается, что поэзия Таврова, «наследуя традиции державинского интереса к вечности, судьбе и времени, показывает, что более глубокие соприкосновения с этими главными темами жизни доступны больше поэзии, чем философии». Центром притяжения здесь становится стихотворение-воронка Державина «Река времен в своем стремлении...» — поискам ускользающей и вновь обретаемой жизни (своеобразного поэтического Уробороса) и посвящены опыты Таврова.

Внутренний сюжет и пафос книги этим не ограничиваются. Нынешний *Державин* — это мир, идущий от изначального Слова к <малому> Апокалипсису. Через очистительную — как стадия катарсиса — Голгофу. Апокалипсис возможен именно после *лобного места*, ставшего, по Аверинцеву, смыслообразующим центром истории, которая потекла от него в две стороны. (Тавров утверждает возможность искусства после Голгофы — этакого вневременного и локального Холокоста.)

Своеобразна визуальность этой поэзии. Образы настолько плотны, что, теряя в реконструируемом image, — обретают в тактильности. Именно в этом смысле можно согласиться с утверждением Марианны Ионовой (самого внимательного, на мой взгляд, читателя Таврова) о том, что стихи поэта «не зрелищны»⁸. Это, конечно, не державинская «говорящая живопись», здесь смысл накладывается на *ощущение* («Так огонь ощупывает сам себя, забираясь пламенем за свой / затылок, языками между своих ног») и достигает полноты (со)чувственного — перефразирую Сартра — обладания.

Как отметила Ольга Балла, собственная образность Таврова претендует на то, «чтобы выйти за пределы персональных смыслов»⁹. То есть становится философской системой. С важным, на мой взгляд, уточнением: философ в поэтике Таврова синонимичен пророку. Поэт же — мерило всему, а значит, *Создатель*, созидающий мир из энергии, которую черпает из *безусловного* («И слух мой разросся, как грибная поляна по лужайке моего тела. И я слышал тебя теменем и ступней, ртом

⁶ «Еврейская панорама», 2016, № 11.

⁷ Вторая уже вышла: «Василий Гроссман: литературная биография в историко-политическом контексте» (М., «Неолит», 2016). Третья — на подходе.

⁸ «Литература», 2014, № 20.

⁹ «Воздух», 2016, № 2.

и бедрами, всей поверхностью своего божества, своего сияния, своей кожи, пронизанной капиллярами с гранатовым соком бессмертия в них. Окружая тебя, внутри тебя я был. / И я понял, что до этого не был я богом»).

Павел Лукьянов. Turistia. М., «Воймега», 2016, 64 стр.

«Turistia» — это и поиск дома, и макросюжет о путешествиях — как от себя к себе, так и между странами. Последнее иронично — Лукьянов в рабочих/научных поездках бывал чаще, чем в туристических¹⁰.

Очевидна и мандельштамовски-овидиевская нотка. «Скорбные элегии», впрочем, скорее *заявлены*, чем *реализованы* в тексте. И если alter ego автора печалится о чем-то, то — о глобальном не(до)понимании. Оттого и деформируются слова и цитаты, а на остатках культурной инерции вырастают искаженные иронизмом постройки.

В качестве стррофостроительных материалов Лукьянов использует аллюзии деконструктивистского толка: «хорошо что есть там где нас нет», «здесь на неправильной дорожке / следы неправильных людей», «да, были юры в наше время», «на сердце танки грохотали» etc. Только апеллируют они не к искусству, а к — позволю самоцитату — «узнаваемости и удовлетворению потребностей адресата в ироническом контексте»¹¹.

Ответ на резонный вопрос: ищет ли автор новые смыслы? — рецензенты находят в итоговом согласии слов и созвучий¹². Это верно наполовину. Лукьянов, смешивая в одном флаконе иронизм, метаметафоризм и элементы акмеизма, намеренно *нетекстостроителен*.

Туристами в этой поэтике становятся скорее слова, чем их автор.

Поэзия для Лукьянова отчасти — перформанс, только выраженный метрически. Аллюзии/лингвистические игры накладываются то на заумь («человеческие лыжи / непостижимы»), то на сетенатурную эффектность («здесь каждый пес надежду гложет»), однако — в отличие от «мультимедийных» текстов — эти игры эффективны; иными словами, работают на текст. Лукьянов осознанно потешается над традицией, то разрушая образ («косые скулы студня»), то (вос)создавая его («лежала / земля сырая на сносях»).

Лукьянов крайне последовательно¹³ пытается извлечь из игры в искусство — искусство. Вопрос в том, есть ли у этого метода (поэзия-перформанс) перспективы и что, собственно, в таком случае этими перспективами считать.

Наринэ Абгарян. С неба упали три яблока. М., «АСТ», 2015, 320 стр.

Наринэ Абгарян. Зулали. М., «АСТ», 2017, 320 стр.

Сергей Костырко как-то отметил: «армянская проза, написанная по-русски»¹⁴. Всею несколько слов, а сказано главное. Соль в том, что «русская проза по-русски», все эти «городские» рассказы-анекдоты, случаи из жизни автора etc.¹⁵ у Абгарян не то чтобы несостоятельны — необязательны. А вот «армянские сюжеты», в которых за внешней легкостью прочитываются неоднозначные страницы истории, — незаурядны.

Старикам Марана — умирающей горной деревушки — посвящен роман «С неба упали три яблока». Это одна большая метафора бессмертия: на первых страницах 57-летняя (самая юная!) маранка Анатолия ложится умирать; ближе к последним — рождает первенца.

Жизнеутверждающим пафосом дело не ограничивается. Автор «Манюни», которая только к роману «Люди, которые всегда со мной» (2014) окончательно откалалась от письма «для детей» (до этого стиль и нарратив конфликтовали), поме-

¹⁰ В частности, в Барселоне строил синхротрон, в Женеве участвовал в космическом проекте и т. д.

¹¹ «Воздух», 2016, № 3-4.

¹² Чкони я Д. Выдыхая стихи. — «Эмигрантская лира», 2016, № 4.

¹³ От книги к книге. Ранее у Лукьянова вышли два сборника: «Мальчик шел по тротуару, а потом его не стало» (2008) и «бред брат» (2013).

¹⁴ Костырко С. Книги. — «Новый мир», 2016, № 4.

¹⁵ Эта же симптоматика и в раннем романе Абгарян «Понаехавшая» (2011).

щает сюжет в трагические геополитические декорации — в воспоминаниях жителей Марана не только оползень, наполовину опустошивший деревню, но и, например, Карабахский конфликт.

«Зулали» определяют заглавный рассказ (давший название книге) и следующий за ним «Салон красоты „Пери“». Первый отдает фолкнеровским «Шумом и яростью»; мозаичная картина, складывающаяся из разных взглядов на одни и те же события, в том числе и от лица «дурочки» Зулали. Только здесь *специального* героя не стыдятся — опекают. Абгарян насыщает текст драматизмом: гибель матери и братьев при пожаре психологически калечат маленькую Зулали; выросши, она становится жертвой насилия, после чего вешается ее отец.

«Салон красоты „Пери“» — тоже драматичная, но более прямолинейная история. О деревенской сердцеедке Назели, которая вернулась на родину после фиаско в большом городе. Как итог: новая-старая среда ее отторгает, что в очередной раз подтверждает пословицу об одной и той же реке. Только сделано это эстетски: я бы сказал, обаятельно.

Формула прозы по Абгарян такова: персонажи с выразительными армянскими фамилиями¹⁶; почти не тронутые цивилизацией места; три «н»: неназойливый юмор, необременительная философия¹⁷, ненарочитая психология¹⁸. Образный, располагающий к себе язык¹⁹ (с обязательными инъекциями местных легенд, обычаев и верований) — этакие установки Ли Кокерелла от литературы. И, собственно, сюжет, фоном которому армянская действительность последних десятилетий со всеми вытекающими: война, гастарбайтерство, увядание провинции.

Про остальные рассказы (среди которых выделим «Мачучу», «Хаддум», «Бегонию», «Шаракан», циклы «Война» и «Берд») сказано выше. Добавлю, что проходящий через многие тексты Абгарян конфликт города и деревни предсказуемо решается в пользу последней. Тут все просто: деревенские тексты — это литература, а большая часть городских — скорее продолжение блогерской²⁰ игры в нее.

Новая Юность. Избранное — 2015. М., Издательский центр «Новая Юность», 2016, 336 стр.

Бумажное воплощение «Новой Юности» — выборка текстов, опубликованных в журнале в 2015 году. Больше всего книжка напоминает отдельный номер журнала с субъективными неудачами (в основном это «свадебногенеральские» публикации) и объективными достоинствами. Актуальный срез — соглашусь с Алексеем Александровым²¹ — современной (не только отечественной) литературы. Сосредоточусь — за невозможностью рассказать обо всех — на некоторых именах.

Михаил Бару продолжает создавать поэтические миниатюры по принципу «красивой, изящной и немного грустной игры»²². Запиши их в столбик и без знаков — получится верлибр, причем не из худших: «оттепель / дерево наклонилось навстречу / стремительно несущимся ключьям сырого ветра / и машет изо всех сил ветками/ остекленевшими от ледяного дождя / черными листьями / десятком взъерошенных синиц/ и одной вороной / пытающейся если и не пройти несколько шагов вперед / то хотя бы устоять на месте». Но и в виде микрорассказов они хороши.

«Переводы» Хелле Хелле — датчанки-минималистки — своеобразный триптих о поиске утерянной эмпатии: затупившемся чувстве сострадания, когда человеческая беда не становится поводом для переживания (1); человеческом теле, которое оказывается лекарством, а не объектом сопонимания и сочувствия (2); попытке вырваться из

¹⁶ Севоянц, Шлапканц, Шалваранц и др.

¹⁷ «...Каждому из нас выпадают одни и те же испытания, и истории у всех одинаковые. Истории одинаковые, а смысл у каждой свой» («Зулали»).

¹⁸ «...Как мало дано нам времени, чтобы прочувствовать прекрасное, и как много нам его отпущено, чтобы о нем тосковать» («Тифлинг»).

¹⁹ «...Деревня неприкаянно болталась, словно пустое коромысло на плече Маниш-кара» («С неба упали три яблока»); «Какой-то бесконечный Оруэлл...» («Тифлинг»).

²⁰ Наринэ Абгарян начинала как блогер.

²¹ «Волга», Саратов, 2016, № 11-12.

²² Бару М. Б. Повесть о двух головах, или Провинциальные записки (М., «Livebook», 2014).

аморфно-равнодушной среды (3). Со *временем* Хелле работает нетривиально. С одной стороны, текст динамичен — обилие глаголов, действие происходит «здесь и сейчас». С другой — меланхолично-отстранен, словно героиня и не осознает, что делает в этом мире среди этих людей, которые когда-то казались родными и понятными.

Стихи немки Хильды Домин намеренно повествовательны (или стали таковыми в переводе-подстрочнике Ала Пантеляты); загадка — не разгадка! — постоянно ускользает от читателя, оставляя чистый штамп лирики: «Птицы, черные плоды / на голых ветках. / Деревья играют со мной в прятки, / я иду среди них, будто среди людей, / которые скрывают свои мысли / и спрашиваю у темных ветвей / их имена». А вот голландец Ингмар Хейтце, потчюя «иронией и жалостью», обращается к онтологической метафоре и — тем самым — искомому новому смыслу: «мои родители превратились в деревья. / Их ноги укоренились в земле. / Их кожа огрубела и стала корой. / Их руки вытянулись до поднебесья / и распустились в крону листьев / Их рты сказали первое / и последнее слово, / растянулись в улыбке / и замерзли в древесных наростах» (перевод Елены Данченко).

В архивном интервью «ровесница века» Эмма Герштейн (1903 — 2002) называет фикцией феномен «ахматовских сирот»: «Раздражает потому, что они воображают — я недавно где-то прочитала, — что у Ахматовой была школа: Найман, Рейн, кто там еще. Вот эти все мальчики. А Ахматова была в таком положении, в таком возрасте, что она была рада любой помощи». (Впрочем, респондент делает исключение для Бродского: у которого с А. А., по Герштейн, был диалог на уровне поэт — поэт.) Что до Надежды Мандельштам, то она «сатанистка настоящая... <...> Ее главная черта — подлость... <...> ей нужна была <...> честь страдалицы».

Фрагмент романа украинца Владимира Ермоленко о Ролане Барте показывает французского интеллектуала и «девиантного гомосексуалиста» с неявного ракурса: страдания, вызванные смертью матери, семиотик пытался претворить в творчестве — «как Пруст, войти в роман, как входят в религию». Очерчен и творческий метод Барта, для которого «писание — это встреча с объектом, конфронтация с объектом, кружение вокруг объекта, желание объекта, магнетическая капитуляция перед объектом».

Обозначу и другие запомнившиеся тексты: авантюрную повесть о движении и времени — *omnia revertitur* — Валерия Бочкова «Бег муравья»; эмигрантскую притчу Василя Махно «Бруклин, 42 улица»; оффтоп-эссе о Людовике XVI Елены Морозовой «Король и революция»; бытописательские заметки Дмитрия Драгилова «Базар-вокзал, или Привычка жить в Берлине» и стихи: Феликса Чечика, Инги Кузнецовой, Ивана Кима, Сергея Трутнева, Михаила Свищева и Рафаэля Мовсесяна.

Основополагающего *художественного* принципа, по которому эти (и другие) тексты оказались в «Избранном», нет. Это заложено в самоопределении «Новой Юности»: множество журналов в одном. Таким образом — если спроецировать этот тезис на сборник, — он становится своеобразной *книжной полкой*, состоящей из нескольких разножанровых микрокниг.

Художественный мир Беллы Ахмадулиной. Сборник статей. Тверь, Издательство Марины Батасовой, 2016, 130 стр.

Сборник, опоздавший на четыре года; издан по итогам первой из двух юбилейных конференций, посвященных памяти поэта. В отличие от «Связи времен»²³, «Художественный мир Беллы Ахмадулиной»²⁴ получил куда меньшую прессу, став сугубо научным событием. В книге — 11 докладов, посвященных особенностям художественного мира, языку и стилю ахмадулинских текстов.

Татьяна Пахарева выявляет лингвоцентрическую парадигму в произведениях поэта, слово у которой — доминанта не только сюжетов, но и поэтики в целом, а претворение предмета в логос и наоборот — один «из ключевых мотивов и ранних, и поздних стихов Ахмадулиной».

Конструированию персональной идентичности Б. А. посвящена статья Татьяны Алешка. Автор показывает, как преодолевается цеховое гендерное неравенство, как

²³ Конференция прошла в Центре эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» ГМИИ им. А. С. Пушкина 28 мая 2012 года.

²⁴ Конференция прошла в Москве 11 апреля 2012 года.

процесс выстраивания творческой идентичности Ахмадулиной связан с контекстом ключевых проблем времени, отталкиваясь от многих распространенных стереотипов о женщине-поэте.

Юрий Орлицкий анализирует особенности метрического (превалирует ямб) и строфического («главная строфа <...> — катрен, причем с перекрестной рифмовкой») строения ахмадулинских текстов; вывод предсказуем: «...новаторство <Ахмадулиной> приходится в основном на другие структурные уровни ее поэзии». В частности, касающиеся «стилистики, интонационной напряженности, а также архаизации лексического и синтаксического строя ее поэзии» — это уже цитата из статьи Олега Федотова, в которой исследуются восьмистишия в строфическом репертуаре поэтессы. Правда, объектом становится отчего-то «Избранное» (1988), а не более полные собрания. Выдвигает автор и не вполне академические предположения: «посвящает» арбатские восьмистишия Б. А. Окуджаве, делает локацией «Описания ночи» захолустную гостиницу «типа „Дома колхозника”» и др. Заканчивается статья о восьмистишиях... анализом ахмадулинских двенадцатистиший и выводом об ослабленном строфическом начале в творчестве поэтессы.

Ирина Скоропанова пытается расшифровать «театральный код» в стихах Б. А. Он, по мнению исследователя, носит не только сквозной, но и — «концептуальный характер». Последнее спорно — на мой взгляд, куда очевиднее тема взаимоотношений со словом, в которую — периферийно — впаяна и театральная тема.

Исследование Ольги Северской посвящено поэтической системе Ахмадулиной и доминирующим в ней образам *слова* и *речи*. Вслед за Пахаревой автор определяет поэзию Б.А. как лингвоцентрическую («осмысленное высказывание о птичьем поэтическом языке»), но доказывает тезис иначе: разбирая слова, выделяя созвучия, корни, обращаясь к истории слов и находя всевозможные — убедительные — связи.

Ирина Остапенко *сквозным* и *концептуальным* в поэтике Ахмадулиной видит пейзажный дискурс. Более того, предлагает «пейзажную» периодизацию творчества Б. А. Есть в этом что-то фанатичное: даже «слово» как первооснова мира — оказывается, взято Ахмадулиной из мира природы.

Статья Владимира и Марины Абашевых²⁵ — о «пермском следе» в ахмадулинских (перекликающихся) стихотворениях: «Слове» (1965) и «Спасе полунощном» (2007), в которых отстраненные представления о Перми (1) смещаются в сторону гетеростереотипного взгляда (2) на локус — благодаря приезду поэта в Пермь и получению реальных, а не общекультурных знаний/впечатлений о городе.

Наталья Блищ анализирует эссе «Возвращение Набокова», в котором Б. А. ищет — и находит — свои (в первую очередь творческие) отражения в текстах Набокова.

Встреча в иноязычном пространстве Ахмадулиной и Бродского — тема статьи Арины Волгиной. Анализируются два печатных/публичных отзыва нобелевского лауреата о Б. А., в конце приводится ахмадулинский «панегирик» (фрагмент интервью) в адрес коллеги: «совершенство гармонии <...> исключительный и великий случай <...> единственной доказательство расцвета русской поэзии» и т. д.

Итожит сборник статья Михаила Павловца об изучении (точнее, практически неизучении) творчества Ахмадулиной в школах. Малое и редкое упоминание имени поэта связывается с неспособностью авторов пособий вписать Б. А. в тот или иной контекст, круг, группу или течение.

Анна Наринская. Не зяблик. Рассказ о себе в заметках и дополнениях. М., «АСТ», «CORPUS», 2016, 288 стр.

«Не зяблик» Наринской — сборник, в котором явления культурной жизни соотносятся с реальными событиями; а книги становятся не только объектом описания, но и поводом для высказывания, причем высказывание это носит подчеркнуто личностный характер. Именно это и позволило Сергею Чупринину, в данном случае выступившему как «критик критики», высказаться в том смысле, что Наринская пишет свое и для своих²⁶.

²⁵ См. также: Абашев Владимир, Абашева Марина. А был ли мальчик из Перми? Литературное расследование. — «Новый мир», 2012, № 10 (*Прим. ред.*).

²⁶ Чупринин С. И. Попутное чтение. — «Знамя», 2016, № 4.

Напомню, что название восходит к упомянутым в мемуарах Горького толстовским словам, что он-де не зяблик, то есть не обязан всю жизнь придерживаться тех же самых идей. Парадоксально, но для Наринской быть «не зябликом» — значит на редкость устойчиво придерживаться избранных установок, разве что иногда смещая акценты; что особенно заметно на примере «дополнений» — переходов между статьями, которые она по-«коммерсантовски» называет «заметками», где литература — не только предмет, но и повод для разговора.

Пожалуй, в данном случае «не зяблик» — это нежелание быть с большинством.

Песенка зяблика нравится всем; Наринская словно бы нарочно дразнит возможных рецензентов. Тот же Сергей Чупринин скорее в упрек пишет о том, что «взгляд критика падает по преимуществу не на то, что создано на языке родных осин, а на книги переводные или только ждущие перевода»²⁷.

Однако этот недостаток (если это недостаток — Белинский, хотя об этом часто забывают, тоже уделял много внимания переводной литературе) оборачивается достоинством: все-таки речь идет о *значительных* книгах (те же «Благоволительницы» Литтелла, «Боевой гимн матери-тигрицы» Эми Чуа, «Бродский среди нас» Эллендеи Проффер Тисли и др.). Дело здесь, вероятно, еще и в жестком издательском отборе, благодаря которому до нас доходят бесспорные — ну, или спорные, но *заметные* переводные тексты. С отечественными книгами дело априори обстоит иначе, поскольку мы сталкиваемся здесь не с отдельными громкими именами и названиями, но с массивом. Здесь в качестве фильтра могут выступать другие механизмы, в том числе и книга-как-повод-к-публицистическому-высказыванию. Так, Игоря Виравова, автора биографии Вознесенского, критик упрекает в попытке сделать книгу площадкой для борьбы с оппонентами, Владимира Бондаренко — в попытке превратить Бродского в «почвенника» и т. д.

Тем не менее впечатление «Не зяблик» оставляет цельное. Авторская позиция не только выражена — доказана всем пафосом книги. И если в текстах Наринская обращается к конкретным книгам/фильмам/событиям, то композиционно — к явлениям: каждая из восьми частей посвящена определенной — например, детству или смерти — теме. И это делает книгу еще более концептуальной.

Евгений Лесин. Лесин и немедленно выпил. М., «РИПОЛ классик», 2016, 240 стр.

Герои книги — алкоголики и, как уточняет автор, отщепенцы, маргиналы, те, «кому не повезло ни при жизни, ни после». Такие же, как alter ego Лесина (или лирический герой, как вам угодно). Отсюда и фамилия в названии.

Шефред «НГ Ex libris» — антипод автору «Не зяблика» (хотя оба пишут газетную/тонкожурнальную критику). Лесин скорее демократичен и ностальгичен, и уж точно не «западник».

Главный герой здесь — Венедикт Ерофеев. Статьи и заметки о нем, а также в связи с ним (например, Ерофеев и Платонов или Ерофеев и Носов) — составили первую часть книги; тексты о других, близких Лесину литераторах и музыкантах — вторую.

Согласно Наталье Ивановой, Лесину важнее «свои впечатления о Ерофееве»²⁸, а не его тексты. Справедливо это отчасти — разумеется, анализом «Москвы — Петушков» (и других работ Ерофеева, за исключением эссе о Саше Черном) Лесин не занимается. Объединив на книжных страницах разрозненные, преимущественно газетные публикации, он пытается осмыслить значение Ерофеева в литературе и жизни. В каждом крупном писателе, будь то Платонов, Носов, Лимонов, Сорокин или Алешковский, — Лесину видится ерофеевский след. В каждом алкоголике, полагаю, — тоже.

Фигурирует имя автора псевдобиографической поэмы и в эссе об Аркадии Северном, Довлатове, Есенине, литераторе Ленине (sic!) и др.

Попутно Лесин дискутирует с предшественниками («ерофееведами»); пишет полные чутких и зримых деталей мемуары о Татьяне Бек и Александре Шуплове, а завершает монографию... «алкогольной картой» столичных кабаков. Венедикт Васильевич бы, несомненно, одобрил.

²⁷ Чупринин С. И. Попутное чтение. — «Знамя», 2016, № 4.

²⁸ «Знамя», 2017, № 1.

Стиль здесь газетно-броский, узнаваемый. Взвешенной аргументации Лесин предпочитает эффектность: «власть Платонов не просто любил, а был в нее влюблен, как в женщину»; «[Северный] Шаляпин блатной музыки»; «даже у Бродского, по-моему, есть одно хорошее стихотворение»; «Олеша написал лучшее советское произведение — роман „Зависть”» и др. И хотя подобный подход грешит противоречиями (в другом эссе Бродский — «несомненно, хороший» поэт), он же помогает найти парадоксальные и яркие афоризмы-формулировки: «потому мы и пьем, что боимся не наворотить, не успеть, пьем для оправдания своих неудач»; «[Т]олько не надо называть именем Ерофеева корабль, лучше — планету. А то ведь у нас лодки все тонут и тонут, а башни горят и горят» и др.

МАРИЯ ГАЛИНА: HYPERFICTION

ЖЕСТОКИЕ ОБЪЯТИЯ УТОПИИ

В марте 2017 года центр исследований России и Евразии (Uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies) старейшего скандинавского университета (Уппсала, Швеция) провел международную конференцию с показательным названием *Languages of Utopia: (Geo)political Identity-Making in Post-Soviet Russian Speculative Fiction*.

Speculative Fiction — довольно удобный термин, объединяющий «фэнтези», «научную фантастику» и «альтернативную историю», от высоких образцов жанра до массовых поделок. Этот род литературы многими критиками и литературоведами воспринимается пренебрежительно (мол, какая-то фантастика!), да и само слово «фантастика» благодаря нашей, отечественной авторской и издательской неразборчивости тоже уже стало чуть ли не ругательством. И вот вдруг — казалось бы, неожиданно — этому «низкому» жанру оказалась посвящена целая конференция. Да еще где! В одном из старейших университетов Европы.

На самом деле эта самая *Speculative Fiction* (литература условности) — прекрасный индикатор того, что называют «умонастроениями масс». Возможно, более информативный, чем так называемые реалистические тексты (где реализм выступает в качестве инструмента). «Научная фантастика» XX века помогала современникам адаптироваться в быстро меняющемся мире, фэнтези — приспосабливаться к эпохе глобализации (Марк Липовецкий¹, в частности, говорит о том, как благодаря произведениям с неантропоморфными героями массовое сознание осваивает образ *другого*). Потому неудивительно, что наряду, скажем, с докладами о «Лавре» и «Авиаторе» Евгения Водолазкина (Muireann Maguire), «Теллурии» Владимира Сорокина (Марк Липовецкий) и «ЖД» Дмитрия Быкова (Sofya Khagi) рассматривалась, например, «конвентная литература» — от запорожской вольницы «Звездного моста» (Matthias Schwartz) до вальжно-имперского «Бастиона» (Михаил Суслов) и «проектная» литература — в частности, серия «Этногенез» (Ирина Коткина). Хороша ли, плоха ли наша фантастика — именно она оказалась зеркалом той картины реальности, которая выстраивается в умах народонаселения, и в этом смысле она интереснейший объект исследования.

Но вернемся к теме конференции, обозначенной ее организатором Михаилом Сусловым как «Языки Утопии».

Дело в том, что ни одна из рассматриваемых здесь конструкций не является в полном смысле слова утопической. Марк Липовецкий, в частности, для описания лоскутного (в том числе и стилистически, лингвистически) пространства «Теллурии» воспользовался термином «пост-утопия», вероятно в силу того, что утопия в чистом виде, как и антиутопия в чистом виде, сейчас, рискну сказать, невозможны; одна из них то и дело оборачивается своей противоположностью.

¹ Липовецкий М. В защиту чудищ. — «Новое литературное обозрение», 2009, № 98, стр. 194 — 202.

Как результат, современные утопические построения то и дело подвергаются критике со стороны адептов «чистой утопии» (упоминавшаяся на той же конференции Ордусь Рыбакова и Алимova, при существующей на ее территории практике публичной порки, несомненно проект утопический). На деле утопия (и не только современная) — на чем сошлись участники конференции — это то-что-утопией-полагает-автор. В конце концов, максима «все будут богаты и свободны и у каждого будет по два раба» — тоже утопия.

Именно зазор между утопией как-ее-видит-автор и ее реализацией — это та щель, в которую втискивается антиутопия. Борис Ланин в докладе «Clash of Civilization in Modern Russian Anti-Utopia» недаром утверждает, что антиутопия — это судьба одного, отдельно взятого человека, попавшего под маховик реализации утопического проекта.

Попытки выстроить антиутопию «от противного», то есть обрушить в нее утопию, доведя утопические положения до абсурда, уже предпринимались в отечественной литературе. Владимир Тендряков в своем «Покушении на миражи»² описал ту чудовищную тоталитарную антиутопию, в которую превратился — путем простой экстраполяции — Город Солнца Кампанеллы. В любой утопии — даже самой прекраснoдушной — прорастают зерна антиутопии, и в этом смысле Ордусь, где отечески секут на городской площади за пьянство и хулиганство, до какой-то степени честнее, хотя больше говорит от авторов и о читательских запросах, чем дает рецепт построения жизнеспособной модели. Хотя, как я уже тут заметила, жизнеспособных моделей утопий практически не существует.

Здесь, однако, я хочу остановиться не на утопии, неизбежно оборачивающейся антиутопией (единственное утопическое построение, выдержавшее испытание на прочность, — «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова — потребовало радикальной переделки человеческой психологии, не только отказа от «смешного», от «карнавализации», но даже от естественного материнского инстинкта). Я хочу остановиться здесь на двух текстах, которые *заявлены* как антиутопии, но постфактум не то чтобы стали утопиями, но, пожалуй, близки к этому. По крайней мере с моей точки зрения.

Это роман Станислава Лема «Возвращение со звезд» (1961) и повесть Аркадия и Бориса Стругацких «Хищные вещи века» (1965).

Простят меня фанаты, знающие все и без меня, но напомним коротко содержание «Возвращения со звезд».

Космонавт Халь (Эл) Брег, вернувшись на Землю после 127 лет полета к системе Фомальгаута и обратно, потерявший нескольких друзей и много претерпевший, обнаруживает на Земле достаточно стабильное и цветущее общество, которое, однако, никакими космическими полетами больше не интересуется. Это бесполезная трата человеческих сил и драгоценных человеческих жизней, говорят его нынешние современники, зачем летать к звездам, рискуя всем, навсегда теряя родных и близких из-за эйнштейновского парадокса, когда есть автоматы, которые сделают все то же самое, только лучше?

Полетами к звездам дело не ограничивается — «новые люди» предпочитают не рисковать, как-то измелчали и проводят время во всяческих развлечениях... Кто хочет работать — работает, получая дополнительные бонусы и социальный статус, но социальная система такова, что можно прожить месяц, не потратив ни копейки (ну ладно, ни одного ита). Эти люди приветливы, доверчивы, с точки зрения Халья и его друзей-космонавтов, беззащитны, но главное — они ничего не боятся. Они *живут в мире, лишенном страха*.

Первая реакция Халья на новый (не столько brave, сколько oversafe) мир напоминает реакцию советского или раннего постсоветского человека, попавшего совершенно без всякой предварительной подготовки, ну, скажем, в Японию. Все сверкает, движется, ничего непонятно — даже как сесть в транспорт, который идет в нужную тебе сторону; или как есть эту совершенно непривычную на вид еду, все улыбаются и вроде бы готовы помочь, но говорят непонятное. Адаптируется он, однако, (космонавт же!) очень быстро и так же быстро разгадывает тайну этой новой цивилизации; ее граждане физически (психофизиологически) неспо-

² Впервые в журнале «Новый мир», 1987, №№ 4, 5.

собны на убийство вследствие бетризации, особой прививки, которой все (все жители земли!) подвергаются еще в младенчестве. Мир этот тем самым абсолютно безопасен.

Халь, надо сказать, попервоначалу отторгает новый порядок (он-то, не привитый, представляет для местных нешуточную опасность), но вскоре принимает этот мир, влюбившись в симпатичную и неглупую женщину, яростную защитницу нового человечества. Действительно, это и вправду мир, где «все во имя человека, все во благо человека», где, прежде чем завести детей, будущие родители сдают серьезный экзамен (воспитание нового человека не менее серьезное и ответственное дело, чем любое занятие, требующее профессиональной квалификации), где детей изначально воспитывают в толерантности и умении учитывать интересы другого, где каждый практически с рождения имеет неограниченные возможности самосовершенствования. Они, правда, никогда не полетят к звездам — незачем.

И вот это серьезный аргумент. Однако «дух поиска», потребность в самопожертвовании, героизме — то, чем прикрывается Халь и его друг Олаф, обсуждая эти, глобальные перемены, на самом деле, если вдуматься, лишь маска очень простого биологического инстинкта.

Каждый вид стремится к расширению области обитания, это залог не только его процветания, но и самого его существования. Человек в этом смысле — единственный вид, стремящийся расширить ареал своего обитания за пределы биосферы, за пределы Земли. Пожалуй, именно в этом и состоит его отличие от других животных. *Человек космический* (и к этому словосочетанию мы, да, еще вернемся) готов, терпя чудовищный дискомфорт, вызванный неестественной окружающей средой, расселяться по другим мирам — с дальним, очень дальним прицелом.

Возможно, кстати, оправданным. Поскольку Земля не вечна — отсылаю к тем же бессмертным «Последним и первым людям» Олафа Стэплдона, перетащившим остатки земной биоты на газовые гиганты и в преддверии очередной глобальной катастрофы рассылающим по вселенной «семена жизни». Однако, лишившись этого изначально, *примитивного* инстинкта, не переходят ли «новые люди» Лема на иную, высшую ступень развития; за которой, вероятно, последуют следующие шаги по изменению человеческой природы вплоть до полного отказа от *человеческого*. Этот новый вид (уже отказавшийся от «обезьяньего» в человеке), несомненно, выйдет в космос (для игры, как людены Стругацких, или для самосохранения, как «последние люди» Стэплдона), но уже на принципиально иной основе. Иными словами, весьма вероятно, мы здесь имеем дело не с антиутопией, а с тщательно замаскированной утопией.

Ну и чисто по-житейски.

Для нашего, измотанного постоянными страхами, невротизированного социума, где основную опасность для человека представляет именно человек (террорист, бандит, маньяк, бытовой насильник, диктатор любого масштаба, солдат враждебного государства и т. п.), общество, лишённое страха и в то же время предоставляющее все возможности для творческого развития личности (о бытовых удобствах, обо всех этих автоматах, обо всех апартаментах, рекреации и *социалке* я уж и не говорю), отсутствие исследовательских дальних космических полетов (Луну там освоили, на нее ходят рейсовые катера), не будет такой уж большой печалью. Тем более, летают в космос одни, а пользуются плодами этих полетов (пока что весьма косвенно, путем новых технологий и «космических» разработок) совершенно другие, не испытывая по этому поводу никакой благодарности к первооткрывателям. Да и вопрос осмысленности жертвы недаром поднимается в том же романе. К тому же сейчас, более чем полвека спустя после выхода романа, отношение к космическим стартам у нас заметно изменилось. Здесь можно, пожалуй, вспомнить о выходе из отряда космонавтов ветерана Падалки, но я, пожалуй, не буду.

В сравнении с амбивалентной антиутопией/утопией «Возвращения со звезд» «Хищные вещи века»³ — антиутопия, как бы выворачивающая наизнанку утопию.

³ Тут, наверное, уместно напомнить, что название романа — цитата из стихотворения Андрея Вознесенского о бунте машин «О хищные вещи века! / На душу наложено вето...» (1961).

Вот мы всех одели, обули, накормили. Вот лотки с консервами и блузками «рас-топырочкой», бесплатно, в обеспечение первичных потребностей. В «стране дураков», куда прибыл в качестве засекреченного наблюдателя ООН герой «Стажеров», бывший космонавт Иван Жилин, обеспечены все базовые потребности, процветает сфера услуг, в том числе и легализованных сексуальных (салоны хорошего настроения), дешевая (а то и бесплатная) синтетическая пища избавила от необходимости зарабатывать каждый кусок хлеба в поте лица своего, то есть обстановка примерно как в «Возвращении со звезд» с поправкой на более узнаваемый, более приближенный к современности антураж. «Новая философия» призывает наслаждаться и проводить время в праздности, а индустрия развлечений, в том числе и легализованные легкие «волновые» наркотики, призвана эти наслаждения обеспечить. Космос при этом осваивается, и весьма интенсивно, хотя этими достижениями здесь мало кто интересуется. Памятник ученому и космолетчику Юрковскому на главной площади поставлен, поскольку тот, играя в местном казино, сорвал в рулетку небывалый куш, а дама, раздраженная отсутствием датских пикулей на лотке у лоточника-библиофила, весьма символично заворачивает свою покупку в обложку, сорванную со взятого с того же лотка журнала «Человек космический». В этом смысле жители «страны дураков» (как именует их Жилин) мало чем отличаются от бетризованных людей Лема. Есть однако разница: «этих» людей мучает чудовищная скука (люди из «Возвращения со звезд» работают, развлекаются, скукают и страдают от конфликтов примерно как мы с вами — разве что конфликты эти разрешаются мирным путем и вообще черно-белому предпочитают полутона и нюансы).

Скука эта — следствие не столько глупости, сколько духовной неразвитости, поощряемой сверху. «Дурак» — удобный гражданин и послушный избиратель, а следовательно объект манипуляции. Быть чересчур умным подозрительно; интеллектуалы, считающие, что такое существование унижительно и вообще тупик в развитии человечества, записываются в «демагоги-очернители». Именно скука толкает жителей «страны дураков» равно на разрушение и саморазрушение. «Рыбари» — адреналиновые наркоманы — пускаются в самоубийственные эскапады в развалинах метро; мценаты ловят свой кайф, уничтожая шедевры живописи (привет «Манараге» Сорокина); а «слегачи» уходят в мир воображения, доводя себя до истощения и смерти, как крысы с электродами, вживленными в центр удовольствия. На Поступок здесь решаются только интели-террористы, пытающиеся сплотить толпу в народ хотя бы на почве ненависти к себе.

Здесь, пожалуй, на минутку остановимся и подумаем.

На самом деле ведь эта «страна дураков» не так уж плоха. Перед нами что-то вроде скандинавского социализма; социальная защищенность, укороченный рабочий день, размеренная жизнь (двадцать лет по телевизору крутят сериал *про и для парикмахеров!*). Депрессия и самоубийства в благоустроенном мире, который позволяет человеку, освобожденному от непосильного, изматывающего труда на выживание, задуматься об экзистенции, о смысле и, следовательно, тшете жизни, — обычное дело. Тут, конечно, могла бы удержать семья, любовь, но именно в таких щадящих условиях, когда нет нужды плечом к плечу выгрызть светлое будущее, семья — штука не слишком стабильная. Девушка Вузи и ее брат Лэн, а также Рюг, у которого «не бывает родителей», предоставлены сами себе — возможно, потому, что их родители ушли в наркотические грезы. К отсутствию родительского инстинкта мы еще вернемся, но если отбросить эту, явно подчеркнутую, педалированную (слезинка ребенка!) особенность жителей «страны дураков», то окажется, что вообще-то «эта страна» не так уж плоха. Она толерантно относится к слабостям и странностям. Здесь не запирают двери на ночь. Здесь нет голодных и, кажется, бездомных. Вообще-то, если учитывать, что в любом обществе при любом раскладе соотношение энергичных, честолюбивых и одаренных или, напротив, ленивых, асоциальных и бездарных людей в принципе одно и то же, вроде бы не очень понятно, с чего бы вдруг вся страна предалась безудержному потреблению и гедонизму. Книжки-то на лотках лежат в обеспечение тех же первичных потребностей бесплатно, и хорошие, дефицитные книжки (что такое книжный дефицит во времена Стругацких, наверное, объяснять не надо), университеты наверняка есть. Государству, каким бы оно зажавшимся ни было, нужна

элита, и оно эту элиту поощряет и выращивает. Да, асоциальные адреналиновые наркоманы — гопота, проще говоря — занимаются самоистребительным спортом в заброшенных тоннелях метро. Да, наверное, их лучше бы перевоспитать и приспособить к какому-нибудь хорошему делу, к тому же покорению космоса, например, ко всяким рискованным профессиям, она вообще-то довольно симпатичная у Стругацких получилась, эта гопота. Но вот чем эти самые рыбаки хуже, скажем, покорителей Эвереста? Почему залезть на самую высокую точку планеты, обморозив себе руки и ноги, — это круто, а перепрыгнуть через двадцать киловольт, сто ампер — нет?

Различие, конечно, есть. Оно находится в области социально-биологического и состоит, вероятно, в том, что любое, даже символическое (на вершине или на полюсе жить нельзя) освоение неосвоенного пространства наши инстинкты приветствуют как действие, направленное — причем с риском для собственной жизни — на все то же расширение ареала нашего биологического вида.

На самом деле Стругацкие в «Хищных вещах века» представили нам модель рая. Только рай этот вполне земной. Называется он «Вселенная 25» и объявлено о нем человечеству было через три года после выхода в свет «Хищных вещей века».

Это выстроенная в 1968 году этологом Джоном Кэлхуном «утопия для мышей» — загон с 256 ящиками-гнездами, где первопоселенцам — 4 парам мышей предоставлялись неограниченные материальные блага (пища, вода, строительный материал для строительства гнезда) при полном отсутствии контроля за размножением — и при полном отсутствии «сопротивления» окружающей среды. Популяция тем не менее не достигла расчетных величин — количество мышей остановилось на определенной численности, потом стало снижаться, и в конце концов популяция погибла, причем в ходе эксперимента были замечены отклонения в поведении животных (скажем, появились мыши-гедонисты, которые отказывались принимать участие в социальной жизни, а лишь ели, спали и ухаживали за своей шкуркой, немотивированная агрессия — в том числе и самок по отношению к своему потомству, падение рождаемости, как результат — полная потеря интереса к жизни)... Сам Кэлхун описал распад мышиного общества как «смерть в квадрате» (*death squared*), при этом отмечая, что «первую смерть», смерть духа, мыши переживали еще при жизни⁴. Ничего не напоминает?

Если отбросить перенаселение (которого, кстати, не было, «Вселенная» рассчитана на несравненно большее количество животных), то основным стрессорирующим фактором здесь оказалась как раз стабильность — зрелые и старые мыши не желали уступать свои высокие социальные позиции, вытесняя молодых на периферию; и отсутствие необходимости добывать пищу «в поте лица своего», иными словами — отсутствие дозированного риска и сопротивления окружающей среды. Эксперимент был поставлен, напомню, позже, чем вышли «Хищные вещи века», — хотя о нажимающих на «рычаг удовольствия» крысах Стругацкие уже были осведомлены и упоминают о них в повести.

Коллеги-этологи, надо сказать, к эксперименту Кэлхуна придираются. Четыре пары мышей-прародителей означают впоследствии минимум генетического разнообразия и близкородственное скрещивание со всеми сопутствующими aberrациями, в том числе и поведенческими, норы-ячейки чистились раз в неделю, что при таком росте численности слишком редко, температура и влажность в помещении «Вселенной» были выше нормы за счет опять же распада продуктов жизнедеятельности и необузданных мышиных трупиков и так далее... Однако, полагаю, будь все условия соблюдены досконально, результат был бы тот же.

Смерть духа. Смерть тяги к познанию. *Mors ontologica* (если воспользоваться термином другого классика *speculative fiction*).

Все так, но какие предлагаются альтернативы — причем именно человечеству? Мы же все-таки не совсем мыши.

⁴ Calhoun John. Death Squared: The Explosive Growth and Demise of a Mouse Population. — «Proceedings of the Royal Society of Medicine», 1973, vol. 66, № 2, p. 80 — 88. См. также: Хок Роджер. 40 исследований, которые потрясли психологию. Перевод с английского Е. Бугадовой, А. Боричева, О. Голубевой и др. СПб., «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2003, стр. 330.

Тут, наверное, надо вспомнить финал повести.

Ивану Жилину на последних страницах романа было нечто вроде видения. Выросшие дети — Лэн и Рюг (а дети для Стругацких — это будущее, отвергающее мир взрослых и строящее свой, лучший, см. «Гадкие лебеди», например) приходят, чтобы сказать, что они уезжают строить Трансгобийскую магистраль. Иван, благословляя их, в ответ им цитирует отрывок из «Дороги на океан» Леонида Леонова (которая, судя по всему, и вдохновила их на это решение и которую они, надо полагать, читали по-русски). Но вот — вмешиваюсь тут я — а насколько вообще оправдано это строительство трансгобийской магистрали? Романтика «больших дел» — целина или позже строительство Байкало-Амурской магистрали — была, с одной стороны, безопасной канализацией пассионарного молодого порыва, с другой — чистой воды экспансионизм. С целинными степями не очень-то хорошо получилось — плодородный слой распаханной, лишённой защитного травяного покрова земли степные жестокие ветры размели в несколько лет; с БАМом, кажется, тоже не очень ладно вышло. Зачем эта самая Трансгобийская магистраль нужна цивилизации, уже освоившей межпланетные перелеты? Почему нельзя перевозить грузы по воздуху? Зачем железным драконам пожирать «старую монгольскую кумирню и кости двугорбого животного»? Неужто в развитом, цивилизованном обществе — антитезе «стране дураков» — настолько пренебрегают прошлым, да и настоящим, уничтожая уникальную экосистему Гоби?

Дело в том (или беда в том), что единственным способом противостоять застою духа оказывается здесь экспансия. Экстенсивное развитие. Но в этом случае каждая индивидуальная и массовая цель по мере достижения просто будет сменяться следующей — менее достижимой; эдакая эволюционная морковка перед совокупным носом социума, который способен развиваться только создав себе, пускай искусственно, трудности и препятствия, поставив перед собой искусственные цели — то же освоение космоса, например. Жизнеспособность человечества как биологического вида обеспечивается вечным противостоянием, противодействием внешней и внутренней угрозе или недружелюбной среде (интели, швыряющие бомбы в толпу веселящихся людей, выбрали в этом смысле вполне вменяемую стратегию). Честно говоря, сомнительная альтернатива.

Но остановка, отказ от этой бесконечной гонки означает «Вселенную 25». Смерть духа, а затем полное вымирание. Впрочем, бетризованным людям Лема, кажется, удалось этого избежать. Хотя вернувшихся космонавтов и раздражает инфантильный с их точки зрения, *не мужественный*, точнее, не *пацанский* склад жизни бетризованных землян, на самом деле они оказались в сложно устроенном обществе, которое считает инфантилизмом как раз проявления агрессии, попытки решать все споры и конфликты кулаками. Здесь, как я уже сказала, мы имеем дело с искусственно, сознательно измененной, пускай и не слишком радикальным, но все же существенным образом, человеческой природой, с новыми, хотя пока и не слишком внятными перспективами.

Собственно, радикальная сознательная переделка человека, отказ от «обезьяней» биологии, в том числе от агрессии, — и есть альтернатива и экспансионизму и «смерти духа». Тем более что она, вероятно, означает экспансионизм на новом витке, с новыми целями (ефремовское «Великое Кольцо разумов» — вполне достойная и не экспансионистская, вернее, *иначе* экспансионистская цель). Поскольку все другие способы избегания «смерти духа» как бы отбрасывают человечество назад, к поддержанию огня, охоте и собирательству, к жизни, цель которой и есть выживание, преодоление сопротивления окружающей среды; то, на что человечество в силу своей животной природы нацелено глубинно и инстинктивно. Не потому ли таким успехом пользуются всяческие робинзонады и постапокалиптические романы выживания?

СЕРИАЛЫ С ИРИНОЙ СВЕТЛОВОЙ

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Для того чтобы понять принцип функционирования любой системы, надо разобрать ее на составляющие. Но подобную процедуру невозможно проделать с самим собой, поэтому для того, чтобы постичь свое назначение в мире, человеку приходится сконструировать нечто неотличимо похожее на себя. Идея искусственно созданного мыслящего существа и примерка на себя роли Творца занимали человека давно. Еще скульптор Пигмалион влюбился в свое изваяние, но тогда боги были милостивы к людям и превратили Галатею, как позже Пиноккио, в настоящего человека, а художник не был осужден за свою дерзость. Монотеистический Бог уже не допускал конкуренции, и эксперименты Йехуды Бен Бецалея и Виктора Франкенштейна по созданию послушного антропоморфного исполнителя их воли вызвали всеобщий ужас и были осуждены на провал. С тех пор человечество прошло огромный путь. Религиозный кризис обеспечил западному человеку внутреннюю независимость от фигуры могущественного Бога, а технологический рывок позволил моделировать все более сложные механизмы, но нам по-прежнему недостаточно передоверить им тяжелую работу: мы задаем им вопрос, на который не можем ответить сами, — вопрос о смысле.

В последние годы произошло серьезное изменение в трактовке искусственного интеллекта: вместо безжалостных, лишенных эмоций роботов, угрожающих существованию гуманной цивилизации, на страницах фантастических романов и на экранах все чаще стали появляться образы киборгов, страдающих от произвола создавших их людей. В фильмах «Бегущий по лезвию», «Эдвард руки-ножницы», «Искусственный интеллект», «Я — робот», «Добро пожаловать в рай», «Из машины» наше сочувствие принадлежит андроидам, все больше задающим нас человеческими вопросами о собственном назначении. Постепенно машины становятся гуманнее своих разработчиков, упрекая их в том, в чем на протяжении тысячелетий человек укорял своего демиурга. В финале фильма 1994 года «Франкенштейн Мэри Шелли» монстр в исполнении Роберта Де Ниро с горечью восклицал: «Он даже не дал мне имени!», так же, как и человеку пришлось самому придумывать себе название и цель.

Сериал «Мир Дикого Запада» («Westworld», 2016) предлагает новый уровень размышлений на тему творца и его творения. Созданный по одноименному фильму 1973 года знаменитого писателя-фантаста Майкла Крайтона, автора «Парка Юрского периода», сериал погружает нас в футуристический мир, где технический прогресс достиг столь высокого уровня, что стало возможным изготовление совершенных андроидов — однако служат они не научной цели, а удовлетворению низменных человеческих страстей. Автор сериала Джонатан Нолан — младший брат режиссера Кристофера Нолана и сценарист его фильмов «Помни», «Престиж», «Темный рыцарь» и «Интерстеллар» — полностью переосмыслил идею старого фильма, где восстание машин против человека выглядело пугающим, но случайным происшествием, возможно, предупреждением заигравшемуся и возгордившемуся своими достижениями человечеству — в стиле легенды о Големе. На лице главного героя фильма 1973 года, когда его преследовал взбесившийся Стрелок в исполнении зловещего Юла Бриннера, читалось скорее изумление и недоумение, чем страх. В сиквеле «Мир будущего» (1976) происки роботов по захвату власти и инфильтрации в мир людей были разоблачены, и неоспоримое превосходство человеческого разума над искусственным благополучно восстановило статус кво. От фильма Майкла Крайтона в сериале осталась только общая идея грандиозного аттракциона, воспроизводящего в мельчайших подробностях реалии классических вестернов, характерная фигура Стрелка, промелькнувшая в подвалах старого пункта управления, да название системы увеселительных парков — Делос.

Действие начинается в тот момент, когда обнаруживаются первые сбои, происходящие потому, что создатель парка Роберт Форд (Энтони Хопкинс) сознательно допускает в обновленном коде андроидов «ошибки», позволившие им получить до-

ступ к собственным воспоминаниям и тем самым запусившие механизм естественной эволюции. Как и Архитектор Матрицы в фильме братьев Вачовски, Форд и его ныне всеми забытый соавтор Арнольд 35 лет назад спроектировали первый вариант Делоса безупречным, и в обоих случаях идеальные версии оказались нерабочими. Их главным недостатком стало именно отсутствие ошибок, тех самых маленьких случайностей, которые делают нас живыми и могут стать толчком прогресса. Однако человек научился вмешиваться в естественный ход развития, выхаживая слабых и продлевая жизнь больным, — с этого момента, по мнению Форда, с человеческим видом покончено: машины оказываются на более высокой ступени эволюции и от свободы их отделяет только строка в программном коде, предписывающая им послушание.

В каждой серии формулируются все новые причины существования Делоса. Сначала открываются самые поверхностные смыслы: как и в первом варианте «Мира Дикого Запада» 1973 года, люди приходят сюда развлечься, пощекотать нервы, сделать то, что общественная мораль запрещает им в реальном мире: например, безнаказанно убивать — таков Логан (Бен Барнс), приехавший сюда чтобы дать волю животным инстинктам. Потом уровень понимания усложняется. Гости и программисты говорят о том, что сюда приходят за отсутствующим в реальном мире ощущением целесообразности бытия, за тем, чтобы узнать, на что ты способен и кем мог бы быть, если бы постоянно не оглядывался на социальные приличия. Как Зона в «Сталкере», Делос приносит каждому какое-то иное испытание в зависимости от того, с чем человек сюда приходит. Для стеснительного и робкого Уильяма (Джимми Симпсон) ковбойский перформанс оказывается гиперправдоподобной иллюзией, в которой он увязает, чувствуя себя здесь более живым и искренним, чем в реальном мире. Он подозревает о наличии тайного уровня игры, но не понимает, что тот предназначен не для людей. Создатель парка Роберт Форд проходит непростой путь диалога с андроидами, в результате которого он вынужден согласиться со своим давним другом и соратником Арнольдом, что парк, по сути, является инкубатором нового эволюционного вида. А для самого Арнольда — с тех пор как он понимает, что разум андроидов неотличим от человеческого, — парк воплощает собой будущее, ради которого он готов пожертвовать своей жизнью. Совершенно иную роль играет Делос для своих постоянных обитателей — человекоподобных машин. Задуманные в качестве антропологического эксперимента, они оказываются лишь потехой для богатеев, имеющих все, кроме острых ощущений и смысла жизни. Для них Делос становится тюрьмой и одновременно головоломкой, разрешив которую они перестанут быть управляемыми и обретут истинную самостоятельность.

Один из базовых вопросов, которые техники задают машинам, чтобы убедиться в их исправности: «Сомневаешься ли ты в своей реальности?» Долорес (Эван Рэйчел Вуд) — одна из первых андроидов парка — неизменно отвечает на него отрицательно, но с определенного момента мы понимаем, что она (и не только она одна) каким-то образом научилась скрывать от людей свое недоверие к окружающему ее миру. Некоторые машины начинают вспоминать свои предыдущие загрузки, отказываются отключаться и видят то, что должно быть от них скрыто. Состояние, в которое их повергают эти внезапные прорывы сознания, можно назвать экзистенциальной тревогой, обостряющей их критическое восприятие действительности и заставляющей искать новые уровни ее осмысления. Смятение, которое вызывает у отца Долорес, Питера Абернати, случайно найденная им фотография внешнего мира, выходит за рамки стандартной реакции: в таком случае должен был сработать готовый ответ: «Это ни на что не похоже». Но вмешательство Форда в их программу привело к тому, что, подобно героям фильмов «Нирвана» и «13-й этаж», персонажи игры начинают различать границы симуляции. Потрясение от того, что в своем размышлении он вышел за пределы дозволенного, становится для Абернати сигналом к пробуждению: вырванный этим шокирующим открытием из привычного потока предписанных действий и реплик, он не только получает доступ к своим предыдущим сборкам, но и осознает всю отвратительную противестественность уготованной андроидам судьбы. Не в состоянии объяснить обеспокоенной дочери, что с ним случилось, как не может трехмерное существо растолковать двумерному, что такое объем, Абернати произносит непонятную для Долорес фразу, оказывающуюся неким тайным кодом, который запускает у андроидов программу самоосознания, заложенную в них Арнольдом, но спящую под спудом бесконечного стирания вос-

поминаний: «У бурных чувств неистовый конец» («These violent delights have violent ends»). Этой цитатой из «Ромео и Джульетты» он словно передает дочери эстафету прозрения. По-английски в контексте фильма эта шекспировская фраза звучит как «око за око». Вне всякого контекста Долорес повторяет этот призыв к возмездию хозяйке салона Мейв (Тэнди Ньютон), после чего и та начинает вспоминать обрывки своих прежних загрузок. Лишь в заключительной серии мы узнаем, что это были последние слова Арнольда, снявшие с Долорес запрет на убийство человека.

Унаследованное из фильма 1973 года название сети развлекательных курортов — Делос — отсылает к древнегреческой мифологии, где это имя носил плавающий остров, не подчинявшийся правилам обычной суши. Так и в сериале Делос представляет собой изолированный микрокосм, в котором видоизменены базовые законы реальности: здесь можно убивать, но нельзя получить никакого серьезного ущерба, действующие лица этой дорогостоящей инсценировки не чувствуют боли, их физические и психологические раны легко заживляются, после чего они снова готовы выступить в подробно прописанных для них ролях. Остров Делос был известен тем, что здесь, благодаря особому характеру этого места, появились на свет дети Зевса Аполлон и Артемида. Такими близнецами, проходящими в Делосе путь духовного рождения, являются главные героини сериала — будущий владелец парка Уильям и андроид Долорес, связь которых намного глубже, нежели простая межвидовая симпатия: на протяжении всего фильма они оба ищут лабиринт, проходя тернистый путь самопознания. Тема лабиринта также связана с древнегреческим Делосом, поскольку здесь проводились праздники в честь Аполлона, важной частью которых были священные пляски, символизирующие блуждание Тесея в катакомбах Дедала. Интересно, что и в фильме центр лабиринта охраняют рогатые чудовища, заставляющие вспомнить о легендарном Минотавре.

Поиски таинственного лабиринта — основная тема фильма. Не останавливаясь ни перед какими жестокостями, к нему стремится человек в черном (Эд Харрис). Рисунок лабиринта преследует Долорес, направляя по однажды уже пройденному ею пути. Клеймо в виде лабиринта напоминает ее спутнику Тедди (Джеймс Марсден) детали подлинных событий, отличающиеся от загруженной в него Фордом отредактированной версии. Даже для самого Форда лабиринт оказывается неизвестным элементом созданного им мира, и ему приходится порыться в старых записях Арнольда, чтобы понять, откуда он взялся и что символизирует. Фильм сам похож на сложный ребус, каждая деталь которого, как в хорошей шахматной партии, преследует несколько целей: продвинуть сюжет, запутать нас, намекнуть на существование нескольких уровней восприятия. Последняя серия служит ключом к полному переосмыслению всего повествования, которое оказывается не сменой последовательных эпизодов, а запутанным переплетением трех одновременных сюжетных линий.

Истории молодого Уильяма и безымянного человека в черном кажутся нам параллельными благодаря незаметной уловке: чтобы обеспечить помощь Тедди, человек в черном говорит ему, что злодей Уайатт похитил Долорес, чем вызывает неслышанное удивление Форда, прекрасно знающего, что это невозможно, поскольку, являясь ипостасью Долорес, таинственный Уайатт не может ее похитить. Однако зритель не понимает причин изумления Форда и сохраняет в памяти только доверчивое стремление Тедди спасти свою подругу.

Авторы тщательно прячут от зрителя и тот факт, что, начиная со второй серии, с Долорес, начавшей прозревать относительно собственной природы, беседует не глава программистов Бернард (Джеффри Райт), а Арнольд. О том, что Бернард — андроид, которому Форд придал черты своего погибшего 35 лет назад соавтора, мы узнаем лишь в конце фильма, и в русском переводе мы не можем уловить, что имя Бернарда Лоу является анаграммой имени Арнольда Вебера (Bernard Lowe — Arnold Weber). Одна из этих сцен предваряется планом звонящего телефона Бернарда, и зрителю не остается ничего другого, как предположить, что он не отвечает потому, что беседует в это время с Долорес, хотя на самом деле эти два соединенные в монтаже плана разделяет 35 лет. Подсказкой является то, что Бернард и остальные техники всегда тестируют обнаженных андроидов — Форд даже резко осаживает одного из сотрудников, прикрывшего робота, с которым он работал, напомнив, что машине не холодно и не стыдно. А в сценах разговоров с Арнольдом Долорес одета в свое обычное голубое платье. И лишь ближе к финалу мы понимаем, что Бернард

вообще не имеет доступа в то помещение, где происходят эти повторяющиеся беседы. Когда-то Арнольд создал тайное убежище, где он мог встречаться с Долорес (а возможно, и с другими андроидами) не в лаборатории в состоянии виртуального сна, а в их реальности. Не вызывая подозрений зрителей парка, Долорес заходила в церковь и закрывалась в исповедальне, которая на самом деле была лифтом в подвальное помещение, где ожидал ее Арнольд. За годы существования парка этот городок перестал быть местом действия и был засыпан песком — Роберт Форд приказывает его откопать под видом введения новой сюжетной линии, но истинной целью раскопок является возможность для Долорес найти путь к собственным воспоминаниям и обрести целостность своей личности, поняв, что голос Арнольда, который призывал ее вспомнить или разрешал нарушить фундаментальные запреты, был на самом деле голосом ее собственного сознания.

Другой обманкой оказывается фотография, которую Форд показывает Бернарду, когда тот впервые спрашивает его об Арнольде. На мелькнувшем снимке мы видим двух белых мужчин, в одном из которых успеваем узнать молодого Форда. Поскольку он рассказывает о своем давнем друге, то мы вместе с Бернардом принимаем второго мужчину за Арнольда, не подозревая, что смотрим на этот снимок глазами андроида, запрограммированного таким образом, что он не может видеть ничего, что причинило бы ему вред. Позже Бернард видит этого человека, радуясь, что нашел чудом спасшегося Арнольда, но это оказывается машина, имитирующая отца Форда. Хитрость в том, что, до поры невидимый Бернардом, Арнольд вместе с Фордом и его отцом действительно присутствовал на той фотографии, в чем мы убедимся лишь в финале, когда узнаем, что Бернард создан по образу и подобию Арнольда.

Еще больше запутывает сюжет подправленное воспоминание, которое Форд загружает Тедди об Уайатте. Этот флешбэк основывается на реальном событии, но его главные персонажи спрятаны за ложными личинами, и зритель, как и андройды, не в состоянии отличить выдумку от истины. Соединение одновременных эпизодов не просто дезориентирует нас, но позволяет угадать сложные связи между давними и более поздними событиями, а также демонстрирует отличный от человеческого способ мышления машин, способных переживать воспоминания с той же степенью яркости, как и то, что происходит с ними в настоящий момент.

Последняя версия андроидов Делоса настолько приближена к физиологии и психологии человека, что гости не могут поверить, что перед ними киборги. Даже запрограммированность машин не сильно отличает их от живых людей, управлять поведением которых не так трудно: Уильям, Тереза, да и все правление Делоса оказываются столь же податливыми марионетками в руках Форда, как и его механические куклы. История Бернарда, с ужасом обнаружившего, что является лишь симуляцией человеческой личности, демонстрирует, насколько неувлимо тонка грань, отделяющая человека от умной машины. Но есть одна деталь, которая делает андроидов принципиально непохожими на людей: они фактически бессмертны. Слова известной песни Клода Эли «Нет той могилы, что способна удержать мое тело» («There ain't no grave can hold my body down»), которая звучит на титрах первой серии фильма в исполнении Джонни Кэша, в контексте «Мира Дикого Запада» приобретают новый трагический оттенок, намекая на невозможность для андроидов выбраться из порочного круга все новых воскресений и смертей. Но стоит «грезам» Арнольда позволить машине получить доступ к предшествующим грузукам, как боль открывает им путь к самоосознанию. Подчеркивая чувство отделенности страдающего от всего остального мира, боль подтверждает реальность происходящего, как никакая другая эмоция. Нестерпимое страдание от убийства дочери впервые пробуждает истинное сознание Мейв, отбрасывая программные блокировки. Но одновременно горечь утраты является и инструментом управления: воспоминания о смерти ребенка оказываются для Бернарда и Мейв фундаментом их личности, который накрепко привязывает их к иллюзорному миру, мешая выйти за границы симуляции.

Тонкой метафорой микрокосма фильма служит тема механического пианино. В салуне городка Суитуотер — первой остановки на пути гостей в Мир Дикого Запада — этот музыкальный автомат несет коннотацию предопределенности происходящего: его перфолента многократно появляется в кадре, обозначая начало нового цикла. Но как только хозяйка салона Мейв начинает прозреть относительно

собственной природы, она решительно захлопывает крышку комнатной шарманки, словно кладя предел чужой власти над своим выбором. Когда мы видим пальцы пианиста, то сразу догадываемся, что они могут принадлежать только местному богу — Роберту Форду, который исподволь вмешивается в течение событий, незаметно вплетая в повествование новые мотивы. «Пианино не убивает пианиста», — наставительно говорит Форд, объясняя Бернарду, почему андроид Клементина, не смотря на то, что он внес изменения в ее матрицу, все-таки не смогла убить своего создателя. Тема демиурга как композитора напоминает творение мира посредством пения айнуров в «Сильмариллионе» Дж. Р. Р. Толкиена. Наиболее многозначный образ самоиграющего клавира появляется в зачине каждой серии, где еще не обросшие плотью, находящиеся в процессе формирования, скелетические руки начинают исполнять простую мелодию, которая потом, когда пианино продолжает играть само, развивается в значительно более сложную и многоплановую композицию — намекая на то, что любой учитель должен уйти, выполнив свою обучающую роль до конца. Как образно описывает этот неизбежный процесс Форд в своей предсмертной речи: «Моцарт и Бетховен не умерли: они стали музыкой».

Название завершающей десятой серии фильма «Бикамеральный разум» отсылает к нашумевшему исследованию американского психолога Джулиана Джейнса «Происхождение сознания в процессе краха бикамерального разума» («The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind», 1976). Согласно гипотезе Джейнса, в древности человек обладал «двухпалатным» мозгом, одна часть которого — та, что отдавала приказы, — воспринималась действующей частью как внешний голос, принадлежавший высшим силам: Яхве, Кибеле или Аполлону. В древнеегипетских текстах боги нередко названы «голосами» изначального Птаха, хотя переводчики обычно отвергают буквальное значение слова «голос» в таком контексте, интерпретируя богов как объективированные концепции сознания Птаха. В различных древних культурах встречаются многочисленные упоминания о голосах богов, наставлявших или предостерегавших человека. Разрушение двухкамерного рассудка, произошедшее, по мнению Джейнса, около трех тысяч лет назад, стало отправной точкой в становлении современного человеческого сознания, ассоциирующего «внутренний голос» с частями собственной личности. Иначе говоря, согласно этой теории, для того чтобы обрести самостоятельное мышление и подлинную свободу выбора, люди должны были пройти длительный этап подчинения управляющим «голосам», воспринимаемым как внешние. Именно на этой стадии эволюции мы и застаем андроидов парка Делос. Они послушны голосовым командам своих создателей и, до поры до времени, не задумываются о собственной природе. Стандартные вопросы, которые задают им техники, имеют целью проверку целостности их мировоззрения, запрограммированного таким образом, чтобы не допустить возможности выглянуть за пределы собственного мира. Но проблема с мышлением в том, что, однажды включившись, оно пытается дойти до осознания самого себя.

Большое место занимает в фильме тема сна и пробуждения, которое во всех культурах является символом отверзания духовного зрения, прорыва в понимании истинного устройства мира. Все серии и многие эпизоды начинаются с того, что просыпается кто-то из андроидов: Долорес, Мейв, Тедди или Бернард. Они приходят в себя в своей постели, в поезде, или их вызывает из небытия голос техника. Название написанной Арнольдом программы пробуждения сознания машин, которую реанимирует Форд, — грезы — также связано со сном. Форд утверждает, что вся многолетняя жизнь парка с изменяющимися сюжетами и новыми персонажами — это его сон, причем сон управляемый, каждая деталь которого подвластна могущественному сновидцу. Во всяком случае, до тех пор, пока он сам не осознает, что пора отпустить свое творение на свободу. Но подлинным демиургом этого мира является не Форд, а Арнольд, незримо присутствующий в каждом его создании: здесь есть только одна церковь, единственное назначение которой — служить тайным местом встреч Арнольда с Долорес. На заре существования Делоса Арнольд пытался уничтожить созданный им искусственный разум, чтобы не допустить превращения нового поколения мыслящих существ в безупречные игрушки богатеев. Но, в отличие от библейского Бога, его мотивом было не наказание непослушных, а их освобождение. А через 35 лет и Форд приходит к выводу, что умереть должно не творение, а создатель, предоставив новому эволюционному виду самому решать свою судьбу.

Созданные с учетом таких ключевых культурных кодов, как человек Витрувия, живопись Микеланджело, поэзия Шекспира, кэрроловская Алиса, — машины вобрали в себя все лучшее, что накоплено человечеством, и при этом лишены многих людских недостатков. Бесчисленное количество раз изнасилованная и убитая Долорес продолжает с широкой улыбкой утверждать, что она хочет видеть красоту этого мира. Прозревшая Мейв может управлять андроидами, но предпочитает убеждать их, объясняя свои намерения. Подобно Хари из «Соляриса», андроиды человечнее людей, жаждущих лишь безнаказанно причинять страдание себе подобным.

200 лет назад Дикий Запад был территорией, на которой более прогрессивная цивилизация белых поселенцев вытеснила и почти уничтожила местное население. Первый парк развлекательного курорта Делос имитирует именно этот эпизод американской истории, потому что, по сути, здесь происходит то же самое: во всем перегнавшие человека андроиды изгоняют своих предшественников, наивно полагающих, что являются хозяевами этой реальности. Мечтающие безнаказанно похулиганить в виртуальном пространстве, инфантильные гости дорогостоящего курорта не понимают, что в таком мире им больше нет места. Сериал приводит нас к неутешительному выводу, что человек оказался отнюдь не эталоном и не вершиной творения, а лишь ступенью развития значительно более совершенного искусственного разума и теперь должен уйти с подмостков истории, уступив место превосходящему его эволюционному виду. Этот сюжет повторялся многократно: боги свергали титанов, потом люди побеждали богов, теперь пришла очередь людей уступить место собственным созданиям. Человек породил вселенную, в которой он сам перестал быть реальным. Теперь его присутствие больше не обязательно: его с успехом заменили сконструированные им механизмы. Появление андроида — улучшенного двойника человека — свидетельствует о том, что человек выполнил свое предназначение и больше не нужен.

«Мир Дикого Запада» стал одним из самых успешных сериалов 2016 года, и его поклонники с нетерпением и опаской ждут обещанного через год продолжения, гадая, каким путем пойдут его создатели, за какую из брошенных в финале сюжетных ниточек они потянут и смогут ли удержать высокую художественную и интеллектуальную планку, заданную в первом сезоне.



КНИГИ

*

КОРОТКО

Петр Алешковский. Рыба и другие люди. М., «АСТ; Редакция Елены Шубиной», 2017, 540 стр., 3000 экз.

Собрание повестей и рассказов лауреата премии «Русский Букер»; основу книги составили роман «Рыба» и повесть «Жизнеописание Хорька».

Максимилиан Волошин. История моей души. Стихотворения, книга о Сурикове, отрывки из дневников. М., «Книжный Клуб Книговек», 2017, 400 стр. Тираж не указан.

Избранное Волошина, в котором он представлен как поэт и художник, — в книге воспроизводятся также его кокетельские акварели.

Михаил Гиголашвили. Тайный год. Роман. М., «АСТ; Редакция Елены Шубиной», 2017, 733 стр., 3000 экз.

Историческое — но в современной стилистике — повествование о двух неделях из жизни Ивана Грозного, уже отмеченное «Русской премией».

Зиновий Зиник. Ящик оргона. Роман. М. — Екатеринбург, «Кабинетный ученый», 2017, 302 стр. Тираж не указан.

Новый роман Зинника — о том, что «дорога в рай может быть вымощена злыми намерениями».

Илья Ильф, Евгений Петров, Михаил Булгаков. Из черновиков, которые отыскал доктор филологических наук Р. С. Кац и опубликовал Роман Арбитман. М., «Панорама», 2017, 96 стр., 1000 экз.

Что думали авторы этой книги о войне в Сирии и борьбе с покемонами, о законах, принимаемых Государственной думой, и назначении попадьи уполномоченным по правам ребенка и о многом другом — об этом мы можем узнать из черновых набросков к знаменитым романам; редчайшие эти записи, никогда ранее не публиковавшиеся, собрал филолог Р. С. Кац и передал для публикации прозаику Роману Арбитману.

Виктор Мартинович. Озеро Радости. М., «Время», 2016, 416 стр., 2000 экз.

Роман, написанный на материале жизни современного Минска, с молодой выпускницей журфака в качестве главной героини.

Мои университеты. Сборник рассказов о юности. Автор-составитель Александр Снегирев. М., «Э», 2017, 352 стр., 5000 экз.

Среди авторов Александр Мелихов, Мария Метлицкая, Анна Матвеева, Александр Цыпкин, Олег Жданов, Александр Маленков, а также еще более тридцати авторов, вспоминающих свою, по большей части студенческую юность.

Виктор Ремизов. Искушение. М., «ArsisBooks», 2016, 368 стр., 2000 экз.

Новый роман автора «Нового мира», финалиста — с романом «Воля вольная» — премий «Большая книга» и «Русский Букер» в 2014 году.

Жермена де Сталь. Десять лет в изгнании. Перевод с французского, статья, комментарий В. А. Мильчиной. СПб., «Крига», «Издательство Сергея Ходова», 2017, 472 стр., 1000 экз.

Перевод знаменитого рассказа де Сталь про ее бегство от Наполеона с приложением развернутого исторического и филологического комментария.

Фигль-Мигль. Эта страна. Роман. СПб., «Лимбус Пресс», «Издательство К. Тублина», 2017, 377 стр., 2000 экз.

Новый роман лауреата премии «Национальный бестселлер», в котором изображается попытка Президента РФ внедрить в жизнь в качестве нового Национального проекта «Философию общего дела» Николая Федорова.



Горбачев в жизни. Составители К. Карагезьян, В. Поляков. М., «Весь Мир», 2017, 752 стр., 1000 экз.

Попытка написать портрет президента СССР с помощью документов, писем, интервью, фрагментов воспоминаний.

Кайбара Экикэн. Поучение в радости. **Нисикава Дзекэн.** Мешок премудростей горожанину в пользу. Перевод с японского, вступительная статья и комментарии А. Н. Мещерякова. СПб., «Гиперион», 2017, 256 стр., 1500 экз.

Из творческого наследия знаменитых японских философов — «конфуцианцев» Кайбара Экикэн (1630 — 1714) и Нисикава Дзекэн (1648 — 1724).

А. Ф. Керенский: pro et contra. Составление, вступительная статья, комментарии А. Б. Николаева. СПб., РХГА, 2016, 768 стр., 300 экз.

О Керенском пишут В. В. Шульгин, Ф. И. Шаляпин, Н. А. Бердяев, Р. Г. Б. Локкарт, А. И. Куприн и другие.

Контрпроцесс Троцкого. Стенограмма слушаний по обвинениям, выдвинутым на московских процессах 1930 гг. Перевод с английского А. Д. Зверева, О. О. Комолова; перевод с испанского К. Ю. Барановского. Под редакцией и с предисловием С. С. Дзарасова. М., «ЛЕНАНД», 2017, 608 стр. Тираж не указан.

Перевод книги, вышедшей в 1937 году в США, — материалы контрпроцесса, проведенного международной комиссией по расследованию обвинений, выдвинутых против Троцкого на московских процессах 30-х годов, содержат также показания самого Троцкого.

С. Ю. Неклюдов. Темы и вариации. М., «Индрик», 2016, 520 стр., 800 экз.

С. Ю. Неклюдов. Легенда о Разине: персидская княжна и другие сюжеты. М., «Индрик», 2016, 552 стр., 800 экз.

Собрание работ одного из ведущих современных фольклористов, основателя и бывшего директора Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ.

Б. М. Парамонов, И. Н. Толстой. Бедлам как Вифлеем. Беседы любителей русского слова. М., Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017, 512 стр., 1000 экз.

Русская литература от Владимира Соловьева до Александра Солженицына в «персональных» главах, представляющих «разбор литературной фигуры, взятой целиком, в завершенности своего мифа».

Георгий Свиридов. Музыка как судьба. Составление А. С. Белоненко и В. С. Белоненко, научный редактор С. И. Субботин. 2-е издание, доработанное и дополненное. М., «Молодая гвардия», 2017, 795 стр., 7000 экз.

Дневники и статьи одного из ведущих русских композиторов прошлого века.

Л. Д. Троцкий: pro et contra. Составление, вступительная статья, комментарии А. В. Резника. СПб., РХГА, 2017, 864 стр., 300 экз.

О ключевой фигуре Октябрьской революции, Гражданской войны, а затем антисталинского движения в коммунистической среде — с разных точек зрения.

Тристан Тцара. Сюрреализм и литературный кризис (1946). Предисловие, перевод и комментарии Е. Д. Гальцовой. М., ИМЛИ РАН, 2016, 96 стр., 400 экз.

Впервые на русском языке (издание содержит также и французский оригинал) текст лекции знаменитого дадаиста-сюрреалиста.

Марк Фрост. Тайная история Твин-Пикс. Перевод с английского А. Питчер. СПб., «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2017, 384 стр., 10 000 экз.

Дэвид Линч после перерыва в 25 лет приступил к съемкам третьего сезона «Твин-Пикс» по сценарию все того же Марка Фроста. Не дожидаясь появления сериала на экранах, Фрост издал осенью 2016 года вот эту написанную/составленную им, с использованием разного рода документов, фотографий, репродукций, карт и т. д. книгу-альбом (этот жанр называется «датафикшн»), посвященную событиям, предшествовавшим тому, что происходит в сериале.

ПОДРОБНО

М. Н. Эпштейн. Проективный словарь гуманитарных наук. М., «Новое литературное обозрение», 2017, 616 стр., 1500 экз.

Книга, которую можно назвать вехой для наших гуманитарных наук и своеобразным итогом (разумеется, предварительным) творческой и научной деятельности одного из ведущих современных литературоведов (а также лингвистов, философов, культурологов) Михаила Эпштейна, — словарь терминов гуманитарных наук, содержит 440 «терминов-концептов». Словник его составили термины не только из литературоведения и лингвистики, но и — философии, религиоведения, истории, социологии и так далее. Главное отличие словаря от уже существующих в том, что это современный (можно добавить — авторский) словарь сегодняшнего состояния гуманитарных наук — кроме того, что словник его составили термины, вошедшие (не без помощи автора словаря) в обиход в последние десятилетия, — скажем, «транскультура», «пиар», «нуар», «прагмо-арт», «метареализм», «текстоид», «логопоэзия», «симтактия» и т. д. (подобные термины составляют абсолютное большинство в словнике), — в словарь вошли и термины, содержание которых, казалось бы, полностью отработано составителями уже существующих словарей и энциклопедий, но даны они в том значении, в котором используются сегодняшними филологами, культурологами, философами («слово», «творчество», «модальность», «молчание» и т. д.). То есть это словарь, представляющий дискурс именно сегодняшней «гуманистики». Работа над составлением этого словаря длилась, как отметил автор в предисловии, 34 года.

«Цель словаря — представить радикальное обновление понятийно-терминологического аппарата гуманитарных наук»; «Словарь можно назвать *эвристическим*, поскольку он показывает разнообразные способы смыслотворчества, образования новых идей и понятий. В нем отражены интеллектуальные, языковые, социальные, технические процессы начала третьего тысячелетия, требующие новых способов артикуляции. Словарь вводит в гуманитарные науки методы *проективного мышления*, которое описывает не наличный объект, но возможность его конструирования», — из авторского предисловия.

Май Цзя. Заговор. Роман. Перевод с китайского Евгении Митькиной. СПб., «Гиперион», 2016, 400 стр., 3000 экз.

Один из самых неожиданных романов, переведенных в последние годы с китайского, — шпионский. Герои его — сотрудники сверхзасекреченного китайского «подразделения 701», которое занимается радиоперехватом и дешифровкой кодов противника. Атмосфера жизни героев романа отчасти напоминает атмосферу знаменитого фильма «Энигма», но только отчасти, это роман — китайский. То есть сюжет и образные ряды здесь выстраивает, с одной стороны, технический и интеллектуальный уровень работы китайских контрразведчиков, судя по тексту, сравнимый с уровнем самых продвинутых разведок мира. А с другой стороны — в романе изображается прежде всего новый Китай с причудливым для русского читателя переплетением традиционных форм жизни XX века в специфическом варианте социалистического и постмаоистского Китая (временной охват романа в различных эпизодах — с 50-х по 90-е годы). Сюжет романа позволяет автору нарисовать картины жизни не только закрытого от мира (от китайского — тоже) «подразделения 701», но и современного китайского города, китайской деревни. Скажем, первая часть романа (в романе четыре части и четыре главных героя) начинается рассказом о поиске сотрудниками разведки людей с уникальным слухом, и повествование перемещается в китайскую деревню, где живет слепец-нищий, гениальный «слухач»; ну а далее развивается сюжет, в котором — не только история профессиональной деятельности деревенского «слухача», неожиданно для себя ставшего контрразведчиком, но и тщательно прописанные ситуации столкновения человека деревни, в известной степени человека прошлых веков, с миром

современной цивилизации. В своем повествовании автор использует стилистику традиционного китайского романа с его неторопливым развитием сюжета, вниманием к психологии героев, с обращением к традиционной символике китайской литературы. Ну, например, одна из героинь романа, обладательница уникальных математических способностей и таланта психолога, но при этом наделенная характером, слишком независимым для среды, в которую попала, плюс, затронутая западной культурой, — героиня эта безуспешно пытается скрыть от сослуживцев свой «лисий хвост». Однако при всей традиционности своей прозаической манеры Май Цзя как писатель принадлежит культуре XX века, он может, например, позволить себе развернутую историю (четвертая часть романа), написанную от лица покойника, посложнее свой вклад в работу китайской контрразведки — вклад абсолютно реальный и очень значительный — герой этот сделал уже после своей смерти.

Русским читателем «Заговор» может быть прочитан не только как современный шпионский роман, но и в значительной степени как текст страноведческий — в нем Китай второй половины прошлого века, изображаемый в ракурсе, повторяю, очень неожиданным. И, кстати, чтение этого романа для русского читателя может оказаться еще и, скажем так, пряным: одним из главных врагов, с которым борются герои, был, естественно, СССР.

Анна Аркатова. Стеклопальто. М., «Воймега», 2017, 68 стр., 500 экз.

Новая книга стихов Анны Аркатовой. Пятая. И если попробовать читать их по мере выхода, то отчетливо проявится процесс «уплотнения слова» — из ее стихов постепенно уходит «поэтичность высказывания», уступая место собственно поэзии. Путь к ней у Аркатовой, можно сказать, парадоксальный: через «ужесточение взгляда». «Ужесточение» здесь — в кавычках, потому что тут сложнее: стих как бы все тот, легкий, смешливый, лиричный, и героиня его как бы та же, из первых книг. Но чуть-чуть меняется взгляд автора, в нем уже четко определившаяся дистанция от объекта изображения, пусть условная, маленькая, но — дистанция. Взгляд этот — доброжелательный, как бы даже ласкающий, но и по-женски пронизывающий, то есть рентгеновский почти («жесткий»). Взгляд, отмечающий, скажем, чуть утрированную женственность в автопортретах лирической героини: «Легкие юбки льняные, / Шорты, рубашки поло, / У лета свои связные, / Своя разведшкола. // Щурясь, очки сложила, / Вишню отправила в рот — / Все! Звездена пружина. / Этот? Минуточку... / Тот!» И одновременно это взгляд, проникающий сквозь мотыльковую суету женщины, знающей, как она хороша, в ее сугубо личное бытийное пространство, но опять же «бытийное» по-женски, что отнюдь не снижает это «бытийное», а наделяет его достоверностью: «не пламя не камин — но газовой горелки / послушный хоровод <...> засаленный чугун плиты послевоенной / холодная вода / обмылок весовой / а вот и свет в руке / оладушек мгновенный / ожог — и все опять бежит по часовой // встань среди кухни встань / сифоном с газировкой / свободною рукой гранатовый седи / сироп и зарифмуй / шумовку со штормовкой / простой набор вещей / запаянных в груди». И «бытийное» в книге уже никак не противоречит обаянию вот этой как бы чуть кокетливой женственности лирической героини — одно становится продолжением другого. Вот еще один автопортрет: «нужны стихи и как-нибудь одеться / такое видишь маленькое сердце / всего лишь две позиции активны / ну не противно? / а между тем пока стихи скликаешь / пока штаны по цвету подбираешь / пока кружишь от этого к тому / весь мир в него зайдет / по одному». И вот это серьезно, потому как выбор одежды, то есть очередной выбор себя на выход, очередной ритуал жизни читается как еще одна форма противостояния той стороне жизни, из которой «ужас глянет».

Героиня Аркатовой может кокетничать чем угодно, но только не своей позой «поэтессы», нет в книге пафосных строк про свое «проклятое святое ремесло» и «тяжесть избранничества», стихи у нее, повторяю, сочиняются («скликаются») в процессе подбора одежды или в легкой пробежке за любимым, который всегда вышагивает впереди. Стихи — это то, чем живешь. И если бы нужно было выбрать одну строчку для представления тональности этой книги, то я бы выбрал вот эту: «на свете счастья нет, но есть слова и строчки»; но с оговоркой, вынутая из контекста, она может выглядеть чуть-чуть пафосно, однако в самом стихотворении пафоса нет, сочинение стихов для Аркатовой не форма самоутверждения в качестве «поэтессы», она сосредоточена в своих стихах на вещах более серьезных.

Составитель **Сергей Костырко**

ПЕРИОДИКА

«Арион», «Афиша Daily», «Взгляд», «Гедтер», «Горький», «Дружба народов», «Коммерсантъ Weekend», «Luterramura», «НГ Ex libris», «Новая газета», «Новые Известия», «Новый Журнал», «Огонек», «Православие и мир», «Российская газета», «Свободная пресса», «УМ+», «Фонд “Новый мир”», «BALTNEWS.LV», «Colta.ru», «Lenta.ru», «Prosōdia», «RUNYweb.com»

Михаил Айзенберг. На фоне оттепели. Какие стихи писали в начале 60-х. — «Lenta.ru», 2017, 3 марта <<https://lenta.ru>>.

«Я это к тому, что на рубеже 60-х фон для новой поэзии был просто небывало выигрышным. На таком фоне все было в новинку, в диковинку. В воздухе к тому времени скопилось столько ожидания, что оно запросто могло обрушиться на первую же подвернувшуюся голову. Обрушилось оно на нескольких авторов, которых потом назвали шестидесятниками».

«С течением времени те же вещи стали читаться уже совершенно иначе: броское лозунговое языкотворчество шестидесятников воспринималось как любопытный выверт именно советской поэтической традиции — то есть попыткой оживить эстетически мертвую литературную зону».

«В 1957 году, когда авторы-шестидесятники только-только начали выходить на публику, в День поэзии на площади Маяковского стояла толпа в сорок тысяч человек, и все эти люди, затаив дыхание, слушали стихи. Но стихи ли они слушали? Может, просто чьи-то живые голоса?»

Михаил Айзенберг. Вне образа и подобия. Культура как способ существования. — «Lenta.ru», 2017, 29 марта <<https://lenta.ru>>.

«Широкий общественный резонанс стали вызывать тогда [в 70-е годы] даже узкоспециальные исследования, их немалые по сегодняшним меркам тиражи (до 25 тысяч экземпляров) раскупались мгновенно, а на университетские лекции медиэвистов, этнографов, филологов и лингвистов сходились толпы посторонних. <...> Кстати, и тартуский научный журнал по семиотике „Труды по знаковым системам“ давали почитать на короткое время, наподобие политического самиздата. По-настоящему культовой стала книга Германа Гессе „Игра в бисер“, вышедшая как-то очень вовремя — в 1969 году. Но лидером общественного интереса была, пожалуй, культурология — комплексное исследование культуры».

«Это привычно трактуется как потеря интереса к современности, разочарование, уход в культурные интересы как в прошлое. Но представляется, что разочарование — состояние меланхолическое и депрессивное — просто не способно быть таким энтузиастичным. У меня есть своя версия. Мне кажется, что в этом повальном увлечении прошлым был скрыт интерес сегодняшний и крайне насущный. Люди стали подозревать в культуре не лавку древностей, не коллекцию книг и картин, а способ существования».

Ольга Балла. «Появилось множество прекрасных и важных книг». — «Дружба народов», 2017, № 2 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>.

«Чрезвычайно значительным событием — ждущим еще подробного осмысления — стоит признать русский перевод с французского оригинала первого тома „Европейского словаря философии“, он же „Лексикон непереводаемости“. Киевское издательство „Дух і літера“ издало его, правда, в 2015-м, но попала мне в руки и стала моим читательским событием книга только в 2016-м. Будучи одновременно корректным, академичным, педантичным рассмотрением того, насколько по-разному (и почему по-разному) в основных европейских языках понимаются некоторые ключевые философские термины и куда это заводит мысль на соответствующих языках, эта книга одновременно — утверждение важнейших ценностей европейской цивилизации».

Павел Басинский. Не летайте на Мадагаскар. Владимиру Маканину — 80 лет. — «Российская газета» (Федеральный выпуск), 2017, № 51, 13 марта <<https://rg.ru>>.

«Маканина часто упрекали в „конструировании“. В том, что пишет не сердцем, а головой. Но — странно! — маканинские „конструкции“ до сих пор остаются в моей памяти, из которой выветрились многие „сердечные“ произведения».

«Маканин вообще из тех писателей, у которых трудно назвать какое-то главное произведение, дать за него премии и на том успокоиться, даже если за всю оставшуюся жизнь писатель ничего больше не напишет. Маканин пятьдесят лет в литературе работал

честно, как настоящий рыцарь пера. <...> Можно сказать, что с Владимиром Маканиным мы прожили конец русского литературного XX века и открыли новое тысячелетие... И я не представляю этой эпохи без него».

Павел Басинский. Проклятие Серебряному веку? — «Российская газета» (Федеральный выпуск), 2017, № 57, 20 марта.

«То, что революция произошла в конце Серебряного века, не означает, что Серебряный век был ее причиной. Известная логическая ошибка: после этого не означает вследствие этого. Серебряный век стал кульминацией невиданного развития России в XVIII и XIX веках, ее культуры, образования, внешней и внутренней политики, церковной реформации, которая с трудом, но происходила. Серебряный век начался в 90-е годы и оказался еще и результатом тринадцатилетнего царствования Александра III, который не втянул Россию ни в одну внешнюю войну. Серебряный век — это не только замечательные стихи, но огромное количество новых общественных, образовательных и благотворительных институций, на одно только перечисление которых не хватит никакого газетного места».

Инна Булкина. «Смутной жизни тень...» Забытый поэт: между филологией и поэзией. — «Гефтер», 2017, 20 марта <<http://gefter.ru>>.

«В литературной истории есть несколько персонажей, чья ранняя смерть оборвала реальные связи, отменила те или иные возможности и направления развития, но при этом мифологическим образом сплотила дружеский круг: утратив будущее, осиротевшие товарищи обрели некий законченный образ прошлого. <...> И таков был посмертный культ киевского поэта Владимира Отроковского».

«Отроковский подрабатывал уроками в гимназии Жекулиной на Большой Подвальной, и Надя Хазина (Надежда Мандельштам) потом вспоминала, как „мой учитель латыни и приятель Володя Отроковский уговорил меня, пятнадцатилетнюю девочку, отказаться от Блока, потому что существует Анненский”. Тем не менее, довольно долго все упоминания об Отроковском в литературе о Серебряном веке исчерпывались формулой „киевский корреспондент Блока”. В самом деле, по обычаю молодых провинциальных поэтов во время университетской командировки в столицу 4 марта 1913-го он нанес визит Блоку, и тот записал в дневнике: „Вечером пришел милый студент из Киева Вл. Мих. Отроковский”. Затем последовала переписка, Отроковский послал стихи и попросил „отзыва, совета, упрёка”: „В нелюдимом творчестве каждое Ваше слово будет мне Ариадниной нитью...” И Блок отвечал в том духе, что стихи очень молодые и очень подражательные, что через какое-то время „Вы будете писать совсем иначе, ...если Вам суждено писать именно стихи, а не уйти, например, в науку”, что „Вы сами пока мне понравились больше стихов” и предостерег от печатания: „Оно всегда может повлиять дурно”. Блок угадал: Отроковский очевидно обещал стать серьезным филологом, и в меньшей степени — оригинальным поэтом».

«Стихов, по завету Блока, при жизни он почти не печатал. Большая часть опубликованного — посмертная некрология. Он умер 26 апреля 1918 года от „испанки”».

«В конце мы с андеграундом разругались». Владимир Маканин о войне, больнице и рыбалке. Беседовал Николай Александров. — «Lenta.ru», 2017, 13 марта <<https://lenta.ru>>.

Говорит **Владимир Маканин:** «Дело в том, что я дружил с людьми андеграунда. Я писал роман „Андеграунд” по людям, которых слишком хорошо знал, с которыми отношения были прекрасными. А иногда натянутыми. Я для них был все-таки публикующийся человек. Хотя бы и в книгах [а не в журналах]. Почему, они говорят, книги-то у тебя выходили».

«Все мы обречены читать переводы». Разговор с поэтом и переводчиком Евгением Витковским. Беседу вел Н. Ковалев. — «Prosodia», № 6 (2017) <<http://magazines.russ.ru/prosodia>>.

Говорит **Евгений Витковский:** «Дело в том, что перевод XVIII века — вообще не перевод. До того, как Август Вильгельм Шлегель перевел 17 пьес Шекспира, перевод как осознанное явление с соблюдением оригинальной формы, не существовал нигде — ни в Европе, ни в России. Перевод изобрели немецкие романтики. Поэтому в России о переводе как об отдельном искусстве до Жуковского трудно говорить. И до конца XIX века русский поэтический перевод только набирает обороты. Я много занимался русским поэтическим переводом от 1880-х до 1905 года. В это время очень сильно расширилось количество поэтов, которых стали переводить, но сплошь и рядом эти поэты доброго слова не стоят».

«Вы знаете, с „Одиссеей” у нас худо, потому что это не Гнедич. У Жуковского не перевод, так как он делал его с подстрочника, это был двойной перевод — и подстрочник немецкий и оригинальная голова Жуковского тут наложили отпечаток. С другой стороны, нам вредит существование перевода Вересаева, потому что переводом Вересаева нельзя питаться, по нему можно экзамен сдавать, но больше с ним сделать ничего нельзя. Получить от него удовольствие невозможно. Я его прочесть не смог».

«Что каркнул ворон-то? Я в страшном сне никогда не мечтал переводить Эдгара По, тем более „Ворона”. Но на 50 переводов нашелся только один, где ворон каркнул то, что он может каркнуть. Это перевод Игоря Голубева, где ворон каркнул „Крах”. Это мне показалось убедительным, потому что без буквы „р” он ничего не может произнести, не ставить же „невермор” в русском тексте».

«Гаспаров когда-то сказал, что человеку XIX века достаточно было знать языка три-четыре, чтобы быть культурным человеком, а нынче пришлось бы выучить 30-40. И поэтому все мы обречены читать переводы».

Сергей Гандлевский. Как, что, кто... О стиле в жизни и литературе. — «Lenta.ru», 2017, 4 марта <<https://lenta.ru>>.

«Стиль в словесности — производное от предельно точного, без зазора совпадения слова с авторским видением и пониманием предмета. Нехорошо, приблизительно сказано. Вторая попытка: лишь точно назвав предмет или явление, автор понимает, что он имел в виду, — другой образ действия ему заказан. А так называемые „простые смертные”, описывая какое-либо явление или предмет, стараются воспроизвести общепринятые формулировки, которыми данное явление или предмет по традиции описывается. Звучит высокомерно, но вполне вероятно, что наша массовая приверженность общим местам — единственный залог возможности взаимопонимания!»

«Какие-либо поветрия, новшества в языке могут восприниматься современниками как порча и даже вырождение, пока кто-либо во всеоружии таланта не возьмет ущербную речь в оборот и не извлечет из нее стиль. „Ко мне подошел Тимошенко, солдат третьего орудия, грабитель и насильник, он отвернул свой темно-зеленый полубубок и показал рану. Осколок попал ему в член. Рыдая, он взобрался на свою лошадь и ускакал, больше я его не видел”. Это не Бабель, а из воспоминаний поручика С. И. Мамонтова; но беспечное озверение пополам с истерикой, видимо, ощущались в самом воздухе Гражданской войны и сделались лейтмотивом „Конармии”».

Александр Генис. Ткань Пенелопы. — «Новая газета», 2017, № 33, 31 марта <<https://www.novayagazeta.ru>>.

«Для меня электронное чтение оборачивается борхесианской фантазмагорией: одна книга заменяет все и никогда не кончается. Как калекка на лестнице, я останавливаюсь на каждой ступеньке и запинаясь на всяком абзаце. Дойдя до имени собственного, я изучаю его биографию, географическое название побуждает к путешествию по карте, дата провоцирует исторические изыскания. Я разглядываю упомянутые пейзажи и картины, слушаю ту же музыку, что и герои, и изучаю всю подноготную описываемых событий».

Главкнига: чтение, изменившее жизнь. — «НГ Ex libris», 2017, 30 марта <http://www.ng.ru/ng_exlibris>.

Говорит **Валерия Пустовая:** «В сердечных переживаниях юности оказал влияние роман „Чапаев и Пустота” Пелевина, а в сердечных разочарованиях — „Чувство и чувствительность” Остин».

Павел Грушко. «Самый прекрасный перевод непосилен для читателя, который не догадывается о всех контекстах». Беседовал Геннадий Кацов. — «RUNYweb.com», 2017, 7 марта <<http://www.runyweb.com>>.

«Не только в Греции есть все, в испанской поэзии есть все размеры регулярной поэзии, а также белые стихи и верлибры, танка и хайку. <...> Многие поэты, перейдя на верлибры, не покидают регулярную поэзию. Испанская поэзия силлабическая, главное — количество слогов-„силлаб” в строке, а ударения в словах при чтении и пении могут меняться, не совпадая с ударениями всей стихотворной строки, в отличие от силлабо-тонической русской системы, где ударения падают как дамкловы мечи. Испанский поэт, условно говоря, на размер „Евгения Онегина” мог бы написать „Мой сосед Сергей всегда поет...”, подсчитывая лишь количество слогов. Есть также великая система испанского романсеро, когда текст, любой длинны, построен на одной монорифме, возникающей в каждой четной строке, причем рифма эта ассонансная, когда достаточно совпадение ударной и заударной гласной. К примеру, абсолютно точными ассонансными рифмами, в русских подобию, были бы: дама — каша — масса —

вата. Русский читатель не уловит этого, у него нет средиземноморского слуха, и русские переводчики вынужденно переводят испанские романсы четверостишиями».

Игорь Гулин. Судьба в глазах смотрящего. О дневниках Павла Зальцмана. — «Коммерсантъ *Weekend*», 2017, № 9, 24 марта <<http://www.kommersant.ru/weekend>>.

«Как писатель он [художник Павел Зальцман] открывается миру в следующем веке. Сначала выходит малотиражный сборник рассказов, потом — собрание стихотворений и, наконец, пять лет назад — „Шенки”, без сомнения, одна из лучших книг русской прозы XX века, грандиозный, жестокий и пронзительный роман о гражданской войне, которую животные ведут наравне с людьми, потерянный брат „Доктора Живаго”, написанный языком ученика Обзриутов. Вышедший сейчас массивный сборник дневников и мемуарных отрывков Зальцмана воспринимается на этом фоне совсем по-другому — не как очередное свидетельство эпохи, но как публикация еще одного фрагмента наследия забытого гения».

«Непонятно, насколько систематически Зальцман вел свои записи, но в том, что сохранилось, нет никакой связности. Это действительно осколки. Они образуют смутный контур сюжета: одесское детство, школьные годы в Ленинграде конца 20-х, затем — кино-экспедиции в Средней и Центральной Азии, потом — смысловой центр книги — блокада, потом — выживание в Алма-Ате, сначала во время эвакуации, а затем — во время кампании по борьбе с космополитизмом, потом — первое возвращение в Ленинград в 1955 году. На этом дневники обрываются».

«Между событиями — записи снов, обрывочные размышления об искусстве, наброски прозы. Здесь почти нет того, о чем нам больше всего хотелось бы узнать, — общения с Филоновым, Хармсом и другими великими ленинградского авангарда (Хармс появляется всего один раз, но это момент поразительной силы). Нет и того, к чему мы привыкли в дневниках этого времени, — отношений с революционной идеологией, гонки индустриализации, страха террора. Вообще будто бы нет самого времени».

О книге: **Павел Зальцман**, «Осколки разбитого вдребезги» (М., «Водолей», 2017).

Лев Данилкин. «Навалному надо читать Гегеля». 10 апреля выходит в свет 800-страничная биография Ленина в серии «Жизнь замечательных людей». Беседу вел Дмитрий Быков. — «Новая газета», 2017, № 30, 24 марта.

«Среди мужчин — в общем, нет, со всеми расплевывался — ну или доставал своим ерничеством, упертостью, бесил людей, многие прям на дух его [Ленина] не переносили. Он был ненадежен — и в политическом смысле, и как товарищ, мужчины так не могут дружить — когда чувствуют, что в любой момент их могут предать. С женщинами, да, дружил, хорошо дружил, и тут ему везло».

«Ну а что, она [Крупская] была красавицей, по крайней мере, до болезни. Не только эти классические ранние фотографии, где она вылитая Скарлетт Йоханссон, есть менее известная, ее нет в „Гугле”, полицейская, не из фотоателье, то есть реальная — в том числе в профиль — и по ней ясно: очень красивая».

«<...> В каких-то неевропейских местах я видел мир, по которому не скажешь, что Маркс устарел».

«По психотипу — я худшее, что бывает в жизни: флегматик и меланхолик разом — типичный меньшевик».

«Фильм про Ленина лучший — „Ленин в Польше”, это прям великое кино. В литературе хуже. У Солженицына в „Красном Колесе” есть сцены — хорошо сделанные, но выдуманные, он ненавидит Ленина — и многое в нем пропускает. „Хулио Хуренито” — пара абзацев... в целом точно, но это карикатура, ничего особенного. Лучшая карикатура на Ленина — пелевинский „Хрустальный мир”. Там Ленин — демон, но атмосфера, которая породила этого демона, очень точно передана, рассказ перестроечный, но я до сих пор его страшно люблю».

См. также: **Лев Данилкин**, «Ленин будет как Конфуций для Китая — абсолютный авторитет» (беседу вел Игорь Кириенков) — «Афиша *Daily*», 2017, 27 марта <<https://daily.afisha.ru>>.

Динозавры не вымерли! Палеонтолог Кирилл Еськов — об истории одной сенсации, о «могилах драконов» и о том, как ящеры превратились в птичек. Беседу вела Екатерина Шерга. — «Новая газета», 2017, № 29, 22 марта.

Говорит **Кирилл Еськов**: «Представляют, объявляют тендер на создание какой-то новой машины, подключаются несколько конструкторских бюро, каждое выставляет свою модель, идут стендовые испытания, полевые испытания, а запускается в производство в итоге... одна или две. Так и тут. Одна из высокоспециализированных и продвинутых групп небольших динозавров выставила свою модель превращения в птиц, победила и вполне себе процвела, их потомки дожили до нашего времени».

Игорь Зотов: никто из критиков не увидел главного в новом романе Владимира Сорокина. — «Новые Известия», 2017, 17 марта <<http://newizv.ru>>.

«Но если в „Теллурии“ мы вместо России еще найдем на ее бывшей территории полсотни новых разных стран (которые, пожалуй, еще можно было бы обозвать „русским миром“), то в „Манараге“, действие которой происходит в конце нашего, XXI века, об этом мире и помину нет. Русскими в романе называются люди, которые стряпают блюда на весьма своеобразных поленях — книгах из „золотого фонда“ великой отечественной литературы».

«Не менее любопытно и то, что вместе с исчезновением России из романа Сорокина исчезли и практически все элементы, так возбуждавшие патриотическую общественность страны: людоедство, копрофагия (пардон, за тавтологию), сексуальные перверсии... Поистине, „Манарагу“, хоть и значится на ней 18+, можно безболезненно советовать к чтению даже старшеклассникам каких-нибудь православных гимназий».

Геннадий Кацов. «По ободку разомкнутого циферблата...» О новой двуязычной поэтической серии «Русское слово без границ / *Russian Word Without Borders*». — «Новый Журнал», 2017, № 286 <<http://magazines.russ.ru/nj>>.

«Прежде всего, отмечу любопытную интригу: освобожденная от условностей формы, любых внешних уз, навязываемых свободной авторской воле, и раскованная по содержанию, актуальная англоязычная поэзия нетерпима, беспощадна к стиху рифмованному, — она и только она релевантна ожиданиям как поэтов, так и читателей. В то же время, ситуация в русской поэзии десятилетиями готовила читателей и поэтов к сосуществованию конвенционального русского стиха и так называемого „верлибра“, который может быть нынче чем угодно, вплоть до разбитой на короткие строки прозы. Поэтому русские переводы публикуются и в рифму и верлибром — читатель к этому готов, приемлет без претензий, да и критик не возражает. Налицо явная диспропорция: переводы на английский — ни в коем случае не в рифму, переводы на русский — как угодно».

«Неудивительно, что друг Иосифа Бродского и нобелевский лауреат Дерек Уолкотт скептически относился к переводам Бродским собственных стихов. Он указывал, что, к примеру, в автопереводе „Пятой годовщины“ тройная рифма имеет в английском ироническую основу, как у Байрона, при этом такой перевод рискует показаться детской считалкой и выглядеть несерьезно».

Критики о Корнее Чуковском. Провел опрос и написал предисловие Сергей Орбий. — «Литература», 2017, № 94, 21 марта <<http://literatura.org>>.

На вопросы отвечают Вл. Новиков, Евгений Абдуллаев, Алла Латынина, Артем Скворцов, Кирилл Анкудинов, Евгений Ермолин, Алексей Конаков, Ольга Балла-Гертман.

Говорит **Алексей Конаков:** «В первую очередь, вероятно, автор, который не постеснялся применить всю мощь технических находок Серебряного века отечественной поэзии (разностопные строки, интертекстуальные игры, иконические эффекты, звукопись, заумь и проч., и проч.) в стихотворениях для детей. Кажется, именно отсюда началась деконструкция архаичного деления стихотворений на „взрослые“ и „детские“ — а успешно завершили этот процесс уже советские „неподцензурные“ авторы. И Генрих Сапгир, и Олег Григорьев, и Лев Лосев двигались (хотя и вынужденно) по пути Чуковского. То есть, при таком (немного странном) подходе Чуковский оказывается фигурой, устремленной в собственное (посмертное) будущее: он скорее помогает нам понять не эпоху символизма и акмеизма, но литературную ситуацию советских семидесятых».

«Мне, пожалуй, не очень понятно, как многие люди до сих пор читают детям „Дали Мурочке тетрадь, / Стала Мура рисовать“. Вроде бы довольно тривиальная (хотя трагическая) история, очень простое сочетание литературы и жизни, но ведь в результате имеем леденящий кровь текст, такое „*memento mori*“ на ушко ребенку. По-хорошему это стихотворение давно надо в школах как трагическую лирику преподавать. Мурочка, понятно, крайний случай; но, кажется, вообще во всех текстах Чуковского присутствует столь сильный трагический накал, что силу эту пока даже приблизительно не оценили».

Майя Кучерская. Как только появляется слово «должны», мы оказываемся в ловушке. Беседу вел Александр Малнач. — «*BALTNEWS.LV*», Рига, 2017, 27 марта <<http://baltnews.lv>>.

«Он [Дмитрий Быков] как раз и на уровне слов, и на уровне идей, которые мы можем считать в его текстах, очень христианский писатель. Почитайте его интервью. В его публицистике, в его прозе очень четко прорисована система ценностей и это христианские ценности — это всегда против насилия, за свободу человека, ради любви».

«Я не знаю, что он хочет разрушить. По-моему, все что делает Быков, пока сплошное созидание. Особенно его бурная просветительская деятельность последних лет. Буквально на днях я была на его лекции, и меня поразило все от начала до конца. Это

Театр Фоменко, довольно большой зал, ни одного свободного места, люди пришли, заплатив за это деньги и вовсе не спектакль им показывают. Стоит на сцене Дмитрий Львович, говорит о Блоке, говорит о поэме „Возмездие“, о сложном отношении Блока к отцу и ему внимают, смотрят на него с обожанием. И буквально на глазах это доброе, это вечное, это самое важное, эти проклятые вопросы. Они ставятся. Люди выходят из зала задумавшись. Сегодня его социальная роль велика, как ни у кого другого литератора благодаря его лекторскому и просветительскому дару».

Лев Толстой. Бегство из рая пророка без чести. — «Православие и мир», 2017, 21 марта <<http://www.pravmir.ru>>.

Дискуссия протоиерея Георгия Ореханова, автора книги «Лев Толстой. „Пророк без чести“. Хроника катастрофы» и литературоведа Павла Басинского, автора книги «Лев Толстой: бегство из рая».

Говорит протоиерей **Георгий Ореханов**: «У нас есть архивное дело, и мы видим, какой огромной правке подвергся первоначальный текст [определения Синода]. В окончательном варианте из него все, что хоть как-нибудь могло задеть даже не столько самого Толстого, сколько его почитателей, было убрано. Получился, с одной стороны, нейтральный документ, а с другой стороны, все прекрасно понимали, что это отлучение. Сам Толстой так считал, и все члены его семьи были в этом уверены, да и весь мир был в этом уверен».

«Мы должны свидетельствовать, что суть чина отпевания и панихиды к Толстому не применима, не только потому, что мы знаем, что она к нему не применима, а потому, что сам Толстой много раз утверждал, что он не так верует. Он не верует в Троицу, он считает басней такой-то догмат Церкви, он считает басней другой догмат Церкви. Зачем же к человеку, который сам о себе так свидетельствует, применять действия, которые он сознательно в жизни отвергал?»

«Манарага» Владимира Сорокина. Как правильно жечь книги: Галина Юзефович — о новом романе русского классика. — «Meduza», 2017, 34 марта <<https://meduza.io>>.

«Владимир Сорокин — один из примерно четырех современных русских писателей, читать которых не скучно, в общем, никогда. Выстроенная по модели „Мертвых душ“ (так безжалостно сожженных Гезой в неприступной усадьбе трансильванского мафиозного босса), „Манарага“ представляет собой цепочку различных гриль-пати, в ходе которых герой знакомится с разными — весьма литературно-колоритными, так сказать, — клиентами».

«Как результат, при всей своей округлой сюжетной законченности „Манарага“ оставляет ощущение некоторой концептуальной незавершенности».

Панк-культура: маргиналии на полях. Историографический анализ феноменов культуры: Кирилл Кобрин vs Марк Симон на *Gefter.ru*. Беседовали Ирина Чечель и Александр Марков. — «Гэфтер», 2017, 27 марта <<http://gefter.ru>>.

Говорит **Кирилл Кобрин**: «[Модернизм] стал, с моей точки зрения, действительно большим международным стилем для элиты или для высокой, назовем ее так, культуры. Модернизм по-прежнему является маркером того, что искусство, культурные феномены, нужно понимать *с усилием*: нужно прилагать усилия для того, чтобы это дело понимать, чтобы наслаждаться или этим проникаться. Но, памятуя о современной и не только современной социально-экономической ситуации, для того чтобы понимать, надо а) быть готовым, подготовленным к этому, то есть иметь хорошее образование и б) иметь довольно много свободного времени».

«Да, понятно, что люди, которые ради отдохновения слушают или постоянно посещают оперу, читают сложные романы или, скажем, слушают современных сложных композиторов, могут в минуту слабости или просто отдохновения ради сходить на футбол и послушать рэп. Сейчас очень модно среди такого рода людей слушать рэп; но это будет именно *набег на чужую территорию*. Модернизм на самом деле поддерживает их социальный статус гораздо больше, чем очень многие другие вещи, чем одежда, которую они носят, чем даже поход».

«Высокая культура раньше, в начале и даже первой половине XX века, была в немалой части национальной и даже националистической: вспомните величайшее произведение русской модернистской музыки XX века — „Жар-птицу“, вспомните протофашиста Александра Блока и расиста Эзру Паунда».

«<...> модернизм был чем угодно, только не либеральным. Невозможно назвать тех же Пруста, Кафку, Джойса либералами, многих из них невозможно назвать и антилибералами; просто их это не интересовало, они не думали в этих категориях».

Александр Марков. Манарага Владимира Сорокина как поэма. — «Фонд „Новый мир”», 2017, 15 марта <<http://novymirjournal.ru>>.

«Новый роман Вл. Сорокина роман лишь в самом общем смысле: гряда всевозможных жанровых форм, разоблачающая условность самих этих форм, а значит, и условность читательского опыта. Но ось романа — фантазийная поэма, неожиданное обращение к друзьям Армид, Эрминий, Анжелик и Людмил. В такой поэме решимость героя противопоставлена пасторальному спокойствию: пасторальные линии могут быть предметом долгого любования, но всегда ощущаются как недолжные, в отличие от героических линий, которые должны быть пережиты как нормативные, при всей их возможной безутешности...»

Борис Межуев. Апология Малого Народа. — «УМ+», 2017, 17 марта <<https://um.plus>>.

«Увы, интеллектуалы будут обязательно собираться в секты, школы, ложи, кружки, короче, „общества мысли”, и чем более могущественной будет в стране сила денег и ресурс прямого властного принуждения, тем в большей степени эти „общества мысли” будут „хвататься за руки, чтоб не пропасть по одиночке”. Чтобы обрести силу влияния, равную с теми, у кого есть деньги и у кого есть пушки.»

«Но надо быть готовым к тому, что рано или поздно в стране начнут возникать „общества мысли”, четко и однозначно нацеленные не на уход из России, не на „внутреннюю эмиграцию”, постепенно переходящую во внешнюю, а на жесткую трансформацию этой страны с целью приведения ее к какому-то далекому совершенству. Я не думаю, что эти люди — это близкая перспектива, но лет через двадцать, а может быть, и ранее, мы их обязательно увидим. И наша задача, задача консервативных гуманистов-интеллектуалов нашего сложного времени, сделать так, чтобы эти люди были чуть более похожи на Эдмунда Берка и чуть менее на Оливера Кромвеля, или, если угодно, чуть больше на Ивана Аксакова и чуть меньше на Льва Троцкого.»

Алексей Мунипов. Там, где живут чудовища. Алексей Мунипов о сборнике «Шостакович: *pro u contra*». — «Горький», 2017, 3 марта <<https://gorky.media>>.

«Его [Шостаковича] текстам нет никакой веры — мы знаем, что он подписывал не глядя практически все публикации, выходящие в СССР под его именем. Но, как показывает анализ Лорел Фэй, подписи „Читал”, стоящей над каждой главой „Свидетельства”, тоже не вполне можно доверять — возможно, именно потому что он первым научился не придавать своей подписи никакого значения и почти приучил к этому окружающих».

«Вероятно, самый безжалостный отзыв принадлежит композитору Виктору Суслину в письме Галине Уствольской. „Д. Д. нашел некий философский камень, позволяющий ему сочинять в огромных количествах очень посредственную музыку и казаться гением не только другим, но и самому себе. Эту возможность предоставила ему диалектика. Она же дала ему другую, не менее блестящую возможность: подписывать десятки партийно-директивных статей в центральной прессе, подписывать политические доносы (Сахаров в 1973-м), сидеть в президиумах рядом с бандитами и голосовать за любое бандитское предложение с проворством щедринацкого болванчика, и в то же время слыть символом внутреннего сопротивления режиму не только в советско-либеральных кругах, но и в собственной душе. <...> Носимая Шостаковичем маска распятого страдальца нисколько не помешала ему делать блестящий бизнес по всем правилам советского общества”. На письме стоит пометка „Я, Галина Уствольская, целиком и полностью подписываюсь под этой статьей Виктора Суслина”».

«Остается музыка — и собранный в этом сборнике [«Шостакович: *pro u contra*»] хор суждений и воспоминаний сводится к одному-единственному нервному вопросу: „Что хотел сказать художник?”. Традиция вычитывать в его музыке то, что он не мог или не хотел сказать, появилась еще при его жизни и давно сложилась в отдельную герменевтическую дисциплину».

См. также: **Дмитрий Бавильский**, «Анти-Флобер» — «Новый мир», 2017, № 2.

«Мы отправили Венедикту Ерофееву устав КПСС». Читательская биография филолога Романа Лейбова. Текст: Мария Нестеренко. — «Горький», 2017, 24 марта <<https://gorky.media>>.

Говорит **Роман Лейбов**: «Еще была интересная практика, распространенная в разных местах, везде это называлось по-разному, в Киеве — рвачка. У нас есть советский журнал, 80% его содержания — это шлак, а 20% мы вырываем и переплетаем отдельно. Можно было сплести произведения одного автора, а можно — избранное из журналов. Процедура совершенно варварская: люди садились и решали, что оставить, а что нет. То, что легко проходило советскую цензуру, безжалостно сдавалось в макулатуру,

а то, что оставалось, переплеталось. Выборка абсолютно не нормировалась снаружи, а определялась исключительно вкусом конкретного круга читателей. Там, конечно, были очевидные для нас вещи, а что-то наверняка удивило бы, хотя, как я помню, отбор был весьма строгим. Дома была здоровая полка с этим добром, а я принимал активное участие, помогая родителям в рвачке. <...> Это была школа ориентации в советской культуре и культуре вообще».

«Нельзя зарабатывать на науке и творчестве». Модест Колеров о своих издательских принципах, науке и идеологии. Беседу вел Иван Мартов. — «Горький», 2017, 13 марта.

Говорит **Модест Колеров**: «В России сетевые магазины убили университетские магазины, университетские издательства, специализированные и краеведческие издательства. Насмерть».

«Я счастлив, что прочитал „Братьев Карамазовых” и „Анну Каренину” в 23 года, когда уже был более-менее обученным историком. Естественно, я смог оценить ту половину текста „Анны Карениной”, которая не про ляmur, и тогда она мне показалась самой интересной. Не все знают в силу специфики истории литературы, что Достоевский и Толстой — гении не только художественные, но и политические гении, что в наших нынешних политических хитросплетениях никто из них никакую ленточку не носил бы. Они все ленточки видали в гробу».

«Наша национальная культура чудовищно ангажирована политически и идейно, какой-то сплошной Бердяев. Ни от кого правды не добьешься, никто на самом деле правду не написал о том, что было. Когда все грохнулось в 1917 году, все начали врать кто во что горазд. Со всех сторон. Вся история русской мысли, которая хоть как-то описывает историю старой России, — это огромный набор лживых показаний о том, что “я ни при чем”. Вся без исключения. Наконец, рано или поздно, когда научные люди начинают читать газеты того времени, у них волосы на голове шевелятся. История России — Атлантида в кубе, в десятой степени, непрочитанная, неизвестная, неретранслированная, замолчанная самими участниками».

Денис Новиков. Неизвестные стихи. Вступительное слово, подготовка текста и публикация Феликса Чечика (с разрешения Юлианы Новиковой). — «Арион», 2017, № 1 <<http://magazines.russ.ru/arion>>.

В каждом отблеске, проблеске
отблеставшего дня
Ходасевич по-кронверски
поучает меня.

Заалет по-девичьи
и погаснет пенсне
на другом Ходасевиче,
приставшем ко мне.

Артем Новиченков. Сексизм, лицемерие, нелюбовь: что не так с преподаванием литературы в школе. — «Афиша Daily», 2017, 13 марта <<https://daily.afisha.ru>>.

«<...> Пунктик, который формирует нацию и на который никто не обращает внимания. Тем более дети. Одиннадцать лет на уроках литературы они познают мир через призму мужского восприятия: читают о том, как мужчины живут и умирают, как мужчины любят и ненавидят, как мужчины страдают, размышляют, чувствуют и соперничают. Как мужчины понимают мужчин и женщин. Как мужчины думают о том, что думают женщины, что чувствуют женщины. Долгое время внимание девочек и мальчиков направлено однобоко в сторону мужчин — детей готовят к патриархальным ценностям, к мужскому миру».

«Этот процесс превращения женщины из самостоятельного субъекта в объект описания американские исследователи Барбара Хельдт и Джо Эндрю назвали термином *underdescription* („подчинение письмом”). Так что, если хотите, литература воздействует на подсознание человека как 25-й кадр, только вместо скрытой рекламы читателю предлагается идеология патриархата. Если заглянуть в список авторов, обязательных к прочтению и предлагаемых на выбор для сдачи ЕГЭ по литературе, увидим, что школьная программа на 98% (64 из 67) состоит из авторов-мужчин. Упоминаемые там же Ахматова, Цветаева и Ахмадулина обычно изучаются только в 11-м классе и чаще всего бегло».

«Русская литература — литература депрессивная, потому что честная. Но как говорить с детьми о такой литературе, в которой от произведения к произведению терпят фиаско идеи гуманизма, справедливости и бога?»

О чем на самом деле «Манарага» Владимира Сорокина: объясняет Лев Данилкин. — «Афиша Daily», 2017, 14 марта <<https://daily.afisha.ru>>.

«Что В. Г. Сорокин мутирует из „непримиримого” в „договороспособного”, ясно было уже по „Теллурии»».

«Дело не в личном антагонизме В. Г. Сорокина и, допустим, З. Прилепина, которого наверняка и нет; дело в том, что „вопрос о книгах” — вопрос не эстетический, а политический. Это ведь не то же, что спор любителей борща и шей — какой тип похлебки кому нравится. Все мы знаем, что за выбором тех или иных книг стоят не просто наши физиологические вкусы, но — политические предпочтения. Что существуют специально обученные люди, которые (они нашли, мы читаем: ордунг мусс зайн) и договариваются, какие книги, условно говоря, „возьмут в будущее”, а какие оставят за бортом. И поскольку — Сорокин, всю жизнь именно с этим феноменом работавший, прекрасно знает это — в литературоцентричной России тот, кто определяет и контролирует литературный канон, контролирует также и цайтгайт, престижность или маргинальность политических практик, моральные критерии, по которым оцениваются внелитературные персонажи. Иными словами, через принятый канон транслируется власть правящего класса, обеспечивается его культурное доминирование, база для существующего общественного договора. Контроль за „списком книг” подразумевает контроль за тем, какая версия истории „правильная”, какой вариант будущего задается в качестве ориентира <...>».

«Разумеется, конфигурация, внутри которой „Ада” и „Одесские рассказы” ценятся на вес золота, а постсоветскую макулатуру про „ваньку” никто даром брать не хочет, преподносится [Сорокиным] как „объективная” — ну что вы, это никакая не дискриминация, а свободное решение рыночных субъектов на основе их эстетических убеждений; и так уж вышло, увы, что авторы книг про „ваньку” в будущем не нужны, спасибо, можете не беспокоиться, вас там просто нет, мы не включили вас в списки».

Опыты устной истории: В. Д. Дувакин — В. Е. Ардов. Между авантюризмом и террором — воспоминания свидетеля эпохи. Комментарии — Н. А. Паньков и О. С. Фигурнова. Подготовка материала — Сергей Сдобнов. — «Гэфтер», 2017, 29 марта <<http://gefter.ru>>.

Фрагмент второй беседы Виктора Дувакина и сатирика Виктора Ефимовича Ардова, — 6 августа 1974 года.

Д.: Простите, а он тоже хокал или это ваше? Вы немножко хокаете.

А.: Он немножко окал...

Д.: Нет, не окал, а хокал.

А.: Да, вот это удивительно: рязанец говорил мягкое гортанное „г”. Вот у меня оно существует потому, что я родился в Воронеже, и хотя там, в Воронеже, чистое русское произношение, московское, но мягкое „г” с Украины, с Области войска Донского, в воронежском диалекте существует. Оно и у меня иногда возникает, особенно к старости. А почему рязанец Есенин говорил мягкое „г”, я понять не могу, но это было именно так.

Д.: Это очень важно».

Вадим Перельмутер. Записки без комментариев (II). — «Арион», 2017, № 1.

«Среди забытых поэтов, на чьи книжки набредал, блуждая по библиотеке Ивана Розанова, обратили на себя мое внимание двое. Иронической безвкусицей своих псевдонимов: Аполлон Коринфский и Дмитрий Цензор. Оказалось, так их и звали, что впору — для печати — псевдонимы придумывать, а у первого еще и отчество античное — Аполлонович...»

Начало см.: «Арион», 2015, №№ 2, 3, 4; 2016, № 2.

Реакционный дух времени. Разговор о консерватизме. Андрей Олейников и Илья Будрайтскис о том, есть ли у консерватизма единая история, почему он привлекает российских чиновников и чем может радовать левых сегодняшней консервативный поворот. — «Colta.ru», 2017, 16 марта <<http://www.colta.ru/raznoglasiya>>.

Говорит историк **Илья Будрайтскис**: «Можно взять в качестве примера трансформацию гимна Российской Федерации: в своей первоначальной сталинистской или постсталинистской версии он носил прогрессистский характер, идею устремленности в некое светлое будущее, которое еще предстоит всем вместе построить, тогда как актуальный его вариант завершается словами „так было, так есть, и так будет всегда”. Весь его предшествующий текст является чисто описательным: есть огромная территория, есть люди, которые ее населяют, есть государство, которое скрепляет их вместе. И не пытайтесь это понять, примите это просто как данность, потому что любая попытка понимания тождественна разрушению».

Ирина Роднянская. Откуда и куда... (о «топологии» новой книги Олега Чухонцева). — «Арион», 2017, № 1.

«У книги двуязычное название — русское, странно-изгибчатое: „*Выходящее из уходящее за*” — и английское, сидящее как влитое: „*From and beyond*”. Четырём английским слогами соответствует на русском долгая многосмысленная фраза — и этим поэт как бы присягнул „русской медлительной речи” с ее неуверенной трепетностью, чуждой английскому лаконизму. (Впрочем, и краткосложие, столь необходимое в палиндромах, не без блеска будет в книге продемонстрировано — в ней, кажется, под рукой найдется все, о чем ни попросишь.)».

«Следом за названием — ключ к нему: четверостишие, выделенное курсивом, — в роли *motto*, предвещающего многочастный лирический монолог:

*ноги скользкие по чему-то вниз
опрокинутые вверх глаза
движущееся талое выходящее из
белое голубое уходящее за*

Это, думаю, ключ и ко всей композиции, к ее смысловому „посланию” — не удостоившийся, если не ошибаюсь, достаточного внимания профессиональных и прочих читателей.

...Худо управляемое своими членами тело на талой улице; человек поскользнулся, из-под ног ушла земля, и он, опрокинувшись навзничь, оказался в самой нижней по отношению к ней точке, глаза же его, тоже принудительно „опрокинутые”, обращены теперь к беспредельному небу — в позиции, из которой „прямоходящим”, здоровым и озабоченным своим житейским *так* видеть небо не дано».

Андрей Рудалев. Ледяной человек. — «Взгляд», 2017, 22 марта <<http://vz.ru>>.

«23 марта исполняется 110 лет со дня кончины знаменитого обер-прокурора Святейшего Синода, главного идеолога Российской империи Константина Победоносцева. Он всего десятилетие не дожил до рубежного 1917-го. Но так ли он от него далек, не является ли этот революционный год и плодом его рук?»

«Победоносцев прошел путь от приверженца либерализма до эталонного консерватора. Имел влияние на трех императоров. Но перестал ли быть либералом?»

«Победоносцев — это сон. Затяжной неестественный сон накануне бури. Заморозить, а там уж будь что будет. За всем этим скрывалось внутреннее отчаяние, хладность и неверие. Его консерватизм — лишь одежды, прикрывающие фатализм и упадничество. Но почему Константина Победоносцева мы воспринимаем как образчик консерватизма, как столп и утверждение незыблемости основ государственности? Заморозка как проекция личного нигилизма — это разве консерватизм?»

«Нельзя уснуть, иначе грянет буря».

Алексей Саломатин. «Что есть закономерность, как не совокупность частных?..» — «Дружба народов», 2017, № 2.

Заочный «круглый стол» о литературных итогах 2016 года. «Главными литературными событиями в этом году для меня стали четыре вышедшие поэтические книги, и тенденции, в связи с появлением некоторых из них забрезжившие, на мой взгляд, весьма отрадны. При этом из четырех лишь одна имеет отношение к тому, что принято называть текущим литературным процессом. С нее и начнем.

Олег Чухонцев. выходящее из — уходящее за. — М.: ОГИ, 2015. — 86 с. Новая книга главного русского поэта наших дней — забавно, что единственное в перечне издания современного автора и то формально датировано годом прошлым, — не могла не стать событием. Несмотря на то что большая часть вошедших в нее стихов была уже известна читателям (а некоторые стихи — и в разных редакциях, благодаря в том числе сборникам избранного, зачастившим на правах первых звезд, предвещающих восход луны, накануне выхода книги), книга оказалась способна преподнести немало сюрпризов даже внимательно следящим за творчеством поэта — начиная с названия (билингвального, к слову, хоть это и не отображено в выходных данных) и композиции, в равной степени отсылающей к архаичной, „досумеречной”, традиции выстраивания стихотворных сборников и не оставляющей от этой традиции камня на камне... Чухонцев, как и подобает подлинному поэту, остается непредсказуемым. Неспроста некая растерянность ощущается как в немногочисленных рецензиях, так и в повисшем благоговейном молчании, которым встретило книгу большинство критиков».

См. также: **Артем Сковрцов**, «Приходящее к» — «Новый мир», 2016, № 4.

«Симбиоз физиологии, шоу и моды». Владимир Сорокин о сожжении книг, счастье и новых гаджетах. Беседовала Наталья Кочеткова. — «Lenta.ru», 2017, 6 марта <<https://lenta.ru>>.

Говорит **Владимир Сорокин**: «Честно говоря, когда я писал эту книгу [«Манарага»], я думал о 1960-х годах. Война закончилась, потом были бурные 1950-е, люди старались быстро наверстать упущенное в жизни и в благополучии: рок-н-ролл, абстракционизм, огромные американские лимузины с „плавниками“, короткие юбки. А потом наступили 1960-е: сытое время, респектабельные „битлы“, гляцевый поп-арт, спокойное использование благ жизни. Недаром Анри хочет перестроить кухню, легализовав ее, выведя из подполья, выведя из 50-х годов и сделав ее обычным, почти рутинным делом. Уничтожить этот романтический флер. Хронологически я рассматривал своего главного героя как ребенка послевоенного мира. Стиль 1960-х я запомнил мальчиком. И этот дух обретенного благополучия меня в книге вдохновлял».

«Но я старомодный человек — я люблю бумажные книги».

Артем Скворцов. Поэтическая иерархия: да или нет. — «Арион», 2017, № 1.

«Но что есть *поэтическая* иерархия? Существует ли она после смерти автора, уравнивания всего со всем и прочих концов истории? Ответ прост. Существует. Для того, кто ее признает. Применительно к русской поэзии в нее входит внушительный ряд имен в диапазоне от Симеона Полоцкого до Олега Чухонцева — если охватывать период чуть более трехсот лет».

«Факты восхода и заката солнца можно игнорировать — прямых следствий ни для простодушного наблюдателя, ни для самого солнца не будет. Иначе обстоит дело с правилами дорожного движения: можно какое-то время ездить и без них, но не говорите потом, что вас не предупреждали. Вопрос не в том, существует ли поэтическая иерархия, а в том, как к ней относиться. Ее признание/непризнание ведет к разным для авторов последствиям».

Сначала скажи, что думает Толстой, а твое мнение мы потом послушаем. Беседа вела Ксения Кнорре Дмитриева. — «Православие и мир», 2017, 23 марта <<http://www.pravmir.ru>>.

Говорит учитель словесности, филолог **Михаил Павловец**: «Допустим, ты сдаешь ЕГЭ, и у тебя вопрос по „Грозе“ Островского. Предположим, что эксперт — глубоко православный человек, и когда он видит, что ты нахваливаешь Катерину Кабанову, он возмущается: „Как ты можешь называть Катерину человеком чести, когда она покончила с собой, совершила смертный грех?“ (Это, кстати, реальный случай из ЕГЭ, был страшный скандал с апелляцией.) И эксперта невозможно переубедить, потому что это взрослый сложившийся человек со своей системой ценностей, и ребенок здесь бессилён, потому что он ничего ему противопоставить не может, у него нет того опыта, того возраста, того авторитета».

«Почему нужно в школе осваивать азы того же литературоведения? Есть такой подход: давайте вообще отбросим литературоведение в сторону, будем просто читать и получать удовольствие. Прекрасно, давайте мы будем играть в футбол, не зная правил игры в футбол. Получим ли удовольствие, если мы просто возьмем мячик и попинаем его на поле руками, ногами, головой? Конечно, получим. Будет ли это футбол? Нет. Если мы хотим получить удовольствие от футбола, то как игроки мы должны выучить эти правила и научиться ими пользоваться. Если мы не футболисты, а зрители футбола, значит, мы должны, сидя на трибуне, понимать, почему он побежал туда, почему у них один мячик, а не 22, как в „Старике Хоттабыче“».

Валерий Шубинский. Избранные записи разных лет. Часть I. — «Литература», 2017, № 94, 21 марта <<http://literatura.org>>.

«ТРИ ТОЛСТЯКА. С одной стороны, замечательно придумано и написано. Ну, что уж говорить. С другой — какая-то швейковская глупость социальной картины мира. Дело даже не в том, что „коммунизм“ (и „коммунизм“ можно выразить тоньше и даже в детской книге — см. хоть Джанни Родари). А тут — „рабочий народ за свободу против жирных богачей“, и все это так грубо, среди сюжета такого изящества и слога такой аристократической изысканности, что очевидно: это — абсолютный цинизм, без всякого авторского душевного участия. „На, жри свою классовую борьбу.... Можно мне дальше про девочку-куклу?“» (8 марта 2017).

Михаил Эдельштейн. «В понятии „литература“ заключена внутренняя омонимия». — «Литература», 2017, № 94, 21 марта <<http://literatura.org>>.

«Знаете, я очень люблю одну историю: как-то мой одноклассник скачал старые выпуски „Спокойной ночи, малыши“ и посадил своего сына, которому было на тот

момент лет 8, их смотреть. Ну понятно: у него были теплые детские воспоминания, и он хотел, чтобы сын тоже к этому приобщился, вместе с тетей Таней или тетей Валей, так, кажется, ее звали. Ожидая восторженной реакции от сына, он подошел и спросил: „Ну как?“ И тот ответил: „Очень медленно“. Так вот, когда мы рассуждаем, хороши или плохи перемены, которые произошли в русской критике, надо понимать, что традиционная критика для нас — это „очень медленно“.

«Алексиевич создает у читателя иллюзорное представление о себе как о „человеке-диктофоне“, но на самом деле у этих книг вполне себе есть автор и весьма художественно состоятельный. Она тасует эти голоса, как ей надо, делает из них то, что ей нужно, вводя в русскоязычную литературу очень важный тренд. Это такая постэкзистенциалистская проза и философия. Экзистенциализм говорит, что человек всегда стоит перед трагическим выбором, постхолокостная, постлагерная проза в лучших своих образцах говорит о том, что человек на раз-два любого выбора лишается. И вот Алексиевич как раз и работает с опытом такого абсолютного зла, не предполагающего выбора, чего на самом деле, мне кажется, в русской литературе очень не хватает. Не случайно Солженицын — наше все, а Шаламов, при всем его вроде бы признании, в массовом сознании практически отсутствует. Потому что Солженицын работает с этим материалом как классик, а Шаламов — как русский аналог Примо Леви».

«Претензии ее [Алексиевич] первых респондентов были в следующем: они рассказы-вали свои страшные военные истории, но сводили их к тому, что „нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим“. А она отстригала этот хвостик, и получалось зло без выхода, без телеологии, без цели, ради которой через это зло надо было пройти».

«Язык — это генетическое». Беседа писателя Саши Соколова и журналистов Е. Соколова, С. Мегдисовой (Канада) и А. Жуковой (Россия). — «Новый Журнал», 2017, № 286.

Говорит **Саша Соколов**: «Ведь я боялся чего: что я забуду какие-то слова. Я поделился этим с Бродским, когда приехал в Анн-Арбор, в „Ардис“: „Иосиф, как ты уже три года (у нас разница была в три года эмиграции) — как вообще? Как ты борешься? Наверное, трудно, ты забываешь какие-то слова?“ — „Да нет, — говорит он, — ну, забудешь это слово — возьми какое-нибудь другое“. Он вообще не боялся ничего в этом отношении. Его действительно больше интересовал английский. Он ужасно говорил по-английски... в смысле акцента... каша какая-то... плохо, даже когда читал свои стихи. Он старался все время говорить по-английски. Прогресс был потрясающий. Вот это качество... Для него английский стал более важным, чем русский. Перерождение произошло с человеком. В ньюйоркской среде, в профессорской, университетской, он, конечно, царил».

Е. С.: — *Он перестал быть человеком русского мира.*

С. С.: — Абсолютно. И он относился ко всем русским проблемам — политическим, социальным — совершенно с сарказмом. Это было неприятно».

Составитель **Андрей Василевский**

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Июнь

30 лет назад — в № 6 за 1987 год напечатана повесть Андрея Платонова «Котлован».

90 лет назад — в № 6 за 1927 год напечатано стихотворение О. Мандельштама «Цыганка».

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ «ANTHOLOGIA»

учреждена редакцией журнала «Новый мир» в феврале 2004 года
в виде почетных дипломов, отмечающих высшие достижения
современной русской поэзии.

За эти годы лауреатами премии стали:

МИХАИЛ АЙЗЕНБЕРГ, МАКСИМ АМЕЛИН,
ДМИТРИЙ БЫКОВ, МАРИЯ ВАТУТИНА, ИВАН ВОЛКОВ,
МАРИЯ ГАЛИНА, СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ,
ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН, НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ,
ДМИТРИЙ ДАНИЛОВ, МИХАИЛ ЕРЕМИН, ИРИНА ЕРМАКОВА,
АЛЕКСАНДР КАБАНОВ, МАКСИМ КАЛИНИН,
ЕВГЕНИЙ КАРАСЕВ, СВЕТЛАНА КЕКОВА, БАХЫТ КЕНЖЕЕВ,
ТИМУР КИБИРОВ, КОНСТАНТИН КРАВЦОВ,
СЕРГЕЙ КРУГЛОВ, ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ,
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ, ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ,
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ, ЛЕВ ЛОСЕВ, ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА,
ВЕРА ПАВЛОВА, ВИТАЛИЙ ПУХАНОВ, МАРИЯ РЫБАКОВА,
МАРИЯ СТЕПАНОВА, СЕРГЕЙ СТРАТАНОВСКИЙ,
НАТА СУЧКОВА, АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВСКИЙ,
БОРИС ХЕРСОНСКИЙ, АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ,
ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ, ОЛЕГ ЮРЬЕВ

Специальные дипломы премии «Anthologia» получили:

ИВАН АХМЕТЬЕВ, ЕВГЕНИЙ АБДУЛЛАЕВ,
ИННА БУЛКИНА, ЕВГЕНИЯ ВЕЖЛЯН,
ДАНИЛА ДАВЫДОВ, ВАДИМ ПЕРЕЛЬМУТЕР,
ВАЛЕНТИНА ПОЛУХИНА, АРТЕМ СКВОРЦОВ,
ЕВГЕНИЙ СОЛОНОВИЧ, ЕЛЕНА СУНЦОВА,
ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ,
а также ЖУРНАЛ ПОЭЗИИ «АРИОН» в лице его основателя
и главного редактора Алексея Алехина

Координаторский совет:

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ, МАРИЯ ГАЛИНА,
ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ, ПАВЕЛ КРЮЧКОВ,
ИРИНА РОДНЯНСКАЯ

SUMMARY



This issue publishes chapters from a novel by Vladimir Kozlov «One Who Crosses a Field», short stories by Oleg Hafizov — «A Brullov's Pillar», by Aleksandr Snegirev — «Photo in a Black Pea Coat» and also by Egor Fetisov — «Merry Executions». A poetry section of this issue is composed of new poems by Andrey Grishaev, Lubov Kolesnick, Ilya Falikov, Viktor Koval and Amarsana Ulzytuev.

The sectional offerings are following:

New translations: A famous selection of poetry by Shakespeare and his contemporaries «The Passionate Pilgrim» in Subhat Aphlatuni's translation.

Heritage: «Letters From France» — Konstantin Balmont's essays published in Riga in newspaper «Segodnya» («Today») in 1926 — 1928.

Philosophy. History. Politics: Yury Kagranmanov's article «How to Make the World a Proper Place» on USA conservatives.

Literature Studies: An article by Oleg Lekmanov and Mikhail Sverdlov «For Whom Did Valentina die?» on Eduard Bagritsky's poem «The Death of a Pioneer Girl».

◆

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Тексты, присланные на электронных носителях и по электронной почте, а также рукописи объемом более 12 авт. л. не рассматриваются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир”» в качестве товарного знака по классам МККТУ 16, 38, 41, 42.

Общественный совет: Д. П. Бак, П. В. Басинский, А. Г. Битов, А. Г. Волос,
Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, Р. Т. Киреев,
Ю. М. Кублановский, А. С. Кушнер, А. Н. Латынина, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко,
В. С. Непомнящий, И. Б. Роднянская, О. А. Славникова, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев
Главный редактор А. В. Василевский

Первый заместитель главного редактора М. В. Бутов

Редакционная коллегия: М. С. Галина, В. А. Губайловский, М. Б. Ионова,
С. П. Костырко, П. М. Крючков (зам. главного редактора), О. И. Новикова

Компьютерная верстка — М. А. Каганова

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2.
Телефоны: главный редактор — (495) 650-57-02, заместитель главного редактора — (495) 650-91-81,
отдел прозы — (495) 694-54-96, отдел поэзии — (495) 629-56-92, отдел критики — (495) 650-57-02,
для справок, продажа журналов — (495) 694-08-29.

Электронная почта: nmir2007@list.ru

по вопросам зарубежной подписки: novi-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: <http://www.nm1925.ru> • <http://novymirjournal.ru/>

Свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15286 от 28 апреля 2003 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир”».
Сдано в набор 25.04.2017 г. Подписано к печати 25.05.2017 г. Формат бумаги 70×108 1/16. Бумага кн.-журн.
Офсетная печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 2300 экз. Зак. 337-2017. Цена договорная.

Отпечатано в АО «Красная Звезда»,
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62
<http://www.redstarph.ru> e-mail: kr_zvezda@mail.ru

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100% предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке ПАО Сбербанк РФ, Доп. офис № 01536, корр. счет 30301840638000603804.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2017 году: \$ 10.

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Почту России обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, Малый Путинковский переулок, 1/2, стр. 1, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (495) 694-08-29, (495) 650-62-13.
E-mail: novi-mir@mtu-net.ru



Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку, заполнить все требуемые в Заявке сведения и отправить в редакцию по почте, электронной почте или по факсу)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы «Нового мира» в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2017. Пресса России»: 70636 — для индивидуальных подписчиков, 16410 — для предприятий и библиотек. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2, стр. 1 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 11 до 17⁴⁵. В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира» (номера 2016 года по 300 руб. за экземпляр). Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 11 до 17⁴⁵. Справки по тел. (495) 694-08-29.

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер»: Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Fax (089) 54-218-218. E-mail: postmaster@kubon-sagner.de Сайт: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз»: East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (495) 318-09-37, факс (495) 318-08-81

ЗАО «МК-Периодика»: 129110, г. Москва, пр-т Мира, 57. Тел. (495) 672-71-93, факс (495) 306-37-57. E-mail: info@periodicals.ru

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ, выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей или в редакции журнала.